



М. П. Рауш

Венснбо

80 коп.

УДК 62-50 (082) 111.1





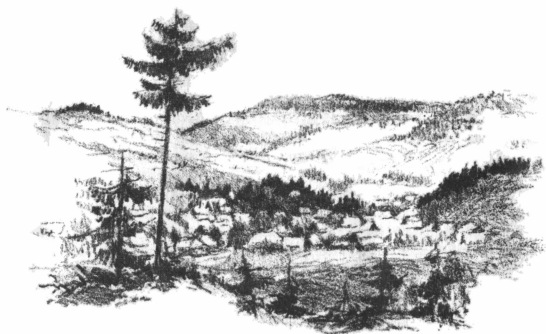




**М. ФИГУЛИ**

# **ДЕТСТВО**

**ПОВЕСТЬ**



**Москва «Детская литература» 1978**

И (Чехосл)  
Ф49

Margita Figuli  
MLADOS  
Mladé letá, 1973

*Перевод со словацкого и предисловие  
Нины Шульгиной*

*Рисунки Ладислава Нессельмана*

Ф 70802÷245  
М101(03)78 387—78

© Перевод и предисловие.  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1978 г.

## ОЖИВШЕЕ ДЕТСТВО

Дорогой друг, задумывался ли ты когда-нибудь, почему признанные, маститые писатели так часто возвращаются в своих книгах к событиям далекого детства? Потому, вероятно, что они видят в них нечто особое, знаменательное, что полезно и интересно было бы знать и детям будущих поколений.

О своем детстве рассказала и широкоизвестная словацкая писательница Маргита Фигули. Тебе, несомненно, тоже будет полезно и интересно узнать о том трудном пути, который прошли ее сверстники, прежде чем обрели право жить в сегодняшней свободной социалистической Словакии.

...Первая мировая война жестоко вторглась в жизнь глухой оравской деревни, затерянной в горах северной Словакии. Война оборвала детство, лишила детей отцов, ворвалась в их игры и сны, взвалила на их плечи заботы и тяготы, непосильные даже для взрослых. В эту страшную пору по-разному складываются судьбы людей: на долю одних выпадают только страдания, другие же богатеют и обируют ближних. Мир лжи и стяжательства, с одной стороны, нищеты и тяжелого труда ради куска хлеба, с другой. Выстоять в этой борьбе — подлинный подвиг, и им возвеличен благородный образ матери маленькой Маргиты, который, по существу, и является главным в этой книге памяти. Образ матери воспринимается почти как символ веками задавленного чужеземным гнетом народа, в котором, несмотря на все страдания, неистребимо жили стойкость духа и воля к победе.

Но эта книга не только о тяжелых днях военного детства. Даже в эту лихую годину дети умудрялись отыскивать радости — в незатейливых играх, сказках, в бесконечном очаровании оравской природы, с ее крутыми лесистыми взгорьями, оживленным птичьим гомоном, с ее цветущими лугами и прозрачными горными речками. Для маленькой Маргиты самой большой радостью были сказки. Она слышала их от матери, бабушки, от добрых людей, и они глубоко запали в ее чуткую,

впечатлительную душу. Сказки о воле и силе, о мудрости и смелости неизвестных, далеких предков. Девочка на свой лад пересказывала их любимым камням на берегу ручья, а став писательницей, повторяла в своих книгах, воплощая в литературных образах мечту народа о прекрасном, добром и справедливом мире. И смысл своего призвания она видела в том, чтобы звать народ к великой цели, которая по плечу разве что сказочным героям: Валилесу, человеку-великану, одолевшему злого и хитрого властелина, батраку в постолах и холщовой рубаше, прошедшему сквозь громы и молнии до края земли и обратно, и многим-многим другим героям, о которых ты прочтешь в этой книге. Цель эта — справедливый мир, в котором зло наказуется, а добро торжествует. Этим миром стала обновленная родина писательницы — сегодняшняя Словакия.

Потребовались долгие годы борьбы крестьян, рабочих, деятелей национально-освободительного движения, вдохновленных идеями великого словацкого просветителя Людовита Штура, прежде чем словаки завоевали право считаться свободным народом, говорить на родном языке, иметь свою письменность, литературу. Случилось это только после первой мировой войны и падения Австро-Венгерской империи, чьей бесправной и нищей окраиной была Словакия. Отголоски этих событий ты найдешь в последних главах книги, рассказывающих о возвращении отца Маргиты и его товарищей из России и о том глубоком воздействии, которое оказали на словацких тружеников великие идеи Октябрьской революции. Они пали на благодатную почву: в словацком народе издавна жило теплое, дружеское расположение к России, к русским людям.

В книге ты прочтешь о пленном русском солдате Федоре, образ которого навсегда остался в благодарной памяти семьи Фигули.

«Любовь к Советскому Союзу привили мне мои родители с детства,— вспоминает М. Фигули в одном из писем.— Любовь к русской и советской литературе родилась в моем сердце еще в юности, когда я читала произведения великих русских и советских писателей, которыми не перестаю восхищаться, ибо высшая ценность для них — человек, во имя его они ищут правды и справедливости...»

Образованная в 1918 году Чехословацкая республика не принесла словацкому народу желанной свободы: гнет венгерских помещиков сменился гнетом чешской и растущей словацкой буржуазии, а позднее фашистским террором «самостоятельного» Словацкого государства (1939—1944). Начало подлинного возрождения страны положило Словацкое национальное восстание 1944 года, когда народ поднялся против германского фашизма. И родители Фигули, оставаясь во время

восстания в родной деревне Вишний Кубин, творили чудеса, спасая от преследований и голода словацких и советских партизан.

В том же письме М. Фигули пишет: «В дни Словацкого национального восстания я близко узнала и советских партизан, так как они тайно сходились и прятались в доме моих родителей, в том самом доме, где происходят события, о которых рассказывается в «Детстве». Может быть, дети, внуки этих партизан будут читать мою книгу и снова задумаются над тем, как важно исключить из жизни смертоносные войны. И как важно устранить дурные черты в людях, чтобы человечество на всем земном шаре наконец могло мирно жить, работать и радоваться».

Судьба страны, как в фокусе, отразилась в судьбе Маргиты Фигули. Простая деревенская девочка, лишенная возможности учиться в школе на родном языке, становится с годами крупной писательницей, занявшей видное место в новой словацкой литературе. В ее книгах звучит речь, которую в детстве слышала она от матери, речь образная, яркая, что звучала в окрестных деревнях, на ярмарках, в хижинах лесорубов.

В семье Фигули жило поверье о белой гусыньке, которое передавалось из рода в род. Когда-то в давние времена отлетела из родной деревни в далекие края большая стая гусей. Их всех перебил волшебный стрелок, а одна гусынька с подбитым крылом обратилась в прекрасную девицу с необыкновенно белым лицом. Взял ее стрелок себе в жены, но не принесла она ему счастья. Денно и ночью горевала по родной деревне и чуть было дворец не затопила слезами. Одарил ее стрелец гривастым конем и отпустил вместе с народившейся дочкой туда, откуда она пришла. А эта девочка была якобы прапрапрабабушкой нашей маленькой Маргиты.

Эта сказка — символ связи всей жизни и творчества писательницы с родной Оравой. Почти все ее книги о простых людях этого края, этой каменистой, политой потом земли, где всегда селилась нужда и страдание. Она знает этих людей, она сама — одна из них. Целой вереницей образов — преимущественно женских — она воссоздала на страницах своих повестей и рассказов мир, в котором прошло ее детство и юность. И со страниц последнего романа М. Фигули «Вихрь в нас» (1974) встает образ родной Оравы, но уже преображенной социализмом. Новые героини Фигули — дочери многострадальных крестьянок — обретают смысл жизни в свободном труде на одной из оравских фабрик, где отношения между людьми исполнены искренности и любви. В произведениях Фигули всегда утверждается нравственная чистота, душевное благородство, несомнимые с корыстью, цинизмом и грубой силой, и в этом утверждении истинная народность ее творчества.



По-разному оценивались произведения писательницы: власти преследовали ее, увольняли со службы, простые люди читали ее книги с благодарностью; в годы войны незнакомые читатели писали ей из оккупированной фашистами Чехии, что ее книга «Тройка гнедых» помогает им верить и жить.

Лучшие книги М. Фигули, признанные классическими, печатаются в изданиях «Библиотеки имени Гвездослава». В этой чести заключен особый смысл: она родилась в деревенском доме, в котором за шестьдесят лет до этого родился великий словацкий поэт Павол Оршаг Гвездослав, и училась в школе, из окна которой часто видела поэта за работой. И возможно, высокий духовный подвиг славного лирика, поднявшего свой поэтический голос в защиту угнетенного и несправедливого словацкого люда, был воспринят Маргитой Фигули как завет, как великий пример.

Хочется верить, что тебе надолго запомнится эта книга о детстве маленькой девочки с пытливым умом и добрым сердцем, книга, которую словацкие школьники любят и знают так же, как ты, например, «Детство Никиты» или «Детство Темы». И если тебе в будущем доведется прочесть еще какую-нибудь книгу М. Фигули, ты всегда мыслями вернешься к рассказу о ее детстве, как вернулась к нему умудренная жизнью и литературным опытом писательница.

*Н. Шульгина*



**Я** была тогда еще маленькая. Неполных пять лет жила на свете, открывая для себя окружающий мир. Да и память у меня была не такой, как у взрослых. От детской поры сохранила всего только крохи...

Но одно помню точно: волосы у меня были черные, на концах вились буравчиками, а на макушке лоснились — как вороново крыло, говорили наши. Из-за этих-то густо-черных кудрей и прозвали меня дети Кудлаткой. А когда в игре хотели меня почему-то позлить, кричали: «Цыгане тебя потеряли, уронили с телеги!»

Только это была неправда.

Мой отец был крестьянином — наши узкие полосы тянулись у подножия горы вперемежку с такими же соседними полосами. Каждый клочок этой каменистой земли был здесь полит потом, каждый овейя каким-либо преданием.

С нашей полоской на Брэзовце<sup>1</sup> связывали историю, от которой у нас всегда замирало сердце и перехватывало дыхание.

---

<sup>1</sup> В словацком языке ударение, как правило, на первом слоге.

Расскажу вам ее.

В те времена, когда родился наш дедушка по отцу, в деревни еще заходили волки. Осенью спускались они к самому селению либо подстерегали людей на лесной опушке. Однажды на Брезовце копали последнюю картошку — дни уже стояли холодные, мглистые. Из ботвы и веток орешника жгли костры. Пламя металось по ветру, проблескивая в неприятном воздухе. На меже в колыбельке спал ребенок, укутанный в овчинный тулуп. А в кустарнике притаился волк. Когда костер догорел — ведь волки боятся огня, — он подкрался к колыбели, схватил младенца и поволок в лес вместе с тулупом. Одна из женщин увидела, стала звать на помощь. Сбежались бабы с мотыгами, кинулись спасать ребенка. У самого леса крепыш вывалился из тулупа, проснулся и закричал. Волк — наутек, только тулупа из пасти не выпустил, а дотащил до своего логова. На другой день собрались самые смелые охотники искать волка по следу, чтобы избавить деревню от страха. След от тулупа привел их к волчьему логову. Охотники притаились в засаде, и была им удача. В лесу грохнули выстрелы, и раненый зверь заметался, истекая кровью. Ему связали ноги, просунули меж ними жердину и принесли добычу в деревню. На время матери стали спокойнее баюкать своих малышей и громче петь колыбельные песни...

Всякий раз, когда мы сеяли, косили или сгребали сено на Брезовце, нам рассказывали, как волк утащил нашего дедушку и как спасли его бабы мотыгами.

— А если бы волк съел нашего дедушку? — спрашивали мы, цепenea от ужаса.

— Если бы волк съел вашего дедушку, — отвечал отец с мужской рассудительностью, — то вымер бы наш род, не было бы ни нас, ни вас, ни тех, кто придет вслед за вами.

И мы радовались, что все хорошо кончилось и мы живем на свете.

Нас было четверо. Три сестры и брат. Старшую звали Бетка, среднюю — Людка, а я была младшая из сестер. Последним ребенком в семье, как говорится, последышем, был Юрко.

Рассказывали, отец сердился на бога: зачем, мол, такому, как он, посылает одних девочек? И наконец родился мальчик. Тогда и мама стала счастливой, и ее жизнь наполнилась радостью.

Но всей семье приходилось тяжело трудиться, даже нам, детям, уже с малолетства, и это омрачало нашу жизнь. Над нами висел еще долг за неудачную поездку за океан. А вернулись — долг стал еще больше: ведь надо было думать о крыше над головой. Отец купил по случаю просторное строение — заброшенную корчму, — и мы в ней поселились. Дому бы-

ло, должно быть, лет сто, и как почти во всех окрестных домах, в непогоду в нем сырели понизу бревна и разрасталась серо-зеленая плесень. И как все дети в округе, мы часто просыпались от странного запаха стен, а утром вставали невыспавшиеся, со сморщенными, как у стариков, лицами.

Но грустно у нас не бывало. Мама улыбкой умела прогнать с наших лиц любую набежавшую тучку, словно волшебной палочкой прояснить наши глаза, заставить нас щебетать, как шумливых птенчиков. День-деньской мы вертелись возле нее, наперегонки старались помочь ей.

Хорошо помню самые радостные дни нашего детства — это когда перед большими праздниками у нас пекли пироги. Их аромат проникал из кухни в горницу и распространялся по всему дому. Он даже пробирался к нам в души и веселил наши мысли. Мы тогда мололи мак — мама выращивала его на грядке за домом. Толкли орехи, которыми каждую осень набивали сумки. Готовили из повидла начинку — в конце лета мама всегда варила его в чугушке на дворе. Из остатков теста она пекла нам, девочкам, по кукле, а Юрко — лошадку.

В такие дни соседи часто наведывались друг к другу. Приходили в гости и к нам — поглядеть, похвалить пироги. Пробуют, причмокивают, жуют, улыбаются. Лица их так и блестят от печного жара. Они кажутся мне похожими на мою куклу, только выпеченную огромной, в человеческий рост. И языки свои они точно салом смазывали — все, бывало, болтают, смеются. А забежит кто из нас ненароком в кухню, сразу умолкают на полуслове.

И вот однажды мы заметили, что мама печет пироги, а из глаз у нее текут слезы.

В тот день творилось что-то небывалое.

Женщины оделись в темное. Не отрывая глаз от земли, скрестив руки под грудью, они еле двигались, как после тяжелой болезни. И пальцами утирали набегавшие слезы. А одна — я видела — грызла кончик платка, завязанного под подбородком.

Только мы, дети, сперва не понимали, что происходит. Аромат пирогов дразнил наше обоняние так же, как, бывало, и прежде — на пасху или рождество, — и так же проникал во все уголки нашего дома. Мы заглядывали взрослым в глаза, пытаюсь угадать, отчего же они так печальны?

И что было совсем удивительным — плакали не только женщины, кое у кого из мужчин тоже наворачивались слезы.

Шел 1914 год.

Поговаривали, что где-то застрелили какого-то человека



и что из-за него одного должна начаться война<sup>1</sup>. Взрослые повсюду толковали об этом, а мы, дети, ничего понять не могли. Слышали только, как ругались мужчины, видели, как в своем неожиданном горе безропотно отдаются воле божьей женщины. Но ни плач, ни молитвы не могли отвести эту беду. По дорогам загрохотали телеги с призывниками. Из деревень уходили на войну мужики.

И перед нашим домом остановилась в тот день телега. Простая такая: четыре колеса и три доски. Нашу лошадь спрягли с порубяковской, чтобы им было легче. Когда мы вышли на крыльцо, в телеге уже сидели Порубяк с женой. Отец вынес черный деревянный сундучок, на котором белыми буквами было выведено его имя. Как он простился с нами, как обнял — не помню. По пристенью<sup>2</sup> следом за ним шла наша мама. На ее щеке сверкала слеза, губы были плотно сжаты.

<sup>1</sup> Речь идет об убийстве 28 июня 1914 года в Сараеве наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда, послужившем поводом для развязывания первой мировой войны. (Здесь и далее прим. переводчика.)

<sup>2</sup> Пристенье — вымощенная дорожка вокруг дома.

Тетка Порубячиха, увидев ее, заголосила, заламывая руки:  
— Увозят родимых... Не воротятся они домой...

У мамы дернулось лицо. И снова скатилась слеза, оставив блестящий след.

Она пересилила себя и сказала:

— Воротятся, не убивайся! — и села рядом с отцом.

Лошади тронулись, телега загромыкала. Чуть пониже нашего дома ее нагнали две другие, спустившиеся по дороге.

На одной ехали Липничаны. У тетки Зузы все лицо закрывал черный платок, повязанный высоким уголком надо лбом. Точь-в-точь, подумалось мне, как святая в часовне. Она сидела, судорожно вцепившись в колено мужа, и ни на кого не глядела, даже бровью не шевельнула. Дядя Липничан пощелкивал кнутом над спинами лошадей и через силу улыбался — думал хоть так немного ободрить жену.

На второй телеге ехали Мацухи, вдова с сыном. Тетку Мацухову и теперь не покидала веселость. Она раз и навсегда уверовала, что ее Йозеф не иначе, как из железца. А от таких парней пули на фронте будут отскакивать. Она знала твердо: сын возвратится к ней живой и невредимый.

Вдоль дороги, кучками и поодиночке, выстроились люди, провожали отъезжающих.

Перед новой белокаменной корчмой стояли разряженные, точно в праздник, Ливоры. На тетке шуршала шелковая юбка, а когда она занесла ногу на ступеньку, блеснули узенькие башмачки, в которых она когда-то венчалась. Волосы на затылке были подколоты узорчатым костяным гребнем, украшенным зеленоватыми стеклышками. Сам Ливора надел новые сапоги, поверх тонкой полотняной рубахи накинул безрукавку с серебряными пуговицами: пусть все видят, что он хочет почтить отъезжающих. Его самого не призвали — освободили из-за большого хозяйства.

На травянистый берег нижнего ручья в последнюю минуту прибежала тетка Ондрушиха. Ее мужа тоже не взяли на фронт, но она пришла проводить хоть и чужих, да хороших людей. Всю ночь у нее болело сердце за них. От темна до рассвета, не смыкая глаз, ворочалась она с боку на бок. Неотрывно глядела на небо и все молила всевышнего, чтобы отвратил это кровопролитие, эту смерть неминуемую. Думала — вымолит чудо. Но чуда не произошло. От самой зари, как только звезды стали бледнеть, заворковали под стрехами голуби и пение петухов разнеслось по деревне, на каменном мосту загромыкали телеги: со всего нашего края увозили мужиков на войну. Давясь слезами, зажав рот рукой, тетка Ондрушиха провожала телегу, на которой ехал отец. Что ж поделаешь, коль у нее такое доброе сердце. И всегда так. Бывало, увидит чужих ребятишек — не выдержит: то яблочко



им подаст, то макушку сахарной головы. Мне тоже не раз совала в руки чего-нибудь вкусенького, когда дядя Ондруш не видел. Делала это тайком, потому что он был ворчун и несносный скряга.

Из окон дома у поворота выглядывали Петрани. Тетка Петраниха пересчитывала мужиков на телегах. Из-за чисел она спорила с дочками и упрямо держалась своего подсчета, хотя и неверного.

— Не приведи бог остаться без мужской подмоги в хозяйстве! Всю жизнь досадовала, что ты у меня колченогий,— говорила она мужу,— а нынче не нарадуюсь. Вот уж и впрямь — нет худа без добра.

Петрань гордится тем, что он самый набожный человек в деревне — ведь он читает самые длинные молитвы и распевает по воскресеньям после полудня самые длинные псалмы. Он убежден, что послужит призывникам верой и правдой, если проведит их с Библией в руках. С рассвета она была уже приготовлена на подоконнике. Первые лучи восходящего солнца ярко вспыхнули в ее медных застезках. Таким же ярким огнем горели и глаза дяди Петраня, когда он, положив ладонь на толстый оклад священного писания, кричал вслед отъезжающим:

— Не бойтесь, мы не оставим в беде ни вас, ни ваших жен и детей...

Мы ясно слышали это, так как стояли на мостках, перекинутых через ручей у нашего дома. Мы всегда засыпали под его журчание. Мама говорила: «Как поет этот ручей!» Отец выражался точнее. Он говорил: «Как ручей гудит». Гудел он и сейчас, но звуки его тонули в грохоте колес и рыданиях женщин. Они плелись за телегами вниз по дороге и в голос плакали.

На мостках с нами стояла тетка Гелена, незамужняя сестра мамы. Была она стройная, высокая, с гордой осанкой. Волосы у нее были желтые, как воск, а глаза голубые, чисто незабудки среди зарослей белены. Она часто присматривала за нами, когда родителям приходилось куда-нибудь уйти из дому. Мы любили оставаться с ней, потому что тетка Гелена рассказывала нам сказки — слушая их, мы уносились в волшебные замки или искали счастье на свете. Она резвилась с нами совсем как ребенок, хотя была уже взрослой. Но в тот день, когда отец ушел на войну, и она пригорюнилась. Долго стояла перед домом и не мигая глядела куда-то далеко-далеко, поверх дороги. Я держалась за нее и видела, как она кончиком фартука утирает глаза и нос, как изо всех сил душит в себе рыдания. Недаром говорили, что в их семье считалось постыдным выставлять напоказ свои чувства. Все затаить в себе — вот что требовали правила приличия.

Когда телеги скрылись за поворотом и стук колес доносился все глуше, заговорила моя старшая сестра Бетка.

— Нету у нас больше отца,— сказала она, как-то непривычно отчеканивая каждое слово.

У Людки вырвался из груди такой вздох, точно ветер взметнулся в чашобе. Она выдернула свою руку из теткиной и, горько плача, побежала домой. Влетела в горницу, бросилась на постель и уткнулась головой в перину. Так мы ее и нашли: она лежала, свернувшись клубочком, и всхлипывала:

— Тата наш... Тата...

От этих рыданий у меня стиснуло сердце. Я прижалась к ней и так же, как давеча мама тетке Порубячихе, сказала:

— Воротится он, не убивайся...

Мне хотелось приласкать ее, чем-то утешить, но тут вдруг немисливо загудел каменный мост чуть повыше нашего дома. По нему забарабанил галоп господских коней, в который вплетался перестук легких колес. Мы едва успели подскочить к окнам — мимо них замелькали господские коляски. Постромки у лошадей были украшены кокардами. В глазах так и запестрели трехцветные ленты: красные, белые и зеленые. Господа в колясках радостно что-то выкрикивали, точно на балу в комитатском<sup>1</sup> городе.

Госпожа в сером платье, с ангельским личиком подняла руку в разлетавшемся на ветру кружевном рукаве и воскликнула:

— Eljen a hávogí!

— Что она говорит? — спрашиваем мы у тетки Гелены.

— Да здравствует война,— глухо отвечает Гелена, испуганно провожая глазами коляски, которые исчезают в клубах пыли и слепящем сиянии солнца.

И вдруг — то ли ее оставили силы, то ли ослепил резкий свет — ей понадобилась опора: она вцепилась рукой в мое плечо и так доплелась до стола.

— Что с вами? — спросила Бетка и бросилась к ведру с водой.

— Какая-то тяжесть на меня навалилась,— придя в себя, еле слышно сказала Гелена.— Да и чему удивляться? — Глотнув воды, она чуть ожила.— Не выходят у меня из головы эти слова, о господи... — Она участливо глядела на нас.— Неужто такое возможно, дети?

Мы так и не успели ответить на теткин вопрос. На дороге снова появилась вереница телег, на которых сидели плечистые парни из Дубравы и рядом с ними женщины с узелками. Но эти держались мужественно, редко какая плакала.

---

<sup>1</sup> Комитат — административно-территориальная единица в бывшей Австро-Венгрии; то же, что губерния в России.

Вдруг в горницу вбежал брат, самый младший из нас. В руках у него отцовский кнут, который он нашел в сарае. Тяжелое кнутовище было не под силу трехлетнему малышу, он держал его обеими руками, опирая о живот. Лицо у него пылало.

Тетка Гелена выпрямилась. Нам никогда не разрешалось приносить в горницу посторонние вещи. Мысль о порядке, который она так любила, должно быть, вернула ей душевные силы. Глаза-незабудки вдруг сделались серыми, и она одернула Юрко:

— Это еще для чего?

— Для импелатолы,— сердито сказал он, надув губы.

— Для императора? — удивилась тетка и беспокойно тряхнула головой — вокруг лба запрыгали мягкие волнистые пряди.

— Ведь он хочет войну,— добавляет мальчик. Под каштановым чубом у него озорно блестят глаза.

— А, понимаю...— Тетка Гелена приходит в себя.

В самом деле, стоило бы кое-кого наказать за то, что у нас забрали отца и что вместе с ним забирают отцов у миллионов детей, мужей — у миллионов жен, сыновей — у миллионов матерей, братьев — у миллионов сестер. Кто знает, сколько из них не вернется домой?

Гелена кивает Юрко и вместе с кнутом обвивает его руками. И снова, верно, видится ей воздушный кружевной рукав, развешивающийся в господской коляске, и слышится ликующий выкрик: «Да здравствует война!» У нее бледнеет лицо, и вместо сострадания и нежности на нем проступает ненависть, которая так и брызжет из глаз.

Склонившись к самому плечу братика, она шепчет:

— Если бы помогло, так не только императора, многих стоило бы высечь кнутом. И этих вот, что в колясках балаганят.

И снова летят лошади легким галопом вверх по дороге. Их погоняет господский кучер в зашнурованном кафтане. Господа веселятся, а из-за герани в крохотных окнах лачуг провожают их хмурые взгляды.

Мама воротилась без отца.

Под глазами у нее залегли темные круги, взгляд был усталый, печальный. Говорила с нами каким-то приглушенным голосом и беспомощно двигала руками, когда снимала праздничное платье. Мы видели, как она перемогает себя, бодритя и, глубоко дыша, набирается сил.

Тетка Гелена, чуть прищурив глаза, издали следила за мамой и, кивая головой при каждом ее движении, казалось, раздумывала над ее долей.

Уже и мы, дети, знали: родители мамы так и не простили ей до конца, что она вышла замуж за нашего отца. Они хотели

отказать ей даже в приданом, когда она выбрала не богатого парня, а бедного, с нижнего конца деревни. Наша маленькая горная деревушка была явственно разделена надвое: на тех, у кого много, и на тех, у кого мало либо совсем ничего. Честность, человечность, трудолюбие тогда не очень-то были в цене. Разве бедняк достоин был дочери газды?<sup>1</sup> Иной раз приходилось идти наперекор родительской воле — и наша мама решилась на это. Из-за ее замужества родители затаили в сердце обиду, хотя были на редкость добрые люди. Но и они подчинялись ложным законам своего уклада. Только когда в нашей семье родился мальчик, бабушка с дедушкой немного оттаяли. Подарили отцу небольшой участок земли, помогли купить лошадь.

Рассказывали, маме стало совсем горько, когда родилась я. Третья дочка в семье, а они так ждали сына! Поначалу меня даже редко кто на руки брал, редко кто нянчил. Я была нежеланным ребенком. И уже с самого детства сделалась нелюбимой. Но я унаследовала мамин характер и никогда не грустила.

Около дома я нашла уголок, где играла по-своему. У нас на задворках бежал быстрый горный ручей. Он прятался в мшистых берегах, которые поросли ивняком и высоченной травой. Вода в нем искрилась и пела тысячью голосов. По ту сторону ручья жили Порубяки. К ним надо было идти через мостки из двух обструганных бревен. Мостки висели высоко над ручьем, чтобы их не унесло половодьем. Зажаты они были тяжеленными валунами, густо наваленными вдоль берегов, чтобы вода не разрушала построек. Возле мостков со стороны Порубяков росла высоченная липа. Она нам служила опорой, когда мы переходили мостки над вспененным, бурлящим потоком. Мы уже издали протягивали к ней руку, стараясь побыстрей ухватиться за ветви. Держась за них, мы чувствовали себя в безопасности. Когда отец был еще дома, он часто говорил нам, что липа охраняет наш дом от пожара. А мама добавляла: корнями она держит в объятиях берег, чтобы вода не смыла его. Мы и все соседские дети любили играть под ее раскидистой кроной.

А я чаще всех сидела под ней. Чудилось мне, что громадные валуны вдоль берега похожи на сидящих людей. Я дала каждому имя и разговаривала с ними. Эти каменные люди стали моими друзьями. Самый сутулый из них, посередине, напоминал мне старую тетку Верону с Груника. А чуть пониже, опустив ноги в ручей, сидел дядя Данё Павков: очки на смешливых глазах, меж колен сапожная лапа. Камень, сидящий на траве, был цыганкой Ганой, которая предсказывала

---

<sup>1</sup> Г а з д а — крестьянин, владеющий землей.

людям будущее. И мне всегда виделась колода карт, раскиданная у ее ног. В карты заглядывал Матько Феранец, с малых лет круглый сирота, пригретый деревней. Сперва он был пастухом, потом ходил в город колоть дрова на господских дворах.

Я и словом никому не обмолвилась, что камням на верхнем ручье дала человеческие имена. Мне уже тогда казалось, что у каждого человека есть свои сокровенные тайны. Я заметила, что и мама не во всем доверяется тетке Гелене, а Гелена часто поджимает губы, чтобы с языка не сорвалось лишнего слова.

Такой казалась мне тетка Гелена и в тот день, когда мама проводила отца на войну и воротилась из города. Тетка не сводила с матери глаз и уж так, видно, хотелось ей выговориться, но всякий раз она запинаясь, губы у нее деревенели, и только живые, беспокойные глаза настороженно следили за каждым маминим движением. Гелена вроде жалела маму, но вместе с жалостью в уголках глаз таилась и давняя мысль: совет, мол, только к разуму хорош, а мама чего добивалась, то и получила.

Колкие слова так и рвались с языка тетки Гелены, и в конце концов она не сдержалась. Когда мама, уже в будничном платье, повязав фартук и засучив рукава, приступила к работе, тетка Гелена подошла, чтобы помочь, и начала:

— Богатых освобождают от армии. В зажиточном доме и муж при тебе бы остался, и жить было б на что. Нечего было тебе очертя голову замуж идти, нынче это как день ясно.— Она склонила голову к плечу, как бы гордясь тем, что сама никогда бы так не оплошала.

Мама вздрогнула. Уже тысячу раз повторенный упрек был особо мучителен в эту минуту, когда сердце ее изнывало за мужа, за нашего отца...

И тетка Гелена опомнилась: ей стало не по себе, что она не сдержалась, не сумела скрыть своих мыслей, а главное — ведь уже ничего не изменишь.

Они обе стали хлопотать по хозяйству. Я помогала, не спуская глаз с мамы. Мне было ее очень жалко. Я то и дело ластилась к ней и старалась хотя бы улыбкой утешить ее. Но мама оставалась равнодушной к моим утешениям. И даже подтолкнула меня в плечо, отсылая прочь, к детям. Она не хотела, чтобы я слышала их перебранку с теткой Геленой.

Скрепя сердце я переступила порог и вышла в сени, залитые солнцем. Это ободрило меня. Мне захотелось помчаться на лужок и взапуски погоняться за божьими коровками. Но я тут же подумала о маме, и у меня пропала всякая охота веселиться. Я заглянула за дверь. Мама усердно трудилась, опережая Гелену, словно торопливостью хотела разогнать мрачные мысли и чувство сиротства.

Думая, должно быть, что я уже ушла, мама сказала тетке: — Гелена, я не хочу, чтобы ты снова и снова все это повторяла при детях. Пора бы тебе понять, что я пошла за того, кого любила.

Мне стало стыдно: ведь я невольно услышала то, чего не должна была слышать. Я опустила голову и уставилась в пол.

И вдруг у порога сеней забелел мамин платок, который она обронила, когда возвращалась. Я подскочила к нему и подняла. Он был весь мокрый от слез. Наверно, она очень плакала из-за отца. Я взяла платок и разложила его на солнышке — пусть лишний раз не напоминает ей пережитое.

Но намокший платок растрожил мое детское сердце. Детей во дворе не было, и за утешением я побежала к старой липе у ручья.

Я очень удивилась, увидев под липой Бетку. Она сидела, рвала вокруг себя траву и бросала в воду. Бетка была сурового нрава, почти никогда не плакала, но зато часто упрямилась и сердилась. Когда мама воротилась из города, сестра тут же убежала на задворки, чтобы не видеть и не слышать, как мы горюем.

Когда я подошла, она недовольно поглядела на меня из-под липы.

— Ведь я не к тебе, — сказала я, — я сюда, на камни.

Мне хотелось посидеть у камня, в который я заколдовала тетку Верону, и шепнуть ей хоть словечко. Мне хотелось рассказать ей, как вдруг невесело стало на свете.

Я тихонько подкрадываюсь к самому берегу и гляжу на ручей. Вода бурлит, бьет о камни. При каждом ударе в воздухе рассыпаются серебристые брызги. Они блестят на траве точно утренняя роса. Ветер играет с ними, качает их. Брызги с листьев, смеясь, прячутся от него в желобки, а какие скатываются на землю. А то вдруг ручей позовет, поманит к себе, напевая самые невообразимые песни. Славнo-то как у ручья, какой заколдованный мир! Я никогда не могла насытиться звуками и игрой сверкающего потока.

Но сегодня Бетка смущает меня. Глядит сердито и гонит меня прочь. Такая веселая, она обычно не могла обойтись без забав, без людей. Но сегодня и ей хочется быть одной.

Возле нее барахтается в траве шаловливый котенок. Вертится на спинке и лапками ловит вертячий хвостик.

Смешно-то как, и мне хочется засмеяться, но недовольный Беткин взгляд останавливает меня. Я отохожу от ручья к гумну...

Вдруг над водой мелькает серебристо-голубая стрекоза. Свой полет она сопровождает самоуверенным жужжанием. Распластав крылья, она возвращается к ручью и кого-то выглядывает... Из цветов дербенника стремительно вылетает к



ней навстречу другая. Они соединяются и, жужжа, вместе кружат над водой.

У меня глаза загораются. Я всегда уговаривала Людку поймать для меня хотя бы одну-единственную стрекозу — мне так хотелось вблизи рассмотреть ее крылышки. Я вмиг забываю о Бетке и снова подкрадываюсь к ручью.

— Я же сказала тебе, — меня сразу же приговорают к месту голос сестры, — уходи отсюда!

Лицо у нее измученное, хмурое. Почему ее не забавляет игривый котенок, почему не вскочит она с радостным криком, чтобы поймать для меня стрекозу? Сколько раз мне обещала... Ведь Людка была еще для этого маленькая.

— Гляди, стрекоза!

Я показываю на нее пальцем, но как-то робко — и мне сегодня не до нее, мне даже не хочется, чтобы Бетка гонялась за ней по ручью. И мне что-то не радостно. Мне кажется, что Бетка даже ничего не замечает вокруг. Может быть, она услышала, как по долине грохочет поезд и увозит на фронт из комитатского города наших отцов?

Я сразу же повернулась и убежала.

Бетка помешала мне побыть среди моих любимых камней на берегу ручья, и я отправилась к настоящей тетке Вероне на Груник.

Груником люди прозвали холм под горами. Дорога к нему проходила мимо нашего двора. С незапамятных времен на Грунике господа строили замки. Оттуда открывался вид на всю округу, а воздух был напоен густым запахом сосняка и малинника. Неподалеку протекал ручей Теплица — зимой он не замерзал, а весной его берега покрывались цветами, каких нигде в окрестности не было.

По пути к верхнему<sup>1</sup> замку в маленькой батрацкой лачуге жила тетка Верона. Когда-то она была служанкой. А теперь, состарившись, разносила по деревне почту. Любой из нас уже издали узнавал ее по походке: Верона хромала на одну ногу. На боку у нее висела большая почтальонская сумка.

Когда дети не слушались, им грозили:

«Вот погоди, посадит тебя Верона в сумку!»

А я не боялась. У Вероны было золотое сердце.

В ее комнатухе висели чистые полотняные мешочки с «сушками». Это были сушеные яблоки, груши, сливы и морозом прихваченный терн. Зимой, когда не было фруктов, она раздавала «сушки» детям. Эти сушки да еще сказки нас с ней и сдружили. И так сдружили, что ее именем я назвала самый красивый камень на нашем ручье. У журчащей воды

---

<sup>1</sup> В деревне было три замка: нижний, средний и верхний. (Прим. автора.)

повторяла я ее сказки. Они не были ни о бабе-яге, ни о заколдованных принцессах. Верона всегда рассказывала о своей жизни и о замке, в котором прослужила с малых лет до старости.

В нашей деревне долго держалось поверье, что в замке водилась нечистая сила. Никто в этом даже не сомневался. И никто не отваживался бы пройти ночью мимо стен господского дома. Говорили, что нечистый вызванивал золотыми дукатами и заманивал в свои сети тех, кто соблазнился богатством. Таким приходилось тяжело — нечистый навлекал на них уйму напастей. В замке он то горох сыпал им под ноги, как некогда баба-яга Яношику<sup>1</sup>. То опрокидывал вверх тор-машками столы и стулья, то бродил с огнем из комнаты в комнату. А то прикидывался белым призраком. Или созывал целую свору кошек, которые мяукали всю ночь перед покоями. Ужас был невообразимый. В конце концов господа укладывались спать только вместе с челядью.

Когда спустя годы обо всем этом рассказывала нам Верона, мы в страхе жались на лавке у печи и, держась друг за дружку, от любопытства болтали босыми ногами.

Верона, рассказывая сказки, беспрестанно кивала головой. Глаза ее излучали мягкий, теплый свет. При каждом движении на лоб из-под черного платка спадали седые прядки волос. Этот платок всегда окаймлял ее лицо, на котором годы и страдания, как и речные струи на моем камне, высекали густую сетку морщин.

В конце концов она призналась:

— Теперь-то, дети мои, я могу вам открыться: никаких привидений в замке не было, потому что их и не бывает на свете. Это мы, слуги, прикидывались привидениями. Господа тогда плохо обращались с нами со всеми. Работы — непочатый край, а платы — почти никакой. Одиноким еще так-сяк. Но у многих были жены, дети. Надо было их одеть, прокормить. Да поймете ли вы, мои маленькие? Постолки детям купить и то было не на что. Вот такими-то босыми ножонками они и топали всю зиму. Вот такими...

Она брала наши ноги — мы сидели на лавке у старинной печи, — грела подошвы ладонями и, стянув с нас накидки, кутала ими колени и икры. И все говорила:

— Господа не ходили ни босые, ни в постолах. У них было все, что душа пожелает, да и нынче все есть. Вам бы тоже всем такие хорошие башмачки подошли, а то нет?

Мы кивали старательно и грызли сушки. Не раз виделась нам в мечтах обувка из тонкой кожи, какую носили господские

---

<sup>1</sup> Яношик — легендарный словацкий герой, «благородный» разбойник, защитник бедных и угнетенных.

дети. Но мы и подумать не смели, что не только они могли бы носить такую.

Верона додумывала за нас:

— И впрямь, они бы всем подошли.

Только мой братик в это время не болтал ногами, даже не грыз сухек, а только рассовывал их по карманам штанишек.

Он сидел молча, смотрел широко раскрытыми глазами и думал о привидениях.

Только раз он отважился открыть рот и спросить:

— А какие они, привидения?

— Ведь я вам уже сказала,— улыбается тетка Верона,— что это мы, слуги, прикидывались привидениями. Когда кто из нас просил жалованья, его тут же выгоняли, потому как всегда находили замену. А вот как завелась в замке нечистая сила, все уже боялись наниматься туда на службу. Господам пришлось нас больше ценить. Если нас не защищали законы, то мы нашли другой способ. Только садовник был заодно с господами — вот мы и его ходили стращать.

Все рассмеялись, кроме братика. Он все еще серьезно глядел на Верону и молчал. Только посмелее двинул рукой, сунул ее в карман и набил полный рот сухками. Видно было, что он успокаивается.

— Лучше всех управлялся с этим делом Ондро Феранец, Матков дедушка,— добавляет старушка.— Он на конюшне батрачил. Но об этом расскажу вам в другой раз.

Она всегда заставляла нас с нетерпением дожидаться следующего рассказа. Так, по крайней мере, она знала точно, что мы снова придем. Не имея своих детей, она и чужим была рада.

Рассказывать она больше всего любила зимой, когда поменьше работы. Летом баловала нас реже — не до рассказов ей было. Одна я забегала к ней часто, потому что нигде так звонко не пели птицы, как на деревьях у ее домика, нигде так пышно не цвели луга, как вокруг Груника.

Но когда наш отец ушел на войну, я отправилась к тетке Вероне не ради цветов на лугах и не ради птичьего пения — мне нужен был ее ласковый взгляд, который умел лечить детское горе.

Она сидела на стуле возле резного старинного сундука и латала рубаху. В ногах у нее стояла корзинка с иголками и разноцветными нитками. В тарелке на столе лежала душистая, только что сорванная земляника. Из кухоньки доносился запах грибного супа.

Я притворила за собой дверь и молча остановилась, опершись о притолоку и не отнимая руки от дверной ручки.

Верона посмотрела на меня поверх очков, потом бросила взгляд на стол, как бы предлагая мне землянику. Думала, порадует меня.

Но я не сдвинулась с места, и она удивилась:

— Неужто не хочется?

— Наш отец ушел на войну...— Я едва выговорила эти слова, так сдавило мне горло.

Старушка ласково повторила:

— Ваш отец ушел на войну, бедняжки...

Она отложила шитье, встала и подошла приласкать меня. Заскорузлыми, узловатыми пальцами расчесала мне волосы и несколько раз прошлась по щеке сухой шершавой ладонью.

— Не плачь,— успокаивала она меня,— погоди, попадет отец на русский фронт, пришлет тебе в письме рубль. Ведь я вам, детям, однажды рассказывала, как в старину на телегах отправлялись наши холстяники до самой Руси и привозили оттуда за холстину золотые рубли. Вот увидишь, и тебе отец пришлет такой. Уж я-то знаю, когда лежат в письме деньги. В котором будет рубль, тот тебе и отдам. Хорошо?

Я даже кивнуть не смогла. Голова у меня точно одеревенела, и сказка о золотом рубле меня ни капли не тронула. Не радовало меня золото. Мне больше всего хотелось крепко прижаться к кому-нибудь и позабыть об этом дурном дне.

Мама меня тоже обидела, не приласкала, а прогнала из дому, чтобы я не слушала нелепой болтовни о ее замужестве. А чуткая тетка Верона вдруг решила, что детское горе всякий раз можно унять блестящей монетой. Она не почувствовала, что мое изболевшееся сердце в этот день нуждается в чем-то живом, человеческом.

Я вспомнила, что она давно обещала мне куклу. Если бы она сейчас дала мне ее, я могла бы во всем ей открыться. Тетка Верона обещала сделать куклу из тряпочек. Говорила, что лицо ей вышьет цветными нитками, волосы смастерит из овечьей шерсти, туфельки — из тонкого сукна. Я радовалась, что у меня будет кукла и я смогу с ней разговаривать, как и с моими камнями у ручья. Я рассказала бы ей, как стало мне грустно после ухода отца, как хочется плакать.

Тетка Верона, желая утешить меня, намекнула, что сейчас кое-что мне принесет.

«Ага, кукла!» — подумала я.

Но старушка пошла в кладовую и вынесла оттуда корзинку грибов. Велела отдать их маме. Нужда придет, и грибы пригодятся. Ведь нынче некому землю пахать, раз мужики ушли на войну. Теперь, сказала она, и дети должны помогать.

Я взяла корзинку, поблагодарила и заторопилась домой.

Дверь была открыта, повсюду тишина. Тетка Гелена уже ушла. Мамы нигде не было. Только Людка спала на кушетке, глубоко дышала, и с каждым ее выдохом шевелились волосики, рассыпанные по лицу.

Маму нашла я в конюшне. Она стояла рядом с конем,

обхватив его шею руками. Конь, наклонив голову, лбом упирался в мамин висок. Так рядышком они и стояли. Когда я увидела их, сердце у меня часто-часто забилось. И снова подумала я о кукле — я тоже прижалась бы к ней, как мама к коню. Ведь и она со своей печалью пошла к нему, а не к людям.

— Ты теперь наша единственная подмога, Ферко.

Коня звали Ферко. Отец дал ему такое человеческое имя, потому что он был очень добрым и умным. Мама всегда говорила, что Ферко понимает людей. Поэтому она и пошла поделиться с ним своим горем.

Мама меня не заметила. Я вернулась в кухню и стала чистить грибы. Верона ведь сказала, что дети теперь должны помогать. Вот я и хотела помочь маме.

Еще не высохли глаза у женщин и детей, проводивших мужей и отцов на войну, а по деревне уже снова шагал глашатай Шимон Яворка со своим барабаном. Мы знали его как человека улыбчивого, веселого, но сегодня вместо привычной улыбки на его лице была какая-то странная ухмылка. Нижняя губа отвисла почти до самой ямки на подбородке. И без того припухшая — в детстве он рассек ее о мотыгу, — теперь она казалась и вовсе толстенной. Ведь Шимон не любил приносить людям дурные вести! Он знал, что их не обрадует бумага, которую он получил от сельского писаря. В ней доводилось до всеобщего сведения, что каждый владелец лошади, пригодной для военных нужд, должен привести ее к корчме сегодня же до полудня.

Новая корчма стояла неподалеку от нас. Это было большое кирпичное строение с двумя белыми столбами у входа. Вдоль дороги по фасаду посверкивали широкие окна с бегониями, меж которых на палочках красовались стеклянные разноцветные шары. Крыша была просторная, из больших квадратов железа. Настоящая хоромина посреди лачуг, крытых соломой и редко шифером. Пустырь перед корчмой считался чем-то вроде деревенской площади. Как раз в этом месте дорога делала крутой поворот.

Сейчас сюда шагал деревенский глашатай Шимон: на ногах — тяжелые сапоги, в глазах — беспокойство. Непривычно долго стучал он палочками по барабану — людям даже наскучило слушать. Разве что умом тронулся, думали они. Всегда был такой расторопный, а нынче еле ноги волочит. Наконец Шимон остановился прямо у нашего дома.

Люди сбежались со всех сторон — стоят, слушают.

— «Доводится до всеобщего сведения, — зачитывает Шимон бумагу, — что каждый владелец лошади, пригодной для военных целей...»



Но дочитать ему не пришлось. С нижнего конца деревни с криком, ломая руки, бежали женщины. Через верхний ручей к нам во двор примчалась и тетка Порубячиха. Уж она-то кричала пуше других. Голос у нее был под стать характеру. Родом она была из Дубравы и так же мало походила на наших женщин, как Дубрава на нашу деревню. Затерянная высоко в горах, Дубрава словно крепость была опоясана котловиной. Жили в ней люди с горячей кровью и ястребиным взором. Вот так, точно ястреб, влетела она к нам во двор и стала кричать, чтоб все слышали: мало того, что мужей забрали на фронт, теперь и до лошадей добираются!

Наша мама тоже заломила руки и, держа их над головой, направилась к конюшне. У нее перехватывало дыхание, дрожали губы.

А Шимон, дочитав бумагу, забил в барабан, потом ударил, как положено, еще раз напоследок и поплелся вверх по дороге. Он постарался незаметно выбраться из толпы, чтобы поскорее покончить с неприятной обязанностью.

Мы, дети, стояли на пороге сеней. Рядом с нами Катка Порубякова и Липничанихин Яник. Мы сбились, будто вороны на ветке. Видим, наша мама идет к конюшне. И тут же услышали, как она разговаривает с Ферко.

— Как же мы будем жить без тебя? — спрашивает его.

Потом выходит из конюшни, подымается на чердак за овсом и высыпает четверик зерна в ясли. Мы слушаем, как Ферко ест и похрупывает. Так мама отблагодарила его за верную службу.

Вокруг творилось такое, что мы не могли двинуться с места. Только время от времени поворачивали головы, когда к корчме подводили лошадей.

Господа из комитатского города вместе с нашим писарем и старостой сидели на веранде корчмы и оглядывали лошадей. Некоторые женщины, а среди них и тетка Порубячиха, грозили им кулаками. Но грози не грози — коней все равно пришлось отдавать.

В последнюю минуту прибежал к нам Матько Феранец, сказал маме, что недостает только нашего Ферко. Он помог маме вывести его из конюшни. Взял Ферко за недоуздок, мама пошла следом.

Она шла и беспокойно озиралась по сторонам. Взгляд ее был полон какого-то страха. Должно быть, боялась за нашу жизнь. Но сейчас она не плакала, только глаза у нее были непривычно страдальческие.

Посреди двора Ферко стал — и ни с места. Матько напрасно тянул его. Конь обратил на нас свои огромные синие глаза, точно прикидывал, достаточно ли мы повзрослели и может ли он нас оставить.

Людка прошептала:

— Теперь мы совсем одни-одинешеньки...

— Без отца и без Ферко,— добавила Бетка. Чувствовалось, что она едва сдерживает рыдания.

Братик улыбнулся во весь рот и сказал:

— Фейко, пеледай пливет тате на войне.

Матько Феранец смахнул слезу, шмыгнул носом и дернул за недоуздок. Мама вцепилась пальцами в гриву Ферко, а когда он двинулся, пошла рядом, глядя ему под ноги, точно хотела приноровиться к его шагу.

На мостках через нижний ручей они снова остановились. Ферко и шагу ступить не желает — упирается, трясется всем телом. Оглядывается на нас и ржет.

Может, он говорил нам, что ему не хочется уходить, что ему хотелось бы лучше остаться.

Тут мамина рука скользнула по шее коня. Ферко снова делает шаг, другой и идет уже дальше. Идет мимо старой раскидистой груши, что свешивается через соседский забор над дорогой.

Побежали и мы на мостки. Видим, Ферко поставили среди других лошадей. У него широкая, мускулистая спина, красиво вырезанные листиком уши. Гнедая шерсть так и лоснится на солнышке. А хвост черный, буйный. Парни, отправляясь на танцы, бывало, вырезали из него на смычки. А теперь уже с этим покончено. Пропадет Ферко, пропадут и парни. В последний раз стоит он перед корчмой. Стоит словно спелое яблоко, красивый, как на картинке. Мама не может глаз от него отвести. А когда Ферко снова заржал, она крикнула:

— Зачем вы его у меня забираете, как же мы будем жить без него?

Но ей никто не ответил. Только Ферко без устали ржал. Может, надеялся, что его пожалеют? Но господа и бровью не повели. У корчмаря стояло в конюшне много откормленных лошадей, но их никто не забрал. Говорили, корчмарь откупился. А наш Ферко, от которого зависело четыре маленьких жизни, должен был идти и пропасть на войне.

У нас еще рожь на Брезовце не была свезена. И последний клевер стоял в козлах на Чертяже. На Углисках капуста все больше наливалась соками. Каждую осень урожай свозил на телеге Ферко. Кто же теперь это сделает? Может быть, все в поле созреет. Поэтому у мамы так стынет в горле голос.

Почти в каждом доме женщины остались одни — мужей и лошадей забрали на фронт. Но были и такие, что откупились деньгами: и жизнь свою спасли, и лошадей сохранили.

— Может, так оно и к лучшему. Помогут, не дадут нам погибнуть,— утешалась наша мама.



— Конечно, помогут,— поддакивала ей Бетка, и мне казалось, что она вдруг как-то выросла, вытянулась, повзрослела лицом, в нем проглянула мудрость, какая обычно приходит только с годами.

Людке тоже захотелось сделать что-нибудь полезное, и она посоветовала:

— У дяди Ондруша и волю и лошади.

— Даст ли их только? — засомневалась мама.

— А отчего же не даст? — Бетка даже рассердилась на маму из-за ее нерешительности.— Попросим, а там поглядим.

Я тут же вызвалась сходить к дяде. Я любила бегать по тропинке вдоль ручья к Ондрушам. Их службы были по соседству с нашими. Тетка Ондрушиха то и дело меня чем-нибудь баловала: то грушу сунет, то яблоко, то орехов насыплет в пригоршни. Однажды даже порадовала меня двумя кусочками сахара, хотя тогда его почти не было.

— Давайте я сбегаю,— еще раз предложила я маме.

— Только даст ли? — Маму никак не покидали сомнения.

— Не мучайтесь раньше времени, успеете, если откажет.

Так Бетка одернула маму, сердилась она совсем как взрослая, хотя тогда ей еще и девяти не исполнилось.

— Ну что ж, ступай,— послала меня мама и еще пригласила на лбу волосы, разделенные на прямой пробор и заплетенные в две косички.

Стояло раннее утро. На траве и на кустах по задворкам еще лежала роса. Над водой и огородами плыл туман. Камни на берегу были холодные, мокрые. Босая, я перескакивала по ним, и у меня мокли подошвы.

Тетка Ондрушиха взбивала масло в сених. Маслобойка шумела, кусочки масла отскакивали на мутовку.

Только я переступила порог, как она спросила меня:

— Хочешь с хлебом? Погоди, дам.

— Тетечка, я пришла просить вас,— начала я,— не будете ли вы так добры и не одолжите ли нам лошадь? Мама хотела бы свезти рожь с Брезовца.

— Дядю пойдя попроси. А я покамест хлеба маслом намажу тебе.

Я вышла во двор. Был он просторный, со всех сторон огороженный. Дядя сидел на пороге конюшни и переобувался. Как раз наматывал на ногу портянку. Из конюшни в холодное предосеннее утро струилось тепло. Белые испарения стелились над Ондрушовой головой и рассеивались в воздухе. Кони били копытами — их мучила жажда.

— Ужо, ужо,— успокаивал их дядя, натягивая на портянку башмак. Потом стал цеплять шнурки за крючки. Он даже не заметил, как я подошла.

— Дядечка, мама велела вас спросить...— начала я.

Поставив ногу на землю, он угрюмо и выжидательно глядел на меня.

— Мама велела вас спросить, не одолжите ли вы нам лошадь?

— Лошадь? — выдохнул он, оттопырив губы.

— Ага, лошадь.

— Гм... — хмыкнул он и поднялся.

Вошел в конюшню, взял бадью и отправился к ручью за водой.

Я прислонилась к бревенчатой стене и стала ждать.

Дядя воротился с водой и спросил:

— А зачем вам лошадь?

— Мама хотела бы свезти рожь, какая на Брезовце. Боятся, сопреет.

— Гм... гм... — захмыкал он. Поднес бадью к лошадям, выпрямился, потер пальцем под носом и уставился на меня.

— Дадите, дядечка? — любопытствую я.

Он вытащил трубку, неторопливо стал набивать ее табаком, сунул в рот, так же неторопливо вытащил спичку, чиркнул о штанину и долго-долго прикуривал.

— Мама будет ругаться, что я так долго у вас. Дядечка, ну скажите, пожалуйста...

— Да уж скажу тебе, ясное дело, скажу, — тянул он как бы нараспев.

Хоть я была тогда еще маленькая, а почувствовала в его голосе злорадство.

Он убрал бадью от лошадей и опять уселся на пороге. И забубнил, будто сам себе:

— Рожь какая у вас на Брезовце! Эхе, хорошая она у вас уродилась. Землица что надо. Я еще летом говорил матери, чтобы мне ее продала — ей одной с ней не управиться. Не пожелала, — ухмыльнулся он, — пусть теперь и свозит, пусть на себе рожь и тащит.

— Значит, вы не дадите нам лошадь?

— Не дам. Ступай прочь!

Он выдохнул эти слова вместе с дымом, затащил кисет и сунул его в карман.

Через двери конюшни я видела двух серых волов с длинными рогами. Хозяева гордились, что они из мадьярской степи. Напротив них стояли две лошади — рослые, откормленные. Дядя Ондруш хвалился, как ловко он на них управляет: все давно у него под крышей, все давно с полей свезено. И вот же все равно отказал, не дает лошадей, да и только.

Задумалась я, маленькая, озабоченная: «Как же это я маме скажу?»

Мне с места не хочется двинуться. С тех пор как у нас на войну забрали и лошадь, у мамы сделались совсем другие

глаза. И походка стала какая-то вялая. Она меньше ласкала нас и совсем почти не улыбалась.

Дядя Ондруш плохо обошелся с нами. Да и к другим он не был добрее. Сухой картошки ни у кого без зависти видеть не мог, а сам ел и пил за десятерых. Детей у него не было, земли вдосталь, а ему все мало: зарился на нашу единственную хорошую полосу.

Вспыхнув, я плотно сжала губы.

Он заметил это. Насупил брови, лицо налилось злобой, и он закричал:

— Я тебе покажу, соплюха! Ну-ка, мотай со двора...

Он схватил жердину, которой выгонял скот в поле, и замахнулся на меня.

Я даже не шевельнулась, только голову прикрыла руками.

Тетка Ондрушиха выскочила из сеней. В руке держала ломоть хлеба с маслом. В подоле было несколько яблок, собранных для меня на задворках,— за ночь пошибало их ветром.

Тетка закричала с порога:

— А почему ты не хочешь дать ей лошадь?

— Не дам, и все тут! — ответил он, размахивая палкой.

— Ирод ты, а не человек! — ругалась она на ходу. — Люди уж и так грозятся подпустить нам красного петуха. Ну и пусть! И зачем только такой на свете живет! Мужики мрут на фронте, бабы в работе надрываются, дети с голоду пухнут! Совесть-то есть у тебя? Постыдился бы! И чего ты только в церковь каждое воскресенье ходишь, имя божье все поминаешь?

— Еще ты будешь здесь разоряться! Я тебе! — завопил он и кинулся на нее с жердью.

Я кричала:

— Тетечка моя, тетечка!

Но она и с места не сдвинулась, стояла как скала, точно за ней и за мной выстроились все те мужчины, которые падают и умирают на фронте, не зная, за что. Точно стояли все изнуренные горем и бременем забот женщины и голодные, истощенные дети. Была нас целая армия, но тогда эту битву мы еще проигрывали.

Дядя Ондруш гнался за мной до самых мостков, перекинутых через ручей. Под ними шумела вода. Прыгая с камня на камень, я неслась вниз. Бежала вдоль ручья, бежала вровень с течением. Босые подошвы холодила роса.

С мокрыми ногами влетела я к маме на кухню.

— Не дает, не дает,— захлебывалась я слезами.

Мама ладонью отерла пот с моего лица, улыбнулась как прежде и спокойно сказала:

— Я так и знала. Но я не дам вам погибнуть, чего бы мне это ни стоило.

...Мама задумала свозить сено сама, понемногу на повозке — ведь лето было на исходе и дни становились короче. Время быстро клонилось к осени. А как зарядят дожди, на поле все сгниет до последней соломинки. И не только мама, многие женщины решили, не дожидаясь ненастья, свезти сено на себе. Ведь у них иного выхода не было. Вот и наша мама в один прекрасный день выкатила на середину двора повозку, а на нее погрузила холстину и длинную бечеву.

Перед отходом она зашла еще в кухню — собрать нам поесть.

А мы тем временем обступили нашего соседа Данё Павкова и давай к нему приставать, чтобы рассказал нам сказку.

Данё был уже человеком в летах и жил в доме, у которого одна стена была общая с нашим. Дед его еще был состоятельным человеком, да умудрился все промотать — разорил и себя и семью.

Дети разбежались в разные стороны искать себе пропитания. Внук его Данё в молодости тоже немало побродил по свету. Как память о тех временах хранил он на полке две стопки книг. Мы видели, как он иной раз вечером роется в них при керосиновой лампе. А вообще-то он шил капцы<sup>1</sup> и башмаки для деревенского люда или обувь для господской прислуги. Этим и кормился, хотя заработок был невелик.

Бывало, шьет, а нам, детям, сказки рассказывает.

И всегда начинал так: сперва сучил дратву, смазывал ее сапожным варом, черным как сажа, вдавал в иглу и, завязывая узелок, никогда не забывал спросить нас:

— Когда швец попусту шьет?

И мы весело отвечали:

— Когда не сделает узелок.

Он кивал одобрительно и, помусолив большой и указательный пальцы, крутил в них конец дратвы, завязывая большой узел.

Только братику не хотелось спокойно сидеть и выслушивать сказки. Данё то и дело приходилось брать его на колени и подкидывать вверх, чтобы хоть этим позабавить его. Юрко не понимал многого, а чего не понимал, то, разумеется, и не занимало его. Мы все придумывали для него развлечения, лишь бы он тихо играл и не мешал нам.

Вот и теперь, пока мама, прикатив с гумна повозку, собирала на кухне еду, мы упрашивали Данё рассказать нам — хоть так, второпях — сказку.

Солнышко в этот час стояло высоко над крышами, и Данё грелся на завалинке. Он сидел на треножнике возле порога, зажав меж колен сапожную лапу с натянутым башмаком.

---

<sup>1</sup> Капцы — теплая обувь с высоким голенищем из грубого сукна.



Кожаные подошвы мокли в квашне, в которой некогда еще его покойная матушка ставила тесто. Мокрую подошву он слегка посередке прибавал на башмак, а потом накрепко дратвой пришивал ее по краям к сукну. Лицо у него горело, и вдоль уха с виска стекала струйка пота, исчезая в складках на шее. Нелегкая, видать, работа, хоть и сидячая.

Я сказала ему:

— Дядечка, отдохнули бы вы.

Он только рукой отмахнулся и замигал ресницами, будто хотел снять усталость с измученных глаз. Густые ершистые брови над ними напоминали серый мох на старых деревьях. Еще вчера он сказал нам, что шьет башмаки Ливорам, а Ливоры не терпели оттяжки. Им бы только работными людьми помыкать — еще бы, ведь они были самые богатые в деревне. Для них все должно было делаться вмиг и наилучшим образом — это все знали. К тому же Ливориха была известная модница. Данё, погруженного в такую работу, никогда нельзя было уговорить рассказывать сказки.

А я все твержу:

— Отдохнули бы, дядя, рассказали бы нам сказочку.

— Ах ты глазастик! — говорит он, смотря на меня поверх очков. — Ты и помереть мне спокойно не дашь из-за этих-то сказочек.

Что-нибудь уж он обязательно расскажет, думаю я и гляжу на него в упор. Это лицо я знаю до мельчайших черточек: каждый рубчик, каждую складочку. Оно точно наше деревенское поле, исполосованное межами. Морщин на нем видимо-невидимо, я даже знаю, как они сдвинутся, если дядя Данё улыбнется.

А он и впрямь улыбается и щелкает меня по лбу косо срезанным ногтем.

— Тебе-то, бесенок, и слов не надо, чтоб меня упросить, одного взгляда достаточно. Ну, так и быть, — сдается он, — расскажу вам, только пусть и этот мужичок-постолок внимательно слушает. — И он кивает на моего братика.

Братик сердито глядит на него и отплачивает той же монетой:

— Сам ты музичок-постоек...

— Что это ты нос воротишь от постол! — с притворной укоризной говорит Данё, а сам хитро подмигивает нам поверх очков. — Что ж, придется тогда рассказать вам сказку, как появились на свет эти постолы.

Мы радостно засмеялись и тут же расположились вокруг дяди на завалинке. Сели, подтянув к подбородку колени, и стали слушать сказку.

— Так вот, детки мои, как дело было. Случилось это не за тридевять земель, а в нашей деревне. В те далекие поры

здесь еще не пахали, не сеяли. А по всей округе, куда ни кинь глазом, высились густые, непроходимые чащи. Среди лесов на Браниске заложили крепость. А чтобы можно было пахать и сеять, владелец замка повелел рубить лес вдоль всей долины. Кто, мол, сколько лесу повыврубит, столько и земли получит. Среди дровосеков был один могучий человек, настоящий великан. Звали его Валилес, и молва говорила, что деревья он вырывал прямо с корнями и разламывал их о колено. Работа шла у них ходко, как бежит вода вниз по течению. Владелец замка только диву давался: там, где еще недавно стоял лес, раскинулось чистое поле. На поле повелел он пахать, сеять и жать. Только все, что дровосеки посеяли и собрали, господин присвоил себе. Подивились тому дровосеки и послали Валилеса в замок правду искать. Да не тут-то было: бросили великана в темницу и посулились выпустить, если только разгадает он три загадки. С двумя-то Валилес справился без труда. А при третьей загадке владелец замка прислал ему цельную воловью шкуру и повелел изготовить из нее обувь без иглы, без нитки и ножа. Все решили, что Валилесу конец. Слыханное ли дело: сшить обувку без иглы, без нити и ножа! Но у Валилеса не для шапки только была голова на плечах. Одолеl он и эту загадку: вместо ножа острым ногтем раскроил кожу на куски, в каждом куске проделал дырки, в дырки вдел ремешки и ремешками стянул их, точно мешок, на ногу. Он и сам понимал, что обувка эта не очень-то ладная, а скорей даже неказистая, как говорится, постольку-поскольку. Вот он и назвал ее — постолки. Но все ж таки была это обувь — в ней можно было ходить.

Господину волей-неволей пришлось признать, что Валилес этими постолками сохранил себе жизнь, и он приказал отворить двери темницы.

Мы слушали открыв рот. У братика даже волосики на лбу вздыбились. Людка обмотала ногу краем передника и попробовала, как это у Валилеса получились постолы. Я глядела на Браниско — иной раз мы там играли на развалинах замка, — и мне казалось, что я наяву вижу, как шагает вниз по горам человек-великан.

— А Валилес еще живет на свете? — спрашиваю я Данё.

— Нет, дети. Но он не умер, как другие умирали. Не надорвался в работе, как другие надрывались. Его вдруг сразу не стало, и никто так и не мог сказать, куда он подевался.

Братик поднялся с завалинки, сжал кулачки, чтоб показать, какой он сильный, и заявил:

— Я Ванес!

— И впрямь, настоящий Валилес, — смеемся мы.

Братик морщит лоб, хмурится.

Дядя Данё прокалывает шилом башмак, натянутый на де-

ревянной лапе. Зажав плотнее лапу меж колен, он свободной рукой ощупывает братишкин живот. Щелкает по нему и улыбается:

— Ну какой же ты Валилес, когда у тебя живот такой маленький! Ты бы и травинки не выдернул, не то что елочки. Тебе бы поесть, как Валилес, тогда и силы прибавятся. Тот запросто подошвой зайца давил, одной рукой мог за ногу поймать серну или оленя. Погоди, изловлю-ка я в ручье форель для тебя, и пусть-ка мама изжарит ее. А то даже целые две. Съешь их — сразу станешь настоящим молодцом.

— Я стану настоящим моёцом! — радостно повторяет малыш и улыбается, точно солнышко, старому сапожнику.

— А потом мы вырвем самые большие деревья, — подзадоривает его Данё.

— Мы вылвем делевья! — с серьезным видом грозитя братик.

Но он так и не стал ждать, пока Данё Павков поймает форель. А потихоньку пробрался в сад у гумна и изо всех сил стал трясти недавно привитую молодую яблоньку. За этим недозволенным делом и застала его мама, когда вышла из кухни с провизией.

Он упрямо вцепился в деревце и кричал:

— Я Ваиес, я Ваиес!

Мама озабоченно покачала головой:

— Ох, дети, заморочит вас этот Данё. Пусть бы лучше о своей работе заботился, да и вам пора стать умнее. Ведь это же сказка, только и всего.

Мне тогда и в голову не пришло, что мама как-то осуждает Данё. Просто ей и без того хватало забот. Ведь до всех этих бед она и сама порой любила долгими зимними вечерами слушать дядины сказки и вместе с нами забавлялась его проказами.

На этот раз мама без обычной своей улыбки подозвала нас и, положив на холстину узелок с едой, велела взяться за повозку. Бетка с Людкой ухватились за одну оглоблю, мы с братиком за другую. Мама впряглась посредине.

В узелке был увязан хлеб. С тех пор как началась война, он день ото дня становился чернее и утрачивал запах, который прежде при выпечке разносился по всему дому, будто незримые одурманивающие пары. Корка теперь вся была в трещинах, как земля в засуху, а мякиш липкий, как раскисшая грязь. Вгрызешься в него, и на зубах остается какое-то противное липкое месиво. Хлеб ни по вкусу, ни по виду не стал похож на хлеб, а все оттого, что мельники крали зерно и вместо муки подсовывали какую-то пакость. И на них напала хворь, которую разносила война — им во что бы то ни стало хотелось разбогатеть.



За сеном отправились мы на луговину к Откоосу, где все лето краснела в траве земляника и качалась на ветках малина. Ягоды манили нас, и мы с радостью спешили туда по узкой тропе, круто взбегавшей под самую гору.

Пока добрались до луговины, мы взмокли, щеки у нас пылали, сердечки гулко стучали и дыхание учащалось с порывами ветра. Мы старательно расстелили холстину и стали накладывать на нее сено. Мы с братиком хоть и по маленькой охапке, а тоже помогали маме. Сено мы увязали в холстину, взвалили на телегу, укрепили и радостные, что нам удалось собрать чуть ли не воз, вприпрыжку припустились к дому.

По дороге немного побегали на лугу, пошарили в орешнике. Повсюду одуряюще пахло сосной, травами и цветами. Воздух был чист и прозрачен до самого поднебесья. Только над Верхними лугами блуждали клоки облаков. Часть их оторвалась и потянулась к Расселине.

Юрко нашел срубленную сосновую ветку и тут же сделал из нее лошадку. Весело подскакивая, носился он на ней по мягкой траве. Каштановый чуб растрепался, с губ срывались радостные крики.

Подстегивая прутиком деревянную лошадку, он кричал:  
— Но-о, Фейко, но-о...

У мамы подергивались губы, и трудно было понять, улыбается ли она или горюет. Наверное, вспомнила нашего Ферко, как он свозил сено с этих лугов, а вот сейчас вокруг него грохочут пушки. Может, рядом с ним падают смертельно раненные, устремляя к нему взгляды, молящие о спасении. Всем нам было жалко нашего Ферко, а мама утешалась только тем, что, может, отец встретится с ним на войне. Он тотчас узнал бы его по огромным глазам, голубевшим от верности, по красивым, вырезанным острым листочком ушам. Узнал бы и буйный хвост Ферко, придававший ему такой важный вид. Нас всегда радовала мысль, что если отец с Ферко встретятся в этой кровавой резне, то они признают друг друга, и счастливый Ферко заржет, задрав морду.

— Но-о, Фейко, но-о...

Братик снова погоняет лошадку и вспугивает мамины мысли. Он скачет рядом с ней верхом на деревянной лошадке и смеется — колокольцем звенит его чистый ребячий голос.

Мама, придя в себя, говорит:

— Ну, дети, пошли. Легонько спустимся под гору, а потом придем еще раз.

Мама довольна нашей работой. Она впрягается в оглобли и тащит нагруженную повозку.

На ровной дороге мы помогаем ей, а на спуске повозка катится сама. Ее еще приходится сдерживать, а то как бы она не обхитрила нас и не ринулась как угорелая с кручи. Все

равно совладать с ней — выше человеческих сил, чем дальше, тем быстрее она несется. Мы поначалу бежим, потом уже мчимся во весь дух. Юрко не поспевает, отстаёт, я тоже. Бетка с Людкой, держась за руки, бегут и все пытаются поравняться с повозкой. Но расстояние между ними и повозкой непрерывно увеличивается.

Мама с повозкой уже на нижнем конце луговины. Она приближается к берегам пересохшего ручья — когда-то давно потоки вырыли здесь глубокое русло. Его берега — высокие отвесные кручи, похожие на страшную пропасть. К самой круче подступает Ливоров лес. На опушке светло-зеленые деревца, под ними хороводы грибов. Там, где редкий ельник примыкает к руслу, проходит дорога. Вот-вот мама свернет на нее. Она с повозкой пробегает последний спуск.

Мы стоим и смотрим ей вслед.

Бетка по-взрослому, а может, в предчувствии чего-то недоброго, говорит:

— И чего она только такой воз потащила! Думает, управится. За мужика готова ворочать, а то и за двоих...

Только она это сказала, вдруг видим, повозка проносится над придорожной межой, и оглобли вместе с мамой взвиваются вверх. Мама так и летит по воздуху, не касаясь земли, повиснув на оглоблях. Видно, нет сил перетянуть их книзу: при ударе о межу тяжелые вязанки сена подались назад. Повозка неудержимо несется к крутояру.

Людка зажмуривается. Бетка кричит не своим голосом. Он отдается по ту сторону ручья и разносится по всей округе.

Мы с братиком в ужасе глядим друг на друга.

Я даже не заметила, как повозка скрылась из виду, мы услышали только стук колес о камни и хруст валежника на косогоре, когда она неслась в пропасть.

Маму выбило из оглобель, и она в беспомощности повисла на кустах.

Мы стали громко плакать, только Бетка держалась и делала знаки людям, сбежавшимся на ее крик со всей деревни.

Маму сняли с куста и положили на телегу с воловьей упряжкой. Так и дошли мы с ней до самого дома. Она была еще без сознания, когда ее внесли в горницу и положили на постель. Лицо у нее было бледное, губы плотно сжаты. Над высоким выпуклым лбом иссиня-черные волосы. Брови, точно углем нарисованные.

Я неотрывно глядела на нее, сидя на руках у тетки Порубячихи. Я обнимала тетку за шею и чувствовала, как у нее на затылке напрягаются от гнева жилы. Должно быть, она думала о войне, которая обрекла многих женщин на такие мучения. И многих детей. Я видела, что глаза ее стали еще темней — так всегда темнеет горизонт перед бурей.

Вокруг мамы хлопотали женщины, стараясь привести ее в чувство: растирали уксусом, делали холодные компрессы.

Тетка Липничаниха ходила по горнице, скрестив на груди руки, и испуганно говорила:

— Ну-ка, послушайте, колотится ли у ней сердце?

Одна из женщин нагнулась, послушала.

Бетка, судорожно держась за спинку кровати, при этих словах закричала каким-то тоскливым, леденящим душу криком:

— Ма-ма-а-а!

Людка протиснулась сквозь толпу и, грызя ногти на пальцах, тихо плакала, точно пела жалобным, тоненьким голоском:

— Мамонька наша, мамонька наша...

Дядя Данё Павков решительно сказал, что надо послать за нашим дедушкой по маме. Уж он-то как нельзя лучше посоветует, что делать, как помочь бедняге. Дед знал толк во врачевании: вправлял переломы, сращивал сломанные кости. К нему за советом стекались люди со всей округи — ведь обычно на настоящего доктора денег не доставало. Бабушка тоже разбиралась в снадобьях: окуривала травами ревматизм, для воспаленных глаз умела готовить отвары. Мы не раз видели, как дедушка укладывал сломанную руку или ногу в дощечки, а бабушка учила женщин варить лечебные травы. Совет Данё все признали толковым. Он тут же сам и собрался в путь.

— Прихвачу-ка я с собой и детей, хоть вот этих маленьких, — добавил он, — а то дрожат, как осиновый лист...

К нему присоединился и Матько Феранец. Он схватил Юрко за руку, дядя Данё взял меня из объятий тетки Порубячихи, и мы невесело поплелись в верхний конец деревни к дедушке с бабушкой.

Они жили на холме, перед домом росла липа — весной она ярко зеленела, а в начале лета покрывалась пышным цветом и опьяняюще пахла. За домом раскинулся большой фруктовый сад с пасекой. С обеих сторон сад омывали ручьи. Берега их густо поросли шалфеем, незабудками и тимьяном. От сада вверх по склону тянулась пахота. Летом там непрестанно колосились хлеба. Ветер то колыхал их мягкой волной, то вздымал остроконечными гребнями.

Мы всегда с радостью приходили сюда: дом дедушки и бабушки на холме был полон какой-то особой прелести и притягивал нас еще и тем, что люди жили тут в любви и согласии. Но сегодня мы всего этого не замечали. Нам было так тяжело оставлять маму в беспомощности.

Дедушка тотчас поспешил на выручку. Когда он вошел в горницу, мама уже была в сознании и лежала, неподвижно вытянув вдоль тела руки.

— Не иначе, они у нее переломаны,— сказали дедушке люди.

— Ну нет,— отозвался он, ощупав мамины руки.— Только связки растянулись, когда она повисла на оглоблях. И все нутро сотряслось, ничего не поделаешь, придется ей полежать.

Маму даже сейчас не оставляли заботы. Она устало открывала глаза, но веки тут же опускались от слабости. Собрав последние силы, она спросила дедушку:

— А кто же тогда за меня работать будет?

— Да уж кто-нибудь да поможет,— успокаивали ее люди.

— А дети-то как?

— И дети не пропадут.

У каждого нашелся добрый совет, утешение.

Народу собралось полон дом.

Пришла к нам и тетка Осадская. Жила она в нижнем конце деревни, рядом с нашим дедушкой по отцу. Их дома разделяла только грязная улочка, по которой стекали ручьи нечистот из дворов. Тетка Осадская тоже осталась одна — ее муж ушел на войну вместе со всеми, и уж она-то понимала мамино горе. Но тетке было легче: у нее был помощник, сын Милан. Он был чуть постарше нас, здоровый, сильный парнишка, и изо всех сил старался не запустить хозяйство. Волосы были у него светло-каштановые, всегда аккуратно причесанные, а надо лбом вился непокорный чуб. Он становился уже совсем юношей.

Мы не успели опомниться, как Милан вместе с матерью ночью, при свете луны, убрал наше сено.

Рожь нам свезли на сильных лошадях Ливоры. У них остались в хозяйстве все упряжки — ведь оно такое большое, что без них не управиться.

Тетка Ливориха часто захаживала проводить маму, пока мама лежала в постели. Утешала, утешала ее и вдруг однажды сказала, что они одолжат ей, а то и вовсе подарят одну из своих трех повозок — ту, что постарей. Нечего, мол, маме печалиться о той, которая вдребезги разлетелась в овраге. Кому же, как не нам, им помогать? Все же родня. Мама все удивлялась их небывалой услужливости, хотя они и впрямь доводились нам родней. Корку хлеба нищему и то скрепя сердце подавали, а тут вдруг такая щедрость. Но шила в мешке не утаишь: Ливориха стала маме нашептывать, чтобы она только их имела в виду, если вздумает продавать землю. Все-таки родне достанется.

Но мама хорошо знала Ливорихину душу и воспротивилась:

— Я даже этой повозки от них не приму, лучше на закорках все буду таскать, пускай себе ее оставляют!

Она и Матько Феранцу повторила то же самое, когда он вечером примчался из города, чтобы хоть чем-нибудь помочь нам, пока мама оправится.

— Тут и думать нечего, хозяйка, за такую-то цену и я бы ее не взял. Ишь, ироды проклятые, пиявицы ненасытные! Готовы из человека все соки высосать. Ничего, сходим мы с дядей Данё в овраг, приволочем хоть на бревне, хоть на еловой жердине разбитую повозку, сколотим ее, собьем, починим — и дело с концом. Оправитесь, а посреди двора уж будет вас дожидаться повозка.

— Так-то бы оно и лучше, — согласилась тетка Гелена. Она привела нас с братиком навестить маму — мы очень тосковали по ней у дедушки с бабушкой.

Матько даже просиял от радости, что и ему представился случай сделать маме добро. Он поспешил к дяде Данё договориться, чтобы чуть свет отправиться к оврагу.

От Матько Феранца всегда исходило какое-то тепло, которое я, будучи ребенком, еще не понимала. Может, потому он умел так горячо откликнуться на чужую беду, что его самого взрастила жалость людей? Отца своего он не знал, мать затерялась где-то в Пеште, отправившись туда на заработки. Сироту пригрела деревня, кормили его по очереди. Кусок хлеба, правда, еще подадут, а вот чистую одежду надеть редко кто предложит. Он и сам прекрасно понимал, кто как к нему относился, и запомнил это надолго. С первого взгляда трудно было угадать Матькины годы. Иной раз он казался мальчишкой: уж очень любил повозиться с детьми. Может, просто хотел в свои двадцать лет наверстать то, чем обездолен был в детстве. А порой выглядел совсем старым, особенно когда его трогало чужое горе. Круглый год он носил истертую баранью шапку — другого убора у него не было. Зимой, даже в самую лютую стужу, часто ходил в холщовых штанах, кинутых ему кем-то из жалости. Но под этой убогой внешностью билось доброе сердце, скрывались многие достоинства. Да вот беда: как не сверкает жемчужина сквозь створки раковины, так и достоинства его не сразу были видны за грубой наружностью. Мы его уже знали и знали, что Матькино слово закон: что обещает — всегда сделает.

На рассвете они с дядей Данё притащили из оврага разбитую повозку, выстругали в сарае новую ось — ведь Матько с деревом ловко умел обращаться. Когда мама поправилась, посреди двора ее уже поджидала повозка.

Матько улыбался:

— Хозяйка, эта повозка еще лучше и крепче прежней. Уж она-то так просто не перекувырнется, не сломается.

Мы все облегченно вздохнули, и мама ждала с нетерпением, когда же она снова сможет приняться за дело.

Все это время около мамы была тетка Гелена. Меня с Юрко обихаживала бабушка, что жила на холме, а на Бетку с Людкой взвалили обязанности, какие под силу только взрослым.

Когда мы снова встретились, я заметила, что на их лицах нет ни следа бывлой детской живости. Говорили они только о серьезных вещах, о работе, заботах. И щеки у них с каждым днем становились бледнее, все больше напоминая краски осени, преобразившие наш край.

Близились осень.

Сперва пожелтела листва и пала на землю. Деревья простирали к небу голые ветки. Поля посерели, а над землей дрожала неприятная мгла. Чаше сеял дождь, а как минуло бабье лето, и вовсе зарядили дожди, причесывая, словно густым гребешком, окрестные леса.

Мама уже встала с постели и хлопотала по дому.

Раз повела меня с собой на гумно. Выдернула из снопа колос и, вылушив зерно на ладонь, показала мне:

— Гляди-ка, какое у нас зерно уродилось. На Брезовце земля у нас и впрямь самолучшая, недаром так зарятся на нее Ондруши и Ливоры.— Она подносит ладонь с горсткой зерна к самым моим глазам, и я с любопытством смотрю на него.

Тут вдруг тетка Верона останавливается на мостках и кричит:

— Что вы там разглядываете?

— Зерно,— хвастается мама.

Как слышала я Веронин голос, мигом кинулась к ней, забыв о зерне. Оглядываю огромную почтальонскую сумку, что висит у тетки на боку. А вдруг она принесла нам письмо от отца с какого-нибудь фронта?

Верона как бы чувствует, что творится во мне. Подмигивает, улыбается.

— Что, письмецо ждешь?

Я киваю, а глазами так и сверлю замок сумки.

— С тем рублем, что ли? — шутит Верона.

— Письмо от отца,— громко отчеканиваю я.

— Письмо...— Старая вдруг перестает улыбаться и взглядом ласкает меня.— Письмо еще не пришло. Но придет, потерпи малость.

Огорченная, я стою и слушаю, как по двору раздаются мамини шаги — она подходит к нам.

— А нам опять ничего? — спрашивает.— Не пойму, отчего он не пишет? Уж многие отписали. Только от него ничего.— Она вздохнула.— Уж не погиб ли?

— Ой-ё-ёй! — веселым голосом говорит Верона, стараясь рассеять мамини страхи.— С чего бы это погибнуть такому парню? Об этом и думать не смей. Писал же Йожи Мацух, что их везут на русский фронт. Может, в Россию они и заехали.

— Хотите утешить меня, понимаю, — догадавшись, мама улыбается ей через силу, — да ведь и утешить не грех. Хоть бы

мне выздороветь совсем. Работы неупорот, куда ни кинь глазом. Дров бы к зиме наготовить. Да как их наготовишь? Я разбилась, а лошади нету.

— Да, нынче это самое главное. Вам бы с детьми собирать помаленьку,— советует мудрая Верона.— Не то назябнетесь, придут холода.

Так и не оправившись до конца, мама взялась за работу. Более всего заботили ее дрова.

Зимы у нас в горах жестокие. Полгода земля лежит под снегом. Морозы такие, что бревна потрескивают в стенах, а голой рукой не притронешься к дверной ручке — кожа разом пристанет. С осени до самой весны застывают ручьи. Колкий ветер щиплет лицо и, не смолкая ни днем, ни ночью, завывает в долинах. Повсюду навевает сугробы в рост человека, а то и выше. Через них и перебраться нельзя. В иные годы мужчины расчищали дороги лопатами. А нынче кому расчищать, когда почти все на войне? В погребках картошка стала мерзнуть. Мама, чтоб ее уберечь, каждый вечер носила в погреб горящие угли, а я светила ей фонарем.

Хотя дрова волновали маму больше всего, первым долгом мы отправились в лес за мхом. На исходе осени мы всегда затыкали им щели в хлеву, чтобы скотина не зябла. Тогда мы выхаживали бычка и надеялись, что, как вырастет, продадим его и опять купим лошадь. Без нее нам не прожить. Мы мечтали об этом, а вместе с нами мечтал и Матько Феранец: он решил даже пореже ходить в город на заработки, чтобы больше помогать нам. Мы натаскали в мешках моху и заткнули им все щели между бревнами. Тут уж не задует зимой студеный ветер, и бычку будет тепло.

Теперь заботили нас только дрова.

Горы наши все поросли ельником. Будто венки уложены они по горизонту. Большие горы и маленькие. Холмы и холмики. Крутогорья и пригорки. Меж ними выются долины и гулко шумят ручьи.

Когда мы собирали мох, мама заметила, что под ельником видимо-невидимо шишек. Она тут же сказала, что шишки натаскать нам было бы легче, чем дрова, да и горят они в печи, словно угли.

Мы взяли мешки. Матько тащил повозку, которую починил для нас. Мама несла в узелке еду на весь день.

Бегаючи взапуски, мы, дети, полной грудью вбирали в себя воздух. Какими только запахами не был он напоен в осеннюю пору! Пройдя выгон, мы вышли к кустарнику.

Бетка тут же помчалась к шиповнику. В тот год он был удивительно крупный. Пока мы дошли до леса, она набрала уже полный передник. На повидло, объяснила она. Людка с

мамой на ходу собирали грибы — осенники. Мы с братом играли в лошадки. Матько срезал нам ивовый прут.

Братишка подхлестывал меня и кричал:

— Но-о, Фейко, но-о!

И я бежала во всю прыть до самого леса. Мы бы еще долго так бесились, если бы наше внимание вдруг не привлек зверек с длинным пушистым хвостом. Прыгая с ветки на ветку, он уронил две шишки прямо нам на голову.

— Белочка! — закричали мы и поинтересовались, не увидим ли серну или оленя.

Матько, пугая нас, заявил, что с болота вот-вот набегит табун диких свиней. Мы уж было поверили, да мама, улынувшись, успокоила нас. Так в разговорах подошли мы к лесу в Брежном поле. Это был Ливоров лес, но шишки собирать разрешалось везде. Лесной участок бабушки с дедушкой был еще выше над Откосом, и мама с опаской поглядывала на тропу по этойкой круче. Чем ниже, тем лучше — на этом все согласились. Мама спокойно расстелила холстину на прогалинке меж деревьев. Мы подбежали. Каждому она дала по ломтю хлеба — подкрепиться перед работой. Когда она резала хлеб, лицо у нее светилось радостью — ведь мы сделаем доброе дело: наготовим шишек и зимой не замерзнем.

Она вдруг ожила. Взяла на руки Юрко и села с ним на расстеленную холстину. Он тут же этим воспользовался — ей пришлось его покачать, повозиться с ним. И мне захотелось, я тоже уселась к ней на колени. Она погладила меня. Ладонь у нее была шершавая, жесткая. Сзади, обхватив маму за шею, повисла Людка. Согнутыми руками она сдавила ей горло и горячо, по-детски, призналась, как мы все ее любим. Братик просил маму спеть о солдатах, а я все упрашивала рассказать про Яничка, как он напился из оленьей лужицы и как Аничку<sup>1</sup>, когда она пошла по землянику, напугали волчата. Мы так и не дали ей передохнуть — я вертелась у нее на коленях, братик сидел на ее больных руках, Людка висла на плечи. А мама гладила нас, улыбалась, пела, рассказывала сказки. Она, наверное, и сердце свое разрежала бы на части ради нас!

Старшая сестра с Матько собирала шишки вдоль ручья — туда со склона их накатило больше всего. Они брали их пригоршнями и набивали мешки. Матько посвистывал, а сестра с серьезным видом, будто командир, крикнула нам:

— А ну-ка, идите собирать! Петь зимой будете.

— И правда, пошли, — согласилась мама.

Она даже не кончила сказки. Спустила Юрко с рук, меня сняла с колен. Людка, стоя сзади, возилась у нее в волосах. И вдруг ахнула:

---

<sup>1</sup> Персонажи словацкой народной сказки.



— Мама, седой волос!

Среди смоляных маминых волос появился первый седой волос. Заботы и тяжелая жизнь посеребрили его, а ведь мама была еще молодой.

С какой-то странной детской жестокостью Людка спросила:

— Можно вырвать его?

— Как хочешь, — ответила мама.

Сестра дернула серебряный волос и, зажав в пальцах, побежала к ручью.

Она показала его нам.

— Мамин седой волос.

Матько взглянул на него, потом еще ниже нагнулся к земле.

Бетка журила нас:

— Лучше бы шишки собирали. У нас с Матько уже два полных мешка.

Мы принялись за работу, стараясь перегнать друг друга в усердии. Дядя Данё, верно, увидев нас, обронил бы свое обычное: «Детишки-муравьишки». Но Данё остался стеречь дом и шить людям на зиму капцы.

В лес мы ходили каждый день.

Мама с Матько отвозили на повозке шишки домой, а мы оставались в лесу и без передышки собирали их. Топливо на зиму нас больше не беспокоило. Шишки мы ссыпали в пустую овчарню. Если мы оставались днем дома или дядя Данё сапожничал на завалинке, мы широко открывали дверь овчарни, чтобы шишки как следует просохли. На ночь мама старательно запирала овчарню, боялась, как бы не нашелся дурной человек и не растащил их у нас.

Однажды, когда мы в лесу остались одни, пришла тетка Ливориха с палкой. Она решила напомнить нам, что этот лес и луг принадлежит им. Она сердилась на маму особенно с тех пор, как мама дала им понять, что ни при какой нужде не продаст землю — пусть, мол, зря на нее зубы не точат. Спесивые Ливоры решили нас еще больше помучить, хоть и приходились дальней родней нашей маме. От жадности они совсем озверели.

Тетка Ливориха стала меж нами, принялась громко кричать и разгонять нас палкой.

Только мы не испугались ее. А Бетка даже вздумала ее пристыдить и напомнила ей, что у них и так в лесу и во дворе полным-полно дров и шишки им не понадобятся.

— Еще бы! На что они нам! — сипела тетка. — Я небось не нищенка, чтобы шишками топить. У меня и дров хватит. А вот моим добром, хотя бы и шишками, никто топить не будет.

Мы пытались унять ее.

— Зимой они все равно здесь сгниют.

— Ну и пусть! Пусть гниют! — кричала она. — А вы проваливайте из моего леса, приبلудное племя.

Она подскочила к мешкам, а когда мы было прикрыли их своими телами, растолкала нас, вырвала мешки из рук и высыпала шишки в ручей.

Людка плакала, глядя, как быстро уносит их течение.

— Ишь, слюни распустила! — Совсем обезумев, тетка замаялась на нее палкой.

Юрко, вытаращив глаза, с минуту глядел на нее. Потом, должно быть, на что-то решился: бросился вдруг к ручью и схватил обеими руками камень. Но поднять его так и не смог — согнувшись, прижав камень к коленкам, он двигался навстречу разъярившейся женщине. Глаза у него горели — уж больно ему хотелось стукнуть ее этим камнем. Я только тогда догадалась, почему иной раз мама так сокрушалась, что наш мальчик еще маленький. Нам нужен был защитник вместо отца. Храбрость братика меня позабавила, а Ливориху совсем вывела из себя. Она подбежала к нему и ударила палкой по рукам. Камень выкатился у него из рук, и он закричал:

— Ой, лучка моя, лучка!

На руках у него выступили налитые кровью полосы.

Мы все кинулись к нему.

А Ливориха меж тем подобрала порожние мешки, сунула их под мышку и направилась к дому.

Мама в это время как раз возвращалась в лес. Повстречались они на полдороге. Мама тотчас признала наши мешки. Посередке в три ряда они были вытканы красными нитками.

— Ты что, у детей шишки высыпала? — спросила ее мама.

— Ну и высыпала! — грубо отрезала тетка да еще ногой топнула. — Приду домой, велю конюху лошадь запрячь да и взглянуть к вам во двор — пусть выгребает все, что вы уже натаскали в овчарню.

Матько зло усмехнулся, нахмурился, лицо у него залилось ненавистью, а глаза разгорелись как угольки, когда на них вдруг пахнёт ветер.

— Да не берите грех на душу, пани хозяйка. — Он, должно быть, в первый раз отважился вымолвить то, что накопило в душе.

— И людей позоришь, — укоризненно добавила мама. — И людей, и себя. Дети почти что сироты, отец, кто знает, жив ли еще. Нет чтоб сказать, берите, мол, все равно ведь шишки сгниют, лишь бы на пользу вам было, — ты их еще вздумала палкой охаживать. Я и в школу их не пустила, чтоб скорее с этим делом управиться, а ты, бессердечная, все шишки у них повысыпала. Хоть капля-то жалости есть в тебе, Ливориха? Вы скоро хуже волков станете.

Она вырвала у Ливорихи мешки, бросила их на повозку и велела Матько трогаться в путь.

Даже внизу под горой мы все еще слышали, как тетка Ливориха, бранясь во все горло, тащилась к деревне.

Мы перестали собирать шишки в их лесу и перебрались через Ущелье в лес дедушки с бабушкой. С опаской возили мы мешки, набитые шишками, по тем самым кручам, где мама чуть было не погибла.

Вслед за осенними дождями пошел снег. Мама говорила, что это на белом коне прискакал Мартин<sup>1</sup>. Все лужи на нашем дворе покрылись ледяной коркой, и постепенно ручьи обмерзли у берегов. Ветки оделись изморозью, хмурое небо низко повисло над грядями гор.

Бетка и Людка теперь каждый день ходили в школу. Дядя Данё сшил им из старых отцовских капцев маленькие, по ноге. Мы с братом донашивали то, что осталось от сестер с прошлого года. Но были и такие дети в нашей деревне, что бегали всю зиму в школу босые. Подошвы ног стыли у них до синевы. Они никогда не ходили шагом, а всегда бегали, чтобы ноги не примерзали к дороге.

Нас, маленьких, мама тоже отправляла в школу, когда у нее было много работы или приходилось надолго уходить из дому. Братик частенько засыпал, сидя за партой. Бывало, склонит голову мне на руку, рука одеревенеет, а я и шелохнуться боюсь, как бы не разбудить его.

Только однажды я все же не выдержала.

Учительница достала из шкафа латунный шар, который был полон для меня всяких чудес. Шар висел на цепочке с ручкой, а на другом конце ручки был прикреплен круг. Учительница объясняла детям, что шар легко может пройти через этот круг. И мы видели, как он действительно прошел через круг. Потом она отворила дверцу печи и подержала шар над огнем. От тепла он так расширился, что уже не пролезал в круг. Мне это показалось очень занятным, я даже подтолкнула брата, чтобы и он поглядел.

Дома захотелось нам повторить этот опыт. Мы обыскались, но ничего подходящего так и не нашли. В сарае валялись только обручи от бочек, а под самым потолком висел безмен с гирей, как большое яблоко. Мы долго глядели на гирю, да ведь как к ней дотянешься? И это уж особенно было обидно, когда мы наконец подыскали нужный кружок на плите в кухне. С мамой поделиться мы не отважились, и опыт дома повторить не удалось.

С еще большей охотой стала я ходить вместе со старшими

---

<sup>1</sup> Так говорят о первом снеге, выпавшем в ноябре. 11 ноября по календарю день Мартина.

сестрами в школу. Они уныло сидели за партами, измученные работой. Им не хватало ночи, чтоб отдохнуть. А мы с братом так и шныряли глазами по классу. Нас все занимало.

Учительница была молодая, красивая. О такой только в сказках говорится. Ходили слухи, что к ней сватались даже многие из ученых людей. Для нее были открыты двери всех замков в округе, и дружила она с господами. Но наших деревенских она выручала хотя бы тем, что на день-другой освобождала детей от занятий, когда нужно было помочь одиноким матерям по хозяйству. И наша мама тоже была ей благодарна: в страду она часто отпускала Бетку и Людку домой. Я радовалась, что через год она и меня будет учить. Бывало, как увижу ее на улице, уже издали здороваюсь с ней. А она иной раз подойдет, потеревит меня за подбородок и, улыбнувшись, скажет ласковое слово.

Мне так хорошо было возле нее, что я готова была отдать половину моего детского царства, лишь бы каждый день сидеть за партой. Я столько думала о школе и о нашей учительнице, что однажды, увидев огромные голубые колокольчики, тут же сорвала их все до единого и побежала к ней. Я просто задыхалась от радости, представляя себе, как она будет мне за них благодарна, как у нее загорятся глаза, как она приласкает меня и усадит за парту. Но я, верно, сделала что-то плохое — она резко взяла у меня из рук колокольчики, положила на стол и на уроках так и не притронулась к ним. А когда мы пошли домой, спросила, где я нарвала эти цветы. Оказалось, в ее саду. Мучило меня это долго, мне все как-то хотелось загладить вину. Помню, целыми днями ломала я голову, как это сделать. Но ничего путного так и не придумала.

И всякий раз, когда потом маме приходилось посылать нас с братом в школу, я садилась за парту, испытывая угрызения совести.

Как-то раз учительница спрашивала по истории. На столе перед ней лежал учебник, и она следила по нему, точно ли отвечают ученики или что пропускают. Преподавание в словацких школах тогда велось на венгерском языке. Из наших деревенских ребят ни один не знал этот чужой язык. Все, что было написано в школьных учебниках, они не понимали и выучивали наизусть целыми страницами, не зная, о чем там говорится.

Мой братик сидел со мной на последней парте и слушал. Вдруг он засмеялся и сказал вслух:

— Стлекочут, как соловики...

То же самое и мне пришло на ум: стрекочут, как сороки. Но я и пикнуть не посмела — учительница как острой саблей полоснула нас взглядом. Взмахнула линейкой и грубо крикнула:

— Тихо!



Мы и звука не отважились проронить — таким злобным стало ее лицо. Мне казалось, что это дурной сон. Я чуть было даже не вскрикнула «мама!» — так меня напугала эта перемена.

После истории был урок географии.

Учительница достала из шкафа карту и, развернув ее, повесила на доске. Указкой проводила по границам Австро-Венгерской империи и показывала резиденции императора — Вену и Будапешт.

Я просто сгорала от любопытства. Мне хотелось узнать, отчего это столько красок на карте, столько линий, точек и каких-то кривых. Но спросить я не решалась — все еще чувствовала себя виноватой из-за тех колокольчиков. И вдруг меня неудержимо потянуло узнать, где же на этой карте живем мы. Я подняла руку.

Учительница спросила, что мне надобно, — ведь я еще не была школьницей.

Я вслух повторила мысль, которая родилась во мне за минуту до этого:

— А где на этой карте живем мы?

— Кто это мы? — спросила она.

— Мы, словаки, — ответила я; мама часто говорила, что мы словаки и живем под мадьярским ярмом.

Я ждала, что учительница улыбнется, поднимет указку и покажет на карте, где мы живем. Но вдруг лицо ее стало жестким, и она в точности повторила слова школьной программы:

— Никаких словаков нет, здесь все — венгры.

У меня глаза раскрылись от неожиданности. Я сидела на последней парте и видела лишь спины остальных детей. Почти все сконфуженно потупились, только Милан Осадский поглядел на меня и смело тряхнул ярко-золотистым чубом, точно хотел уверить меня, что это неправда.

— И вообще, — заключила учительница, — вам двоим здесь нечего делать, отправляйтесь-ка домой, вы только мешаете.

Я взяла брата за руку, и мы вышли из школы. Шли мы тихо, молча. Мамы дома не было, некому было пожаловаться. Я все думала-гадала, в чем же мы провинились, но никакого стыда, как тогда с голубыми колокольчиками из чужого сада, я не испытывала. Никакой вины за собой я не чувствовала, и все-таки на душе было невесело.

Дом оказался закрытым, нам некуда было деваться.

Мы долго ждали на пристенье, но мама не возвращалась. Братишка жался ко мне, потому как с нижнего ручья дул резкий ветер. Щеки у нас горели, как маков цвет, коченели руки. Примостились мы на пороге сеней, но ветер нас и там настигал. Мы хотели спрятаться у Данё Павкова, но его двери были закрыты. На притолке висел тяжелый замок. К Порубьякам идти через мостки мы не отважились. С осени, как зарядили дожди, морозы и снег, на них легко было поскользнуться. Тетушка Верона, наверное, разносит по деревне почту. Дядя Ондруш не любит детей — ему лучше на глаза не показываться. Из близкой родни оставались разве что Липничаны.

Как два птенца, выпавших из гнезда, поплелись мы к тетке Липничанихе. Конечно, выбор был не самый удачный. С тех пор как забрали на войну дядю Липничана, тетушка непрестанно плакала, носила черный платок и то и дело прижимала к глазам концы передника. Убивалась, точно по мертвому. Люди осуждали ее, что она так опустила, что не находила в себе хоть чуточку сил как-то крепиться. У нее был один ребенок, Яник. Но и его она держала под замком, не пускала даже поиграть с детьми. У нее стал не дом, а какой-то скорбный заколдованный замок. Всем было тягостно переступать ее порог. И мы с братиком долго раздумывали, идти или нет, но колючий ветер погнал нас с пристенья, и мы наконец решились отправиться в путь.

Ворота были не только затворены, но и заперты на замок. Мы постучались, никто не откликнулся. Но было слышно, как кто-то ходит в сенях. Мы постучались сильнее. Тетушка вышла на веранду, а когда сквозь шелку увидела нас, воротилась в дом.

Ветер стегал нас все резче, вылетая со свистом из-за углов строений. С гор доносился вой метели. Мы взглянули друг на дружку — в глазах у нас стоял страх. Я снова подскочила к воротам и начала трясти их.

В окне показался Яник. Когда увидел нас, живая радость осветила его лицо, но он тут же вдруг погрузился и отскочил от окна. Раздался плач. Должно быть, тетка ругала его, что он высовывается и выдает их.

— Пойдем к дедушке с бабушкой,— сказала я,— а то замерзнем.

Мы схватились за руки и побежали навстречу ветру.

Но, сделав несколько шагов, мы вдруг услышали, что мама зовет нас.

Мы даже подскочили, словно косули, от радости и вприпрыжку понеслись к дому.

В эту минуту из-за корчмы вынырнула стайка детей. Они возвращались с уроков.

Мои старшие сестры бежали, взбивая капцами порошу. На боку болтались у них полотняные сумки с книжками. Край юбок озорно задирали ветер. У средней сестры съехал платок, открыв русые волосы, разделенные на прямой пробор и заплетенные в косы. У старшей под платком были черные, блестящие косы, обернутые вокруг головы.

Мама стояла на мостках и держала посылку. Оказалось, она ходила на почту, и потому мы не застали ее дома. Она улыбалась, чему-то радуясь. Даже ключ от дому был у нее наготове в руке: ей не терпелось поскорей открыть дверь и развернуть посылку.

— Пойдемте, дети, уж больно мне хочется взглянуть...

Тут из-за корчмы вышла учительница в коротком полужубке и, кивнув маме, велела ее подождать. Наверное, ее мучает совесть, что выгнала нас с братиком в такую непогоду, подумала я. Должно быть, потому она и стала маме об этом рассказывать. Мы, мол, непоседливые, мешаем на уроках, а главное, я сую во все нос. Недавно я повторяла вслух за детьми таблицу умножения, а сегодня на географии то и дело прерывала ее. Как она может работать в таких условиях, если люди считают школу каким-то приютом для детей, которым пока еще не место за партой? Никому нет дела до того, как ей трудно приходится.

Мне сделалось стыдно за учительницу: ведь она же говорила неправду. Что же, выходит, обманывают и взрослые,

не только дети? И дядя Данё, и тетка Гелена, и дедушка с бабушкой? Обманывает и тетка Верона с Груника? Я не могла сразу же ответить себе, но чувствовала, как в мое сердце вкрадывается недоверие к взрослым. И мне стало грустно.

Выговорившись, учительница пошла своей дорогой, а мама подтолкнула нас с мостков во двор. Что ж, придется не посылать нас больше в школу, ничего не поделаешь. Мама признала, что мы с Юрко в тягость учительнице. Но хоть и прибавилось новых забот, у нас пока не было времени долго над ними раздумывать.

— А что тут такое? — спрашиваем мы.

— Думаю, что портрет, — говорит старшая сестра. — Что же еще нам может прийти? И откуда?

— И правда, портрет, — кивает мама и улыбается. — Порой я и горевала, что на него много денег уйдет, казнилась, что поддалась уговорам торгового агента увеличить отцовскую карточку. А теперь я довольна: повесим его в горнице, и нам будет казаться, что отец с нами. Как живой будет он с нами, — добавила она.

— А как хотелось агенту всучить вам ту картину с императорами, — решила напомнить маме Бетка. — Вы едва отделались от нее.

— Ну, такой хлам меня купить не заставишь. К чему мне эти императоры и короли? — возразила мама, будто с кем-то спорила. — Что они мне хорошего сделали? Забрали мужа на войну. Это добро, что ли? К чему они мне?

Братик вскарабкался на кушетку, чтобы лучше видеть, как на столе будут распаковывать папин портрет.

Мама отвернула скатерть и положила посылку на стол. Разматывая шпагат, она сказала, что на почте пришлось заплатить за нее больше, чем определил в заказе торговый агент. Но она ничуть не жалела. Для нас для всех сейчас это была самая драгоценная вещь — увеличенный портрет отца. Увеличена была фотография, которую они привезли когда-то из-за океана.

Мы обступили маму и ни на шаг от нее, пока она освобождала от обертки портрет.

А она все приговаривала:

— Какие молодцы, как же они заботливо его обернули. Надо же, сколько бумаги!

Когда дело дошло до последней обертки, мама приостановилась, подняла голову и окинула взглядом горницу.

— А где же лучше всего повесить портрет, дети? — спрашивает.

Каждый показывает другое место, каждому хочется, чтобы портрет отца, который сейчас на войне, висел у него над постелью.



Наконец, мама, улыбнувшись, сразу разрешает наши сомнения:

— Повесим его между окон, над кушеткой, вместо зеркала.

Она взяла и приоткрыла кусок рамы. Дерево было вишневое, глянцевитое, края позолоченные. Мама обрадовалась:

— И в раму-то какую вставили. Нет, я ничуть не жалею, что приплатила.

Она приподняла портрет. Мы стянули с него последний лист бумаги. И все замерли от неожиданности.

Первая удивленно вскрикнула Людка. Потом коротко охнула мама и так с открытым ртом и застыла, точно оцепенела.

Братик, хлопнув в ладоши, воскликнул:

— Императоры!

За ним и я тихо повторила:

— Императоры.

Бетка отозвалась сухим укоризненным голосом:

— Я так и знала, что этот агент вас обманет...

— Да, теперь и я вижу,— горько сказала мама и положила картину на бумагу.— Вместо мужа прислали мне императоров. Вот почему так позаботились о раме, так обернули ее. Последние гроши у меня вытянули. Уж лучше бы кому из вас купила одежду.

— Здорово они вас провели! — Бетка еще подливала масла в огонь.— Мошенники клятые!

Уже во второй раз в этот день я была свидетельницей обмана. До тех пор мне казалось, что все взрослые очень хорошие и поэтому надо их уважать, слушаться, учиться у них. Каждая сказка, которую нам рассказывали, убеждала нас в этом. И вдруг такой обман! Выходит, в сказках живут ненастоящие люди. Их придумали, чтоб только позабавить детей.

Я соскакиваю с кушетки и спрашиваю у мамы:

— А какие люди живут в сказках?

— Люди? — недоумевает мама, ведь она не знает, какие мысли мучают меня.— Люди? — повторяет она, потирая лоб.

В конце концов она отмахивается от меня, не до того ей, у нее и своих забот полон рот. Ума не приложит, как быть с этой картиной. И раму жалко, и стекло. Но больше всего жалко денег.

— Даже жалко время на нее тратить.— Мама пересилила себя и поставила картину лицом к стене за зеленый сундук.

На этом, казалось, история с картиной и кончилась. Но когда через несколько дней мы остались с братиком дома одни, он сразу же достал императоров в вишневой раме и, кинув на пол, стал топтать ногами. Я и опомниться не успела, как он разбил стекло вдребезги, и от картины остались одни клочья.

Видно было, что он очень гордится своим поступком. В его детскую головку глубоко запала мысль: во всем виноваты императоры. Если не будет их — не будет войны и не будет наших мучений.

С тех пор как случилась эта неприятная история в школе, мама оставляла нас дома. Счастье еще, что в ту зиму было чем топить — ведь мы запаслись шишками. Шишки жарко горели в печи. Огонь весело полыхал, и мы с братиком часто смотрели сквозь створки, как язычки пламени прыгают, прячутся и снова высовывают головки. Обычно и нам становилось весело, и мы начинали прыгать по горнице или играть в прятки.

Иногда мы изображали, как опускаются снежные хлопья на землю. Поначалу мы долго-долго смотрели в окно, как вокруг домов вихрится метель, а потом, раскинув руки, с радостным гиканьем носились по горнице. Мы играли в разные игры, какие только приходили нам в голову.

Особенно бывало нам весело, когда нас навещала тетка Гелена или бабушка с холма. Они придумывали для нас столько сказок и игр, что им счету не было.

Однажды мама отправилась по делам в Ружомберок<sup>1</sup>. Ей посчастливилось: подвез ее на санях торговец Смоляр из комитатского города. Он поставлял скот для войска, вот и решил проверить, как грузят его в вагоны.

В этот день с нами оставалась тетка Гелена.

Она как раз рассказывала сказку, когда вдруг заглянул к нам корчмарь Кланица. А потом, когда сказку она уже досказала, он забежал еще раз.

Тетушка Гелена тут же смекнула, что в этом кроется что-то неладное. А догадалась она по его вынюхивающему носу да зорким глазкам, темневшим, точно две дикие сливки, в узком прищуре век. Голова у него то и дело пряталась в плечи — он вертел ею на короткой шее и поводил в воздухе носом. Ходила молва, что он самый большой пройдоха и плут в деревне — на козе его не объедешь. Потому-то он изловчился да отгрохал себе каменную хоромину у самого поворота. Говорили, что и обобрать человека как липку ему ничего не стоило. Теперь, должно быть, нашу маму решил обвести — вот оттого и поджидал ее с таким нетерпением.

И наконец дождался. Торговец Смоляр, одного поля ягода с Кланицей, привез маму на санях обратно в деревню и остановился на повороте возле длинного корчмарева амбара.

Смоляр с Кланицей вместе промышляли торговлей. Кланица помогал ему скупать животинку и таким манером богател

---

<sup>1</sup> Ружомберок — город в Словакии.

не только на палинке<sup>1</sup>, но и на торговле скотом. Оба были помешаны на богатстве. Между собой они ни о чем другом и говорить не могли. Когда Кланица поставил себе новое кирпичное здание, Смоляр тоже выстроил для себя самый распрекрасный по тем временам дом в комитатском городе. Так они и соревновались во спасение души, сдирая с людей по три шкуры.

Когда тетка Гелена увидела, что прямо из саней Кланица ведет маму в корчму, она проговорила:

— Что он еще затеял, этот лиходец?

— Я не беспокоюсь за маму, — дернула плечом Бетка, — мама головы не теряет, ее легко не проведешь.

— А как же с картиной? — заикнулась я.

— Картина дело другое. Посылают в упаковке по почте, а деньги изволь заранее уплатить. Это дело другое. А когда все на виду, ее не обманешь. Теперь небось она будет еще осторожней.

И все же, едва это выговорив, Бетка опрометью бросилась к корчме. Я шмыгнула за ней. Я всегда бегала за сестрой, как хвостик. В корчме мы примостились на лавке за дверью, и нас никто не заметил.

Корчмарка разливала по стопкам водку. Толщины она была необъятной, шею ее прикрывал жирный второй подбородок. Смоляр шумел, указывая на нашу маму:

— И этой молодке налейте крепенького.

Мама чуть двинула рукой.

— Увольте меня. Не пью ни крепкого, ни слабого. По мне, так лучше простая вода.

— Ну хотя бы чокнемся, — подыгрывал торговец корчмарю, — уж коль мы так вот сошлись.

Переглянувшись, они мигом столковались. Хотя мы с сестрой были маленькие, а все равно сразу же почувствовали, что эти двое задумали потешить лукавого. Я так и застыла в страхе за маму, но Бетка оставалась спокойной.

Наконец корчмарь повел разговор:

— Поверишь ли, душа болит, когда вижу, как ты надсаживаешься в работе. Уж хоть бы лошадь вам оставили. Ежели вовремя другую не купишь — ставь крест на хозяйстве. Еще год — и все пойдет с молотка. Добрая лошадь спасла бы вас от беды, уберегла бы от разорения. Приглядел я тут одну для вас. По виду — готовый скакун. А смирная до чего — дети могут у нее под брюхом ходить. Никакого изъяна ни в стати, ни в нраве — точно созданная для вашего дома. И хозяину придется по вкусу, когда с войны воротится.

Мама взглядом скользнула поверх лавки, точно хотела

---

<sup>1</sup> П а л и н к а — сливовая водка.

унестись далеко-далеко. Но взгляд ее уперся в стену, и она тут же опомнилась.

— Да уж воротится ли? — вздохнула она.

Видно, подумала, что долго нет писем.

— Воротится, нет ли, не нам решать, — передернул плечами Смоляр. — Но лошадь хороша, лучше не бывает, да как бы не упустить ее. Кланица тебе негодную не предложит.

— Да я и сама негодную не взяла бы. Уж оглядела бы со всех сторон, что покупаю. Только вот купить не на что.

— Ну, это самая малость! — Черные глазки у корчмаря лстиво поблескивали в шелках век. — Подсобим и деньгами, как оно положено по-соседски да по-христиански.

Мама пытливо поглядывала то на Смоляра, то на Кланицу. Бетка подтолкнула меня локтем и облегченно перевела дух. Ей пришлось по душе, что мама раздумывает, а не летит, как мотылек на огонь.

— А как же, по-вашему, рассчитывать будем?

— Ничего особенного и не надо! — Корчмарь завертелся вокруг мамы, замахал короткими ручками, считая, должно быть, что дело уже на мази и мама вот-вот согласится. — Подписала бы ты только одну такую маленькую бумажку.

— Вексель? — Мама очень твердо выговорила это слово, и мы сразу почуяли в нем большую опасность. — Вексель и еще закладную на землю, так, что ли? — повторила она и встала, отодвинув от себя лавку. — А я вот что скажу: вам лишь бы обвести меня не хуже Ливоров или Ондрушей, только по-своему — маленькая, мол, бумажка. Да я-то знаю, что это за бумажка. Не одного вы по миру пустили. Уж лучше я сама впрягусь вместо лошади, а землю не отдам. Как бы я моих детей-бедняг без нее поила-кормила?

Бетка сжала своей маленькой рукой мою, еще меньшую, и поглядела на меня долгим взглядом. Она как бы говорила мне, что не обманулась в своей уверенности.

— Нет уж, — выходя из-за стола, сказала мама, — зря стараетесь, из этого ничего не получится. Ничего не получится из этой вашей «соседской» да «христианской» любви. Только вот я все диву даюсь, отчего это бог не сотворил сразу целое полчище волков, а еще над человеком трудился.

Смоляр, развалясь на стуле, поглаживал пальцем усы. Из-за распахнутой шубы поблескивала золотая цепочка от часов. Он вытащил из кармана пахучие сигары и молча, согнутым пальцем, подкатил одну к Кланице. Выслушав маму, сощурил глаз. Корчмарь полез в карман и услужливо вынул нож с костяным разноцветным черенком. Обрезал кончики на двух сигарах и прижег — для себя и Смоляра.

Над их головами закубился голубоватый дым, и тонкий табачный запах разлился по помещению.



Корчмарка звякала в мойке рюмками. Эти резкие звуки привлекли внимание мамы. Не сводя с нее взгляда, мама прошла мимо нас, даже не обернувшись. Нас она не заметила.

Корчмарь криво усмехнулся и дернул плечом ей вслед.

— Осторожничай, легко ее не возьмешь. Ум да разум надоумят сразу.

— Попробуешь еще где-нибудь, — успокаивал его Смоляр. — Конца войны не видать. Многих нужда по миру пустит. Хочешь не хочешь, а продавать землю придется. Что останется делать? Еще рады будут, ежели купит кто. А купить-то сможет только тот, у кого кошель тугой.

Оба загоготали, чокнулись. Смоляр ударил себя в грудь, как раз туда, где туго набитый кошелек оттопыривал шубу.

Сестра потянула меня за накидку, и мы потихоньку вышли из корчмы.

— Видишь, какие они?

Я не сразу нашлась что ответить, я даже как следует не поняла, что Бетка имела ввиду. Все во мне смешалось, чего только я не навиделась и не наслышалась! И особенно ярко виделось мне, как корчмарь с толстым торговцем скалились и как торговец хлопал себя жирной ладонью по набитому кошельку.

Жизнь наша изменилась, но, как всегда, неделя сменялась неделей, и год клонился к концу.

Однажды, в сумерках, доплелся к нам дедушка с нижнего конца деревни. Принес в туюске немного яблок и яиц. И выкладывая их на стол, сказал:

— Рождество уже на носу. Вот вам начинка для пирога. Испеките его, полакомитесь хоть вы в праздник.

— А вы, дедушка? — спрашиваем его.

— Да я что? Мне ничего уж не надо, кроме смерти.

— Зачем вы так говорите? — отзывается мама и улыбается, чтобы хоть немного утешить старого.

До начала войны наш дедушка славился веселым, живым нравом. В селе о нем говорили, что он, наверное, всю жизнь до последнего дня проживет в веселье. Он любил ходить на гулянки и рассказывать потешные истории. Помнил все, что приключилось в нашем крае за последние пятьдесят лет. Однако ж и он посерьезнел, когда сыновей забрали на войну. Дядя Штефан был призван вместе с нашим отцом. Дядя Ондрей служил в гусарском полку. Но еще до мобилизации пришла повестка, что он умер в военном госпитале от воспаления легких. Дедушка остался один как перст. Бабушка умерла давным-давно. Свыкнуться с одиночеством он так и не смог.

Росту он был высокого, но в последнее время все погова-

ривал, что растет в землю. И лицо его густо избороздили морщины — стало оно, словно бугристая кора дерева. Волосы были совершенно седые, и в бровях тоже нет-нет да и проглянет серебристый волосок. Ходил он в тяжелых сапогах, и за ним по пятам всегда плелся большой черный пес. Такого в деревне ни у кого больше не было. В последнее время он тоже едва тащился, свесив голову, точно и его пригнала к земле невыносимая тяжесть. Наш братик, бывало, носился на нем верхом по двору, а теперь все сердился, что пес день ото дня бежит медленней. Дедушка говорил, что угасают и его годы и что их обоих подкараулила старость.

В ожидании рождества изменился и дедушка. Мы даже заметили, что он и яйца и яблоки выкладывает на стол веселей, хотя и постанывает, по своему обыкновению.

А как ушел дедушка с пустым туеском, мы тут же стали упрашивать маму рассказать нам про ясли, в которых лежал младенец<sup>1</sup>, и про ангелов, что его охраняли. Нам не терпелось дожидаться сочельника.

И вот он наступил.

Весь день с самого утра шел снег. Легким пухом опускались на землю белые хлопья. Деревья словно собрались к кому-то на свадьбу. Горы вокруг напоминали уложенные друг на друга сахарные головы. Рейки на заборах надели белоснежные, будто сшитые из полотна, шапочки. Только подрисовать бы рейкам веселые глазки, красные носики и смеющиеся рты, и они тут же обратились бы в маленьких гномиков. По занесенной снегом дороге иной раз катили сани, а в них укутанные по самый нос люди. Проносились взад-вперед по дороге и господские упряжки. Паны восседали запахнутые с головы до пят в мягкие теплые шубы. Катались, тешили себя. На упряжках вызванивали сверкающие бубенчики. Для нас это были неслышанно волшебные звуки. От них становилось еще более празднично. И мама в этот день старалась смотреть веселей, хотя это было первое рождество без отца.

Кто-то принес желанную весть, будто в честь рождества христова кончится война и повсюду воцарится мир. Мама в полдень под села к окну и стала втихомолку дожидаться чего-то. И Бетка поначалу уселась рядом, нетерпеливо поглядывая в окно. Потом ей это наскучило, и она отошла.

Немного погодя, она воротилась и стала журить маму:

— Чего только зря тут высиживать.

Мама сперва смутилась. Ей стало как бы совестно перед детьми, и она решила было подняться. Оперлась на изможденные руки, но тут же опять всем телом опустилась на стул.

---

<sup>1</sup> Имеются в виду ясли, в которых, согласно евангельской легенде, родился Иисус Христос.

Может, это была ее единственная передышка, и она в глубине души связывала ее с этим своим тревожным, надрывающим душу ожиданием.

— А вы, дети, разве не ждете?

— Кого?

— Ну, ясное дело, Ежишко<sup>1</sup>. Ведь нынче рождество.

Мама сказала это нарочно таким мягким, грудным голосом — хотела нас убедить, что сама в это искренне верит. Но по лицу Бетки мы угадали, что мама ждала совсем другого. Старшая сестра — единственная среди нас — понимала, что Ежишко не ходит по домам и не разносит детям подарки. Но и ей не захотелось омрачать нашу радость, и она больше не перечила маме. Бетка снова уселась на свое место и стала плести шнурки из льняных нитей. Нити были приколоты шилом к доске, и она ловко перекидывала их пальцами. Бетка многое умела делать не хуже взрослых.

— И к нам тоже придет Ежишко?

— А почему бы ему не прийти?

— Он и нам чего-нибудь принесет?

— А как же, ясное дело, принесет, — уверяла нас мама.

Тут уж мы не сдержались и наперебой закричали от радости:

— Мне принесет настоящую куклу!

— А мне барабан и солдатиков!

Наконец мы дождались вечера.

Деревня погрузилась во тьму. Небо вызвездилось и тысячами искорок упало на снег. Звонарь разбудил металлическое сердце на звоннице, и так начался первый день рождества.

Мама надела на нас чистые платья. Дом чудесно оживился вкусными запахами. На столе белоснежная скатерть. На ней пирог и молитвенная книга. Мама положила на нее руку и оглядела нас. Мы тоже не отрывали от нее взгляда. Еще утром нам показалось, что морщинки у нее под глазами как бы разгладились. Она будто вновь ожила. Даже шаги стали легче, веселее походка. Волосы, цвета воронова крыла, иссиня блестя. И куда-то подевались в них серебристые нити. А может, мы их просто не замечали, охваченные великим ожиданием.

Положа руку на книгу, мама сказала нам, должно быть, вместо молитвы:

— Дети, нынче и на войне настала тишина. Никто не стреляет. И наш отец... я даже вижу, как он мирно сидит в окопе... В руках ружье, но он не стреляет. Уж сегодня-то им непременно дали хорошего, теплого чаю... Он пьет его и думает о нас. Солдаты поют, как повсюду в этот час на земле: «Народился господь наш Христос, радуемся...»

Немного погодя мама сказала, чтобы и мы запели.

---

<sup>1</sup> Младенец Христос, который на рождество якобы приносит детям подарки.



Она начала, мы вторили ей тоненькими голосками: «Народился господь наш Христос...»

А когда дошли до слова «радуемся», мамин голос вдруг стих. Губы полуоткрыты, а звука не слышно. И только кто-то из нас продолжал тянуть в наступившей тишине как восклицание «радуем...».

С самого утра мы были уверены, что в этот замечательный день случится чудо. И по-детски надеялись, что мамини глаза всегда теперь будут такие улыбчивые, что в них никогда не погаснет солнышко. Такой веселой была она до рассвета, и вдруг при слове «радуемся» у нее надломился голос.

Пораженные, мы застыли.

Старшая сестра, обычно такая холодная в обращении, мягко окликнула ее через стол:

— Мама.

Мама точно пробудилась, отерла лоб рукой, попыталась улыбнуться... И улыбка впервые ее подвела.

За ужином мы все прислушивались, когда же на пристеньке раздадутся шаги того, кто разносит хорошим детям подарки. Порой переставали есть и слушали. Не отрывая глаз от дверной щеколды, мы ждали, когда же она наконец шевельнется.

Вдруг и в самом деле раздались чьи-то шаги. Мы так притихли, что было слышно, как поскрипывает снег под ногами. Теперь-то мы уже твердо знали: это идет тот, кого мы так долго ждем. Он несет барабан и солдатики, и из мешка, набитого подарками, выглядывает расписная головка куклы.

Мама тоже устремила взгляд к двери. Прижав руки к груди, она заворожено глядела на щеколду. От ожидания у нас у всех даже рты приоткрылись. Вот-вот готово было сорваться слово и несказанной радостью наполнить всю горницу.

И снова раздался шум уже у самого сеного порога.

Мы подумали: «Ежишко».

Мама тихо выговорила:

— Отец!

Минуту мы ждали в невыносимом напряжении.

Мама, уже не владея собой, шагнула к двери и сказала:

— Дети, наш отец воротился.

Но до дверей не дошла — как вкопанная остановилась посреди горницы. За дверью послышалось рождественское песнопение. Это наши деревенские, родные и соседи, по старинному обычаю пришли к нам с колядками.

Значит, и отец не вернулся, и Ежишко не принес подарки.

Пение кончилось, отворились двери, и первым в горницу вошел дедушка с нижнего конца. Как и обещался, он пришел отвешать яблочного пирога. За ним стояли улыбающаяся бабушка с холма со связанными для всех нас из черной шерсти туфельками и другой дедушка — он почти что касался головой

потолка. И наконец, тетка Гелена. Под мышкой она прижимала завернутое в салфетку широкое самодельное кружево из тонких льняных нитей. Она подарила его маме для скатерти.

Мы тут же надели бабушкины мягкие туфли и прошлись в них по горнице.

Взрослые расселись вокруг стола и занялись разговорами. Мы возились рядом, щебетали, ластились к ним, но каждый из нас чувствовал, что дороже всех его сердцу бабушка.

В бабушке с верхнего конца была какая-то особая для нас привлекательность. Даже когда она бывала серьезной, нам казалось, что улыбается. Глаза у нее были темные, волосы черные, как смола, а лицо белоснежное, только чуть тронутое годами. Ни одного грубого слова никогда при нас не обронит, не попеняет за шалость, а скорей только так — уму-разуму наставит да все смягчит прибауткой. Она умела залечить любое детское горе. К бабушке с дедушкой чаще всего ходили мы за медом и фруктами. Особенно в войну, когда нечем стало полакомиться. Бабушка никогда не встречала нас без гостинцев и не отпускала домой с пустыми руками.

И еще одно притягивало нас к этому дому: там можно было разглядывать всякие занятные вещи. Была там, например, кипа книг: толстые и тоненькие, чаще всего в кожаных переплетах, с металлическими застежками и золотыми буквами. Бумага была уже пожелтевшая, отдававшая стариной. Мы часто украдкой перелистывали их, но ничего не понимали. Какие книги были написаны готическим шрифтом, а какие и вовсе на незнакомом языке. Многие были уже опутаны паутиной, и дедушка поговаривал, что они только зря занимают место. И еще мы любовались фарфоровой чернильницей, расписанной голубыми и красными цветами. Все, что стояло рядом в буфете на полочках, не шло с ней ни в какое сравнение.

Эти книги и чернильница, рассказывали нам, остались в доме от дедушкиного брата.

Поначалу брат хотел стать священником, да судьба решила иначе: по бедности пришлось бросить ученье.

Дедушка вспоминал о нем добрым словом:

— В соседней деревне он учил детишек писать, читать и всяким прочим премудростям. Стройный был, словно тополь, к тому же голос хороший имел. Начнет петь, так будто колокол вызванивает. Школа стояла на холме над деревней, и голос его разносился широко округ. Люди сказывали: куда долетит его песня, там и земля хорошо уродит.

— Неужто и в самом деле, дедушка? — полюбопытствовали мы.

— Люди говорили, — повторил он.

А бабушка добавила:

— О хорошем человеке люди сказки рассказывают, оттого он еще лучше делается.

— А куда же он подевался? — спросили мы, потому что ни разу его в дедушкином доме не встречали.

— Нету его, детки, помер, — ответил старый и призадумался.

И бабушка горестно кивнула:

— Жалко его, уж так жалко.

Мы на время затихли. Только ходики тикали на стене, а в деревянном ящике под циферблатом тихо скользил из стороны в сторону медный маятник.

— Бабушка, — я снова завела наш разговор, — а знаете ли вы еще какую-нибудь сказку про доброго человека?

Она протянула руку и привлекла меня к себе. Я лбом уперлась ей в колени, и у меня даже темно стало в глазах от ее черного люстринового передника.

И оттого бабушкино лицо, когда я подняла голову, показалось мне удивительно белым.

Я удивилась и тут же спросила:

— Бабушка, а почему у вас такое белое лицо?

— Да ведь и у тебя такое же белое, — рассмеялась старушка.

— А у меня почему такое белое?

— В маму пошла.

— А мама в кого?

— А мама в меня. — И она легонько ударила меня, любопытную, по носу.

— А вы в кого? — не отставала я от бабушки.

Заулыбался и дедушка, складывавший колотые чурки под устье старинной печи, окруженной просторным прилавком. Уложив последнюю охапку дров, он при этом напомнил бабушке, что лицо у нее такое от белой гусыньки.

— И вправду, дети, — рассмеялась старушка, — от белой гусыньки. Да я о ней еще не рассказывала.

Мы разом притихли, слушаем.

— Было это давным-давно, говорят, будто бы еще при царе Косаре. Отчего да почему — никому не ведомо, только вдруг взлетели в небо все гуси нашей деревни да и унеслись большой стаей в далекие края. Улетели и большие не воротились, их всех, кроме одной гусыньки, перебил волшебный стрелец. А эту он не убил потому, что было у ней несказанно белое оперение. Только крылья ей подстрелил. Упала она из облаков к его ногам и тут же обратилась в красную девицу, а лицо осталось у нее белым-пребелым — по нему-то и видно было, что она из гусыньки вышла. Да только не принесла она волшебному стрельцу счастья. Плакала денно и ночью и чуть

было его дворец не затопила слезами. Горевала она и тогда, когда у них народилось дитя. Это была девочка с таким же беленьким личиком, что и у матери. Дольше волшебный стрелец не мог уже глядеть на ее печаль. Одарил он ее гривастым конем и разрешил воротиться туда, откуда пришла. Что случилось с ней — никому не ведомо: конь доскакал до нашей деревни только с малым ребенком в седле. Выходили ребеночка добрые люди. Выросла пригожая девушка, стройней ее во всей деревне не было. А вам она доводится так: у вашей бабушки была бабушка, а у той бабушки еще бабушка.

Мы слушали и надивиться не могли на эту историю.

— Так вот от этой бабушки и достались нам всем трем белые лица, — заключила старушка и подмигнула мне.

— А у меня почему не такое лицо? — спросила Людка. — Мне тоже хочется, чтоб оно было от белой гусыньки.

— А вы все в отца пошли, — объяснила бабушка.

— А отец в кого?

— А отец в дедушку с нижнего конца.

— А дедушка?

— Вот и спросите его, когда пойдете к нему.

Но наш дедушка с нижнего конца никогда не рассказывал сказок. Он знал только всякие смешные истории из жизни, а их могли слушать одни взрослые. Наверное, никогда от него так и не узнаешь, откуда он происходит, где начался его род.

А меня еще разбирало любопытство спросить — из чего же стрелял в гусей волшебный стрелец. Он особенно запомнился мне. Подбегаю я к вешалке — на ней всегда висело охотничье ружье, из которого дед бил зверя в горах, — и спрашиваю:

— Из такого? — Я ощупываю ружье.

— Как бы не так! — Дедушка качает головой и смеется в усы. — В те поры еще не было ружей.

— А из чего он подстрелил их?

— Из арбалета.

Только дедушка произнес «из арбалета», как забили на стене часы-ходики и следом послышались шаги по пристенью. Приумолкнув, мы уставились в окно, из которого, за воротами, был виден нижний конец сада, где среди нескольких запорошенных снегом слив стоял амбар.

Мимо окна промелькнул Матько Феранец — баранья шапка у него низко надвинута на глаза, походка торопливая, тревожная. Мы почувствовали, что идет он не с доброй вестью. У порога Матько кое-как обил капцы и прямо из сеней вбежал в горницу.

— Где хозяйка? — запыхавшись, спросил он и только тут сообразил, что не снял шапку. Слегка покраснев, он смущенно стащил ее с головы.

Мы поняли, что он ищет нашу маму.

— А что случилось? — шагнул к нему дедушка, словно желая уже наперед, по глазам, прочесть его ответ.

Матько стоит, переминается с ноги на ногу, шапку из руки в руку перекладывает. И хочется ему сразу все выложить, да губы не слушаются.

— Пятак с войны воротился.

Бабушка тоже подходит к дверям, где стоит Матько. Его волнение передается и ей.

— Ну и что? — Она как бы ободряет его.

— Ранен он в колено. Хромает. К службе больше не годен. Я видел его. Бледный как мел. И сказал... — Матько осекся, осмотрелся вокруг, и наконец взгляд его остановился на нас. Казалось, он вот-вот расплачется. — Сказал... — замылся он, никак не решаясь выговорить, — сказал... ой... — и снова оглядывается, — что нашего газду, отца этих бедняжек, — он указывает на нас пальцем, — убили. Хозяйка точно чуяла.

При этих словах в горницу вбежала тетка Гелена. Вместе с ней через сени ворвался холодный ветер. Она возила зерно на нижнюю мельницу. Должно быть, люди ей что-то сказали, и она примчалась к нам. Не заметила даже, что на бегу у нее развязалась косынка и сползла на самые плечи. Волосы ее увлажнились от мелкого снега, который целый день носился в воздухе, словно крохотные мушки. В теплой горнице он струйками стекал по лбу. Она обтерла их, при этом из волос у нее выпала желтая костяная шпилька. Она даже не нагнулась поднять ее. Тетка стояла как в воду опущенная, во всем ее облике была такая печаль... Но вдруг она как бы смутилась, что обнажила перед людьми свои чувства, и гордо вскинула голову.

— Да правда ли это? — чуть погодя в тишине раздался бабушкин голос.

— Сущая правда, — кивнул Матько, весь передернувшись. — Своими ушами слышал, как он рассказывал. У них там полная изба народу набилась. Полдеревни сбежалось. И под окнами стояли. У Пятака болело простреленное колено, он то и дело его потирал. Ломит, говорит, когда снег идет. Да, изуродует война мужиков. Хоть и кончится, а женщинам все равно радости не видать. Домой одни калеки воротятся. Пятак там многих встречал, а наш газда погиб. Случилось это, когда отступали. Пятак побежал, вокруг валялись лошади, люди, оружие. Вдруг он споткнулся о какого-то убитого. Просто злая случайность. Это и был наш газда. — Матько повернулся к нам весь в слезах. — Дети, нет у вас больше отца...

— Я не могу в это поверить, — засомневалась Гелена.

Матько пожимал плечами и плакал. Слезы скатывались на его изодранную куртку.

Со двора снова донеслись чьи-то шаги. Какие-то люди промелькнули мимо окон, до половины затянутых словно листьями папоротника — их нарисовали наподобие лесенки ночные морозы. Среди мелькнувших фигур мы заметили и нашу маму.

В сени она вошла первой, и мы слышим, как она говорит:

— Не может этого быть, Пятак. Вы что-то напутали. Разве мог он так скоро и навечно уйти от нас?

Мама, отворив дверь, переступила высокий порог горницы, а следом за ней ввалилась толпа деревенских. Нас оттеснили к самой кушетке. В суете мы не знали, куда даже приткнуться, а от толчи и гомона мы так растерялись, что и думать ни о чем не могли — стояли как вкопанные и только озирались вокруг.

Пятак остановился посреди горницы. Одна нога у него была короче другой. Он подпрыгивал на ней, широко раскидывая в стороны короткие руки. Мужик он был приземистый, ширококостный. Щеки и губы вислые, так же висела на его короткой фигуре и одежда, которая, видать, была с чужого плеча. До войны батрачил он в замках, но слуги не любили его — он всегда наушничал на них господам. Недаром он не глядел людям прямо в глаза, а все косился в сторону. Теперь, говорили, берут его к себе Ливоры, у них будет батрачить.

Пятак с такой охотой рассказывал, будто ему за это платили. То всплакнет, то посмеется, а главное, маму все пытается убедить в смерти отца.

— Оно, конечно, в это невозможно поверить, — говорил он, — ведь это уму непостижимо. Но я-то упал на него прямо нос к носу. — Он схватил мамину голову и притянул к своей. — Вот так, будто мы глядели друг другу в глаза, кабы не был он уже мертвый. Да и чему тут удивляться, оттуда мало кто ноги унес. Земля там — будто вырубка, будто ее кто сечкой посыпал. Я сам был еле живой, душа от страха в пятки ушла.

Тетка Порубячиха тоже засомневалась:

— Кто знает, кому ты в лицо глядел. Может, ты от страха, Пятачок дорогой, лицо-то и перепутал.

— Да мог бы я газду не признать? — отбивался он, — газду из нашей деревни? Смешно даже, Порубячиха. Ведь с таким же успехом я мог бы сказать, что это был Порубяк. Ведь мог бы, верно? Но тут языком зря плести не годится. Смерть — дело серьезное. Говорю то, что было. Это был отец этих детей, — он указал на нас пальцем. — Ничего не поделаешь, война такая штука — многих мужиков проглотит. Эти сироты не первые, не последние.

Дядя Данё Павков, привалившись спиной к дверной притолоке, заругался:

— Провались она пропадом, эта война!

— Вот уж правда,— кивали люди.

Мама понуро опустилась на стул. Рядом с ней плакали и вздыхали женщины — их мужья тоже были на войне. Но мама не плакала. Она задумчиво глядела перед собой, а когда братик тихонько подошел к ней, притянула его к себе, точно во сне, и беспокойно стала водить ладонью по спинке.

Кто знает, что испытывал тогда мальчик? Верно, скорее сердцем, чем разумом переживал он эти горькие минуты, предчувствуя новые страдания, готовые обрушиться на нас.

Улыбнувшись, мальчик рукой повернул к себе мамино лицо и сказал:

— Мама, пьявда, это непьявда?

— Конечно же, неправда, мой родненький.

Она схватила его и притиснула к себе, как самую большую поддержку в эту минуту. Нет, это не может быть правдой. Не может быть, чтобы вот так просто, навеки, ушел муж от жены и отец от детей. Ведь это было бы страшно несправедливо. Разве мог бы бог на такое смотреть?

— Нет, нет,— шептала она,— я не верю...

Люди еще громче заплакали. И мы, дети, начали подвывать. Плачем и скорбью была полна горница.

У мамы только подрагивали губы.

— Ты бы хоть поплакала, легче бы стало,— советовали ей соседи.

Но мама, отмахнувшись, попросила оставить ее в покое. И дедушка с бабушкой дали людям понять, что пора уходить.

Соседи поодиночке стали выбираться из горницы, но на дворе и под заснеженной липой на пригорке снова сбились в кучки.

Матько Феранец не двинулся с места. Стоял в сторонке у печи и ждал. А когда ушел и Пятак, Матько на свой лад стал утешать маму:

— Не беспокойтесь, хозяйка, я вас не оставляю. Паны в городе за работу платят все меньше и меньше. Пилишь и колешь — все равно что задаром. Думают, что бедный человек должен из-за них надрываться. Да хоть бы и много платили, вы для меня на первом месте.

Он замигал, чтобы разогнать наворачнувшиеся слезы, а слова попытался подкрепить легкой улыбкой. Потом сказал, что пойдет задать бычку корм, чтоб не мычал и не терял в весе. Когда он удалился, от его обуви осталась лужица талого снега. Старшая сестра тут же тряпкой вытерла воду, чтобы тетка Гелена не сердилась на непорядок.

Мама тоже встала со стула. Мы не спускали с нее глаз, следя за каждым ее движением.

— Ну разве можно в это поверить! — едва сдерживая себя, вымолвила она. — Только сдастся мне, Пятака подбили те, кто зарится на нашу землю. Его и рюмкой водки можно купить. Он у Ливоров будет служить, кто знает, откуда ветер подул.

— От людей всякого жди, — поучал ее дедушка, — делай свое дело спокойно и носа не вешай.

Мама ни на минуту не допускала мысли о смерти отца. Она знала: если б поверила, сразу бы рухнула как трава под косой.

Теперь она неизменно к полудню садилась у окна. Руки ее обычно заняты были работой — она то латала нам платья, рубашки, то лушила в миску фасоль.

В полдень Верона всегда разносила по деревне почту. Когда пройдет, бывало, прихрамывая, мимо нашего дома, а к нам не сворачивает, у мамы невольно подкатывал ком к самому горлу и она замирала: «Опять ничего».

Мы знали, что она ждет письмо от отца.

Мы тоже стали подсаживаться в полдень к окну. Мама растапливала дыханием на замерзшем стекле прозрачный глазок и смотрела на дорогу. И мы дышали на стекло и ногтями выскребывали в морозных узорах свои крохотные солнышки. Сквозь них солнечные лучи и в самом деле пробирались в горницу и озорничали на столе и на полу. Желтые пятнышки весело подпрыгивали, и нам тоже становилось веселей. Братик ловил их в пригоршню, точно рыбок в воде, и никак не мог понять, почему они всегда ускользают.

Наши детские шалости чуть-чуть разгоняли тоскливые мамины мысли. То, что нам, маленьким, часто было еще невдомек, старшая сестра как-то уже понимала. Она нам потихоньку сказала, что маме жизнь не в жизнь без долгожданного письма. Только и нам не удалось приманить его, хоть мы и просиживали с мамой часами у окна.

В один из таких дней, полных беспокойного ожидания, забежала к нам после долгой болезни цыганка Гана и еще пуше разбередила нашу тревогу.

Вот и сейчас вижу ее как живую.

На узле, перекинутом через плечо, висела у нее синяя набивная юбка. На голове полосатый платок. Ноги в толстый слой обмотаны тряпками из джутовой мешковины и туго затянуты веревкой. Отворив двери, она заглянула в горницу огромными черными, как угли, глазами. Мы еще лежали в постели и ужасно перепугались, увидев старое, морщинистое лицо, точь-в-точь как у бабы-яги. Братик метнулся к стенке, Людка уткнулась в подушку, я, приподнявшись, смотрела на гостью сквозь пальцы, которыми прикрывала глаза. Только Бетка смело заговорила с цыганкой:

— Обождите в сенях, Гана. Мама пошла за водой к колодцу.



Гану и в комнате можно было без боязни оставить одну. Она никогда ничего ни у кого не украла. В деревне уважали ее, хотя она и жила в лачуге за костелом со всеми своими сородичами. Она ходила по домам, побиралась, и не было случая, чтобы ее отпустили с пустыми руками. Более того, многие считали приход Ганы в дом особым везением.

У нее всегда были карты, и по ним она предсказывала будущее. Иной раз ее предсказания сбывались, и люди тогда в один голос твердили, что природа наделила ее даром ясновидения.

Мы в то утро и знать не знали, с какой вестью в наш дом явилась цыганка Гана. Она подождала в горнице, а когда вскоре послышались на пристенье мамины шаги, вышла в сени ей навстречу.

С приветливой улыбкой, разгладившей на лице все морщины и бугорки, Гана сказала маме:

— С добрым утром, хозяйюшка!

— А-а, Гана...— Мама слегка улыбнулась в ответ и поставила ведра на земляной пол сеней.

— Весточку принесла тебе, касатка.

— Неужто война кончилась? — спросила мама и после минутной передышки нагнулась к ведрам, локтем толкнула кухонную дверь и вошла внутрь.

Сквозь приотворенную дверь потянуло теплом — белое парное марево перемешивалось над порогом с холодным воздухом, врывавшимся со двора.

Мама крикнула через плечо:

— Одно бы нас только и порадовало, кабы настал конец беде бедучей!

Гана придвинулась к маме.

— И другие вести могут порадовать. Одну такую принесли мне карты для вас. Всем вестям весть, хозяйка! Придет вам письмо из России!

Даже лежа в постелях, мы услышали, как мама вскрикнула:

— О-ой, Гана!

Но тут же осеклась, стихла, и в этой тишине было слышно, как потрескивает в топке огонь и шипит вода, перебежавшая со сковороды на угли.

А цыганка ее утешает:

— Карта несет тебе радость, хозяйка, позволь кинуть на тебя...

— Да не верю я ни картам, ни гаданью,— махнула мама рукой.

Гана упала на колени у порога горницы, вмиг достала из подола колоду и ловко, полукружьем, точно разноцветную радугу, раскинула ее ладонью на полу. Она перекладывала их, выбирала, тасовала, а мы заворожено следили за ней. Нако-

нец она ткнула длинным, худым, с припухшими суставами пальцем в какую-то карту и долго не отнимала его.

— Хозяйка, хозяйка! Глянь сама, если не веришь. На русском фронте твой хозяин. И письмо придет.

Мама повернулась и опять ушла в кухню, чтобы наполнить водой чан — в тот день она собиралась стирать. Вода плескалась, булькала и приглушала треск поленьев в очаге, в котором метались сполохи пламени.

Цыганка, обиженная маминым равнодушием, подняла руки вверх и поклялась своей жизнью, что карты не врут. Нам она казалась страшной сказочной колдуньей. Я подтянула перину к самому подбородку и огляделась: Людка замерла, братик, прижавшись к передку кровати, грозно посверкивал глазками. На лбу появилась глубокая морщина, а на подушке лежал крепко сжатый кулачок. Кто знает, о чем он думал и не хотел ли он поступить точно так же, как и тетка Ливориха тогда с нами в Брежном поле?

Одна только Бетка набралась мужества, вскочила с постели и стала выпроваживать цыганку из горницы. Нечего было Гане терзать маму и бередить ей душу еще и гаданием, в которое мама не верила. Она знала, что мама сама достаточно сильная, чтобы справиться со своими страданиями без чужих утешений.

На Беткин голос мама воротилась в сени и стала совестить цыганку:

— Тебе, Гана, главное — ту мою старую юбку заполучить, вот и пристаешь ко мне со своим гаданием. Ладно, отдам ее тебе, хоть можно бы из нее и кой-какую одежду детям справить. Авось мне это зачтется.

И она пошла в чулан — мы догадались об этом по скрипу двери. Возвратилась с черной набивной юбкой.

— На,— она бросила юбку к ногам цыганки,— и ступай своей дорогой...

— Что и говорить, сгодились бы мне эта юбка, да только не возьму ее, куда письмо не придет, так и знай.— Гана наотрез, к большому удивлению мамы, отказалась от юбки: ведь главное, отвести подозрение и оставить за собой славу знаменитой гадалки.

Она собрала карты и сунула их в подол верхней юбки, подоткнутой двумя концами опушки за шнур вокруг талии. Молча поднялась с полу и пошла прочь. Переступая уже порог дома, она обернулась — ей не давало покоя недоверие мамы — и сердито крикнула:

— А письмо придет, так и знай!

Она сошла с пристенья и тяжело, по-старушечьи волоча обернутые в тряпки ноги, побрела по занесенной снегом дороге.

Мы не знали точно, какой след оставило это событие в

душе мамы. Но каждый из нас на свой лад призадумался; потом еще долго мы молча лежали в постелях под своими теплыми перинами.

Старшая сестра воротилась к нам и тихо шепнула, что мама больше не будет высиживать у окна, а то, мол, люди этим пользуются. Уж сколько раз Бетка уверяла нас, что мама хоть и слабая с виду, а выдюжит не хуже любого мужчины в деревне. Она, дескать, не неженка и справится со всякими трудностями. Мы слушали сестру и завидовали, что она так хорошо разбирается в людях. Нам тоже хотелось быть старше, и этим своим желанием мы как бы торопили время, бегущее от лета к зиме, от зимы к лету.

Да и взрослые тоже томительно ждали перемен. Может, потому, что шла война.

Все вокруг было еще белым-бело, а уж поговаривали, что надо потихоньку готовиться к пахоте — того и гляди, скоро придет весна. Ребятишки торопились вдосталь накататься на санках, да и нам с братиком напоследок хотелось порезвиться в снегу.

Липничановский Яник умудрился улизнуть от своей матери, от радости он скакал и валялся в сугробах, как жеребенок. А потом стал катать на дороге снежный ком. Мы тоже взялись за работу. Особенно отличались порубяковские Терка и Катка, среди нас самые сильные. Ком рос на глазах, в конце концов мы не могли и с места сдвинуть его. Оставили прямо так на обочине дороги, а когда чуть отошли, показался он нам с огромную гору. Как завидят его проезжавшие лошади, пугаются и встают на дыбы.

Гашпар Ливора в этот день возил на санях дрова с лесопилки. Поравнявшись с нашим комом, лошади его неожиданно дернулись в сторону и, вырвав у него из рук вожжи, во весь опор припустились к плетню. Он едва их догнал, лошади чуть было не порезались о заостренные колья.

Он сперва ввел лошадей во двор, велел Ливорихе попридержать вожжи, а сам выскочил обратно на дорогу.

Как шершень, налетел он на нас: орал, злобно хлестал в воздухе плеткой. А когда мы разбежались, кинул вдогонку нам баранью шапку, только не докинул.

— Ах вы озорники негодные, — бесился он, — из-за такой-то ерунды еще в беду попадешь! Мало того, что мужики на войне шею ломают, еще и нам не хватало.

Кому-кому, а не дяде Ливору поминать бы тех, кто пошел воевать, это понимали даже мы, дети. Из-за того, что у него большое хозяйство, его освободили от армии, позволили не служить императору. Пусть себе спокойно хозяйствует. У него было всегда полно батраков, ему не надо было беспокоиться,

кто ему обрабатывает землю, как семью прокормить. Его единственному сыну Адамке не приходилось от голода собирать в школе всякие объедки после богатых детей. Напротив, он был среди тех, кто кидал под парту целые ломти хлеба с маслом. Голодные дети только глаза таращили, не могли перемены дожидаться, чтобы поднять этот хлеб. Недавно, когда дети стали делить меж собой его хлеб, он вырвал у них ломоть, бросил на пол и давай ногами топтать. Милан Осадский — так дома рассказывала маме Бетка — схватил его за шиворот и, прижав к стенке, проучил как следует своей детской, но уже мозолистой рукой.

— Ух ты, злое семя,— прошипел Милан,— посмей только дома наябедничать!

Адам не держал языка за зубами, наябедничал, и отец его прибежал к Осадским с палкой.

— Ну и что с того? — развела руками тетка Осадская.— Ты-то сам ведь на всех перекрестках кричишь, что хлеб — дар божий. А по дару-то божьему даже Адамке негоже ногами топтать. А ну-ка посмей только поднять эту палку!

Ливора отступил, глаза тетки Осадской так и метали искры. Покричал, погрозились — дескать, он еще им это припомнит.

С той поры дети еще больше невзлюбили Ливоров, а Ливоры платили им той же монетой. Им все казалось, что дети обижают Адамку. Ливора был бы рад сорвать на них свою злобу. И вот когда лошади его испугались нашего снежного кома, ему представился случай. Только ноги были у детей, что у серны — он даже шапки своей до них не докинул. Все понеслись во всю прыть и уже дома, под родной крышей, отдышались.

Еле переводя дух, разгоряченные, вбежали и мы в кухню, ища защиты у мамы.

Посреди кухни стояло корыто. В нем мокли наволочки и пододеяльники в розовую и голубую полоску, такую знакомую нам. От горячей воды шел пар и тянуло резким запахом щелока.

Как только мы заявились, мама тут же повернулась спиной и для вида вытащила из буфета ложку, а рукой поспешно утерла глаза.

Бетка шепнула нам:

— Утирает слезы.

Этих слов было достаточно. Мы кинулись к маме: неужели она и впрямь втихомолку горюет? Наверное, когда она оставалась одна, в минуту слабости и ее охватывало отчаяние.

Людка, растрепанная, с полотняной сумкой в руке, пристально поглядела на маму и спросила:

— Пятак, верно, обманул нас?

Мама вмиг ожила и, протянув руки, стала ласкать нас. Мы

мигом прижались к ней. Она даже не знала, кого обнять первым: ведь нас было четверо.

Она обхватила Юрко руками и присела на лавку. Держать нас, стоя, она уже не могла. Ослабли руки, ноги, обессилело тело. Вот она и присела, чтобы чуть отдохнуть. А мы, когда увидели, что она уже не плачет, от радости бросились к ней. Маленькие были, не понимали, что этим только мучаем ее. Кто знает, о чем она думала, сжимая в объятиях братика? Только вдруг у нее из-под ресниц выкатились две блестящие горошины. Я протянула руку, будто хотела поймай эти хрупкие жемчужинки в ладонь, но братик опередил меня — указательным пальцем он придавил сначала одну, потом другую слезинку и растер их по щекам двумя блестящими полосками. Мама поглядела на него вымученно-веселым взглядом, а у самой глаза были, как темная, глубокая чаша. От старших я слышала, что в глазах человека, как в зеркале, всегда отражается то, что он носит в себе. И мне представилось как-то по-детски неясно, что глаза тогда затягиваются печалью, когда за ними в глубине скрывается горе, которое человек силится сам в себе одолеть. Ведь потому я и побежала к тетке Вероне на Груник, что никак не могла выплакаться после ухода отца. И только там я чуть ожила. Вспомнила я еще, как мне хотелось прижаться к маленькой кукле, чтобы облегчить свою боль. Может быть, и маме нужно с кем-то поделиться? Я прильнула к ней, погладила ее руку. В ответ она ласково посмотрела на меня и сказала чуть веселей, будто и в самом деле ей стало легче:

— А есть будем, дети?

Есть! Тогда это было волшебное слово. Нас никогда не надо было упрашивать, мы вмиг усаживались за стол.

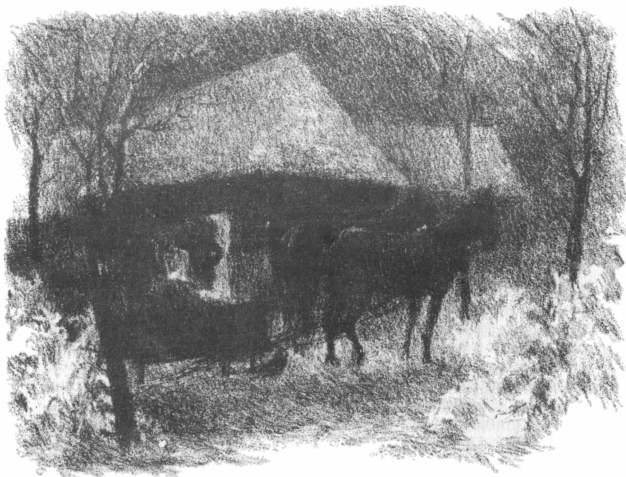
— Сегодня у нас пир горой, — радостно сказала мама, — картошка в сметане. И свежего хлебушка испекла. На этот раз мельник при мне набирал муку в мешок, вот и не смог меня провести. Оттого и хлебушек нынче получился получше.

Она взяла нож и стала отрезать от буханки такие подковки.

Вдруг кто-то завозился у дверей, долго вытирая ноги и звякая железной щеколдой. Мы сразу же поняли, что это тетка Липничаниха: ведь только она так вкрадчиво и робко переступала порог. Она вела за руку Яника, мальчика с шустрыми глазами, замученного ее вечными запретами.

Уже с порога она начала жаловаться:

— Ох, загрызла меня совесть совсем! Пришла к вам, авось станет полегче. У меня ни шепотки муки не осталось в горшке. Нонешнюю картошку хрущи всю сожрали. Вот и пересилила я себя, пошла к Ливорам на поклон, просить помощи. Ведь мы же родня. Взяла я мешочек — и к ним. Да с чем пришла, с тем и ушла. Нету ничего, сказал Ливора, сами бедствуем. Я всю ночь напролет глаз не сомкнула от обиды.



Мама наложила в две миски еды, добавила ломти хлеба и предложила тетке и Янику. За едой Липничаниха открылась нам, чтобы облегчить душу.

Всю ночь глаз она не могла сомкнуть от обиды. Вставала, ходила по комнате, только бы время шло побыстрее. На одной кровати спал Яник, на другой старая мать, которая уже долгие годы лежала пластом. В окна заглядывала кромешная тьма. Только на снегу в Ливоровом саду по соседству можно было с трудом различить деревья, кусты и амбар. Она всмотрелась в ту сторону и вдруг видит: меж деревьями мелькнул человек, за ним второй, третий. Они таскали тугие мешки на плечах и складывали их на дровни, стоявшие за домом на выгоне. Нагрузили их с верхом.

— Ну, думаю,— продолжает тетка Липничаниха,— взломали воры Ливоров амбар и крадут зерно. Другое мне и на ум не пришло, человек уж таков. Забыла я тут всю нашу ссору и бегом на выручку через сад.

Бежит тетка как угорелая через сад, скрывается за оградой. То ноги увязают в сугробах, то лед трещит под подош-

вами. Замедляет шаг, ступает осторожно, чтобы ее не заметили. Видит, сгрудились мужики у амбара, должно быть, поджидают кого-то. Тетке даже почудилось, что в амбаре свет мелькнул. Пригнулась она к земле, ползет на четвереньках. Вот мужиков опознать бы, тогда и жандармам легче будет найти их. Тихо-тихо подкралась она к самой стене из толстых неотесанных бревен, выпрямилась. Изнутри неслись голоса, и надо же: среди них различила она Ливоров голос. Под фонарем, за прикрытой дверью пересчитывал он деньги, вырученные за зерно. Выходит, это были вовсе не воры, это сам Ливора ночью тайком продавал зерно. И с мужиков из соседней деревни взял втридорога. Тут тетка разом смекнула, отчего он отказал ей даже в горстке муки: по дорогой цене продать побоялся, а потерять хоть геллер<sup>1</sup> не захотел.

— Представьте, как я опешила,— продолжает тетка Липничаниха,— аж в дрожь кинуло. То ли оттого, что увидела все, то ли оттого, что озляла: выскочила-то я в одной исподней юбочке да плечи едва прикрыла легким платком. Дрожь эта вроде бы меня в себя привела, я точно ото сна пробудилась. Глазам своим не поверила, что это я стою за Ливоровым амбаром. Ведь я, милые мои, ночью боюсь одна ходить. Уж не лешак ли меня заманил? И не лунатичка я вроде. Хотела это я потихоньку воротиться к себе, да вдруг оскользнулась. И выдала себя. Это уж когда мужики уходили. Ливора сразу меня углядел и посветил в глаза фонариком. Лишних слов мы не тратили. Он поверил, что я хотела только воров опознать.

А спозаранку заявила к Липничанам тетка Ливориха. Под платком в горшке притащила муки — ешьте, мол, на здоровье. Ни возврата не надо, ни денег. Пришла подмаслить тетку Липничаниху, чтобы та не выдала их.

Я заметила, как у мамы при теткинном рассказе кровь прилила к лицу, и с языка ее готовы были сорваться очень злые слова. Но она сдержала себя перед нами, детьми.

И нарочно как нельзя более кротко сказала:

— А ты бы взяла горшок за обе ручки да и грохнула оземь: мол, в таких-то гостинцах не нуждаюсь.

— Да ведь и меня разбирало от злости,— тетушка горестно потирала запястье,— да тут Яник залепетал на кровати, и старая крикнула, что благодарствуйте, мол, а все для того, чтобы я только взяла. Уж такой убогий был ужин — в животе словно кузнец мехи раздувал. Услыхала я тут Яникин голос и смирилась, ни сердцем, ни видом больше уже не противилась. Пересыпала я муку в свой горшок да еще спасибо Ливорихе сказала. Шмыгнула она, точно ласка, из нашего дома, до смерти рада была, что ей удалось потешить лукавого.

---

<sup>1</sup> Геллер — мелкая монета, копейка.

— Еще бы не рада,— зло усмехнулась наша мама,— заткнули тебе рот горшком муки.

— Наварила я галушек, да ровно свинца наглоталась. Только не галушки — совесть меня мучает. Дура я набитая, так себя перед ней уронила. Хожу по дому чернее тучи, а лукавый за мной по пятам и только все приговаривает: «Подмаслили тебя, подмаслили!» Нынче я даже уши заткнула. Бесовы слова так и звякают, как Иудины тридцать серебряников. Ума не приложу, что делать. Вы всегда были мне самые близкие. Пойду, думаю, к вам, авось полегчает.

Мама неожиданно рассмеялась. Но видно было, что не от радости это, а как бы с досады: вот, мол, из-за такой ерунды терзается человек, а Ливоры живут себе и не тужат. Таких, верно, совесть не мучает.

— Повадился кувшин по воду ходить — там ему и голову сломить,— утешала мама Липничаниху.— Ты только носа не вешай, о ребенке подумай. Не ты первая, не ты последняя. А ну как мы все так раскиснем?

И в самом деле, таких, как Липничаниха, было немало. Что ни день, видели мы в нашей деревне незнакомых людей с узлами и узелками за спиной. Приходили издалека выклянчить у богатых зерно, муку или картошку, часто на последние деньги. Женщины из Ревуц в белых юбках и длинных передниках из синей набивной материи, запахнутые в огромные шали, ходили по деревне точно стая гусей. И чем больше становилось бедных на свете, тем невиданней заламывали цены богатей.

— Ведь нынче только на золото и торгуют,— продолжала мама.— У Ондрушей, говорят, полный горшок золотых в сундуке. Даже Петрань научился у них — тоже, слышать, продал все до последнего зернышка. Любопытно, что же они по весне будут сеять? Неужто хотят землю голой оставить?

Наша деревня лежит в глубокой долине. Со всех сторон окружают ее горы, словно каменный оклад над глубоким колодцем. В зимнюю суровую пору только полуденное солнышко чуть пригревает ее. Долгий путь проходит оно, покуда взойдет над горной грядой и сквозь серую мглу уронит несколько хилых лучей. Чем ближе к весне, тем выше оно забирается над стенами гор. Согревает крыши, завалинки и растапливает во дворах снег. Всё заметнее прибывает тепло, пора потихоньку прощаться с зимними работами и готовиться к полю.

Время совсем клонилось к весне, когда на последние посиделки пришли к нам соседки, каждая с богатой куделью. Нам нравились на куделях красные тесемки и разукрашенные костяные или медные петухи. К веретенам были подвешены свинцовые катушки. Когда они кружились по полу, глаз нельзя было от них оторвать. А еще веселей стало, когда промеж



жужжавших веретен вбежал котенок и все ладился лапкой схватить одно из них. Насмеялись мы вволю, когда веретено прожужжало у самого его носа и он в испуге кинулся к нам на колени. Но радостней всех мы встречали на посиделках тетку Мацухову — она была всегда весела и умела удивительно ласково разговаривать с кошками.

И в этот вечер мы с нетерпением ждали, когда она начнет. Даже спать идти нам не хотелось, пока она не поиграет с кошками. У нашей старой кошки как раз было четыре котенка. Их всех мы и впустили в горницу. Взъерошив шерстку и подняв хвостики, вбежали они меж веретен. Как только увидела их тетка Мацухова, поймала одного и стала с ним разговаривать. Щелкает его пальцем по носику и расхваливает:

— О-ох, детоньки! Ишь какие усики в струночку, и глазоньки что бусоньки. А лапоньки, чисто бархатные. Откуда только радость такая взялась?

Но тут бархатная лапонька выпустила коготки и впилась в ладонь тетке Мацуховой. Выступила кровь и заполнила желобок под большим пальцем.

— Ну и злодей! — Мацухова погрозила котенку и опустила его на пол. — Как же я теперь прясть буду?

— А все из-за этих малявок, — неприязненно взглянула на нас тетка Петраниха, ерзая на стуле. — Когда мои были такие, об эту пору давно уж десятый сон видели! — Она с укором покосилась на маму и, оперев о колено веретено, стала быстро-быстро наматывать на него пряжу. На коленях у нее переливался почти новый черный сатиновый фартук.

Тетка Порубячиха повела глазом на ее фартук. Все односельчанки опоясывались таким манером только по праздникам, а Петраниха на работу так вырядилась. В последнее время она и дочерей стала наряжать всем на зависть. В костеле они были лучше всех разодеты. И усаживалась с ними Петраниха не иначе, как на господские лавки, чтоб быть у всех на виду. Как-то раз во время богослужения причетник, подойдя к ним, сказал, что крестьянам не положено молиться на господских местах. Петраниха только плечом дернула и продолжала сидеть с дочерьми как ни в чем не бывало. А выходя из костела, она объявила людям, что скоро и она заделается госпожой, да еще поважнее тех, что в замках. По деревне ходила злая молва о Петранях. Поговаривали, что они не только зерном торгуют на золото, но что тетка и за кило муки у бедноты золото требует. Не так давно она сняла сережки у крестницы Шимона Яворки, когда те не расплатились с ней в обещанный срок. Девочка и мать горько плакали, а Петрань, положив руку на Библию, сказал им:

— Око за око, зуб за зуб. Счет дружбу не портит. Принесете деньги — вернем вам сережки.

Мама при нас за это осудила Петраней, сказала, что сердце ее навсегда отвернулось от них. Вспомнила, как дядя Петрань с Библией в руках провожал призывных на войну и как обещал не оставлять в беде ни жен, ни детей.

— Вот они, его посулы! Гребет к себе деньги лопатой, процентщик ненасытный. Все годится, только не годится с чертом водиться. Запомните это, дети.

С тех пор мы часто представляли себе, как Петрани жарятся на адском огне, как они мучаются жаждой и вымаливают хоть каплю воды. Но никто над ними не сжалился, потому как и они на этом свете никого не жалели.

К детям тетка Петраниха относилась сурово. Кроме своих четверых, никого не любила. И нас на посиделках всегда гнала спать — чуточку радости и то ей для нас было жалко.

Не прошло и минуты, она опять за свое:

— О такую-то пору мои дети уже спали! Ну-ка, живо под перины! Из-за них и о деле-то поговорить нельзя.

Липничаниха, измученная и безрадостная женщина, перестала прясть и, посторонившись, пропустила нас к постелям.

В страхе перед Петранихой мы в два счета разделись, и минутой спустя только головы наши выглядывали из-под перин. Но сразу уснуть мы не смогли. Только зажмурились и глубоко дышали, чтоб обмануть прях. Когда тетка Петраниха уверилась, что мы спим, она завела речь о деле. Всякий раз начинала с того, что спрашивала, не пришло ли нам письмо от отца.

— Нет, не пришло, — покачала головой мама и от волнения еще проворней завертела веретеном: вот ведь, она ничего не знает о муже и даже не может удовлетворить Петранихино любопытство.

Почти каждая из женщин высказалась по этому поводу. Своей болтовней они мучили маму. Мне стало больно и даже досадно за нее. Одна только тетка Мацухова одернула женщин — и, как всегда, мягко, спокойно и весело.

— Поговорим-ка лучше о пахоте, трудяги вы мои горе-мычные, — сказала она, — весна-то уже на дворе, надо бы сошники проверить.

— Так-то так, да и вдову надо утешить, — как бы сочувственно возразила тетка Петраниха и кивнула в сторону мамы. — Как раз нынче мы с моим стариком толковали — помочь бы ей надо. — Она нагнулась прямо к маме: — Говорят, тебе бумага из банка пришла, требуют уплаты процентов от ссуды.

Мама нам ничего не сказала об этой бумаге. Скрыла, чтобы зря нас не тревожить. А Петраниха невольно все и выболтала. Я открыла глаза, подняла голову. Мама казалась растерянной. Сквозь легкую улыбку проступал страх.

Тетка Петраниха еще вкрадчивей продолжала:

— Услыхали мы с моим старым об этой бумаге и тут же решили, что лучше бы всего тебе оставить хозяйство и наняться к кому-нибудь на работу. Уж поверь: сама ты не справишься. Кожа да кости от тебя только останутся. А мы у тебя землицы бы купили, помогли бы расплатиться с долгами. Иначе все пойдет с молотка. Лучше по своей воле продать. Мы бы выплатили тебе сразу, наличными. Вряд ли кто еще тебе желает столько добра. А уж мы как-нибудь обработаем землю, даже если и прибудет в хозяйстве. Старика моего из-за хромой ноги на войну не взяли, вот и есть кому работать. Там, глядишь, и дочки замуж пойдут — не отдавать же их в чужой дом без гроша. И нам и тебе польза. Как на духу тебе говорю.

Мама подхватила куделю и откинулась на спинку стула. Получив извещение из банка, она было надеялась занять денег у Петраней. Но теперь из разговоров тетки поняла, какую помощь они ей приготовили. Им бы только обобрать ее как липку. С детьми из дому выгнать, пустить по миру. А ведь Петрань каждое воскресенье после обеда восседает на лавочке перед домом, молится и вытягивает псалмы о любви к ближнему.

Мама вспыхнула. Еще крепче зажала в руке веретено, обвела женщин взглядом.

Тетка Липничаниха опустила глаза долу — дала понять, что никому неохота совать нос в чужие дела. Тетка Мацухова подмигивала Порубячихе и украдкой пальцем указывала на жадную Петраниху.

Мама набралась мужества и сказала прямо:

— А я-то думала, вы меня выручите, раз деньги есть. Ведь я бы вам честно вернула...

Тетка Петраниха маме и договорить не дала. Ее так на стуле подбросило, что даже куделя свалилась. Она злобно подняла ее одной рукой, а другой торопливо дернула шаль, перекинутую на передке моей кровати.

Ничуточки не смущаясь, с какой-то даже наглой ухмылкой, она развела руками и крикнула:

— Голубушка, неужто ты последнего ума решилась? Кому охота воду лить из кулька в рогожку? Ясное дело, на чужие деньги жилось бы тебе припеваючи. Потому-то ты меня и за-тащила сюда и даже попусту керосина не пожалела истратить. Вот уж потешу я старого!

Так одним духом и выболтала она все, что было у нее на уме. Подхватила куделю, шаль и поспешила из дому. Шаль даже на плечи не кинула, так и поволокла за собой.

— Ничего бы с вами не сделалось, если бы и помогли в беде человеку! — бросила ей вдогонку тетка Мацухова, когда та была уже на пороге. — Спокойней бы лежалось вам обоим в гробу!

— Да ведь они только для виду за спасение души молятся! — кипела от гнева тетка Порубячиха. — С Библией не расстаются, а с чертями спознаются. Зачем таким людям вера?

— Ведь прежде в них вроде бы не было столько корысти и притворства? — пыталась смягчить дело тетка Липничаниха.

— Чего там, в них давно это сидело! — обрывает ее Порубячиха. — Таким сквалыгам война только на пользу! А ты, — обращается она к нашей маме, — не унывай, гляди веселей.

— Ведь я думала, что банк не станет давить на женщин теперь, когда они без мужей остались. Пойду и скажу им это. Война кончится — пусть свое и требуют.

— Так будет лучше, и не придется тебе просить у людей, — согласилась Порубячиха.

Женщины снова принялись за работу. Молча тянули льняные нити из куделей, смачивали их слюной и споро крутили веретена.

В наступившей тишине мы скоро уснули, так и не услышав, что еще было сказано-пересказано, так и не заметив, когда соседки разошлись по домам.

Остановились прялки, не крутились больше веретена — стремительно надвигалась весна. Талые воды обрушились с гулом в долины, земля почернела, курясь прозрачным дымком, с нетерпением ждала пахарей. Солнышко жарче всего припекало поле «У родника», там появились и первые борозды. Проложил их дядя Ондруш. Он пахал на своих серых волах с такими широкими рогами, что их и здоровый мужик не смог обхватить бы. Чуть выше на молодых бычках боронила тетка Ондрушиха.

Неподалеку, на Брезовце, шла за плугом тетка Порубячиха, а на Чертяже — тетка Осадская с сыном Миланом.

Мы тоже пахали на поле «У родника». Нашу корову мы спрягли с коровой тетки Мацуховой. Один день пахали на их полосе, другой — на нашей.

Наша мама удовлетворенно сказала:

— Как славно, когда люди помогают друг другу.

— А как же, моя милая! — отозвалась тетка веселым голосом. — Хорошему человеку иное и на ум не придет.

Тут поманила меня пальцем тетка Ондрушиха, похлопав себя по карману юбки — дескать, кое-что там припасено для меня. Прыгая по бороздам, я следила глазами за дядей Ондрушем — как бы он с другой межи не заметил меня. Тетушка сунула мне в руку вареное яйцо. Я припустилась с ним во все лопатки, только бы дядя не схватил меня за косу.

— И чего господь не дал им детей? Хорошая мать была бы у них, да и сытно бы жили, — сказала мама, увидев у меня в руке яичко.



— Да, милая,— подхватила тетка Мацухова,— такое наказание пострашнее войны. Нам с тобой хоть остается надежда, что наши воротятся, а им детей уж никогда не дожждаться. Думаешь, их это не гложет? Может, Ондруш оттого и злобствует на тех, у кого есть дети. Может, оттого и лошадь тебе не дал. Она — другое дело: как завидит ребенка, прижмет к себе, норовит ему сунуть гостинчик.

— Разве отгадаешь, когда из худа добро проклянется. Кто знает, кому после них хозяйство достанется.

— И впрямь ничего наперед нельзя знать,— согласилась тетка и подстегнула коров, впряженных в плуг.— Уж как у меня сердце изболелось за мою Теру, когда она замуж пошла! А все добром обернулось. Это был большой урок для меня: как часто человек понапрасну терзается.

Мы, дети, знали Теру, дочку тетки Мацуховой. Стройная, румяная была девушка, по спине толстая коса цвета ржаной корки. Глаза зеленоватые, на подбородке ямочка. Славилась Тера редкой кротостью. Стоило парню взглянуть на нее в костеле, у нее уж и голос обрывался, звука не могла из себя выдавить. Однажды мать отправила ее — хоть и такую

робкую — в Микулаш за кожей на сапоги. Воротилась она без кожи, но с неожиданной новостью: один работник с кожейтнн обещался раздобыть кожу и принести ее сам, потому как все равно у него дела в этом крае. Пришел он две недели спустя с готовыми сапогами. Тера вся разругмнянлась. Мать тут же заприметила, что дочь не робеет перед ним, как перед другими, бывало, а напротив, заглядывает ему в глаза, ловит каждое слово, точно чувствует своим девичьим сердцем, что в жизни ее случится особое. Оно и случилось. Смуглый кожевенник предложил Тере пойти за него. Мать и слышать не хотела об этом. И не потому, что Тера была бы первой девушкой из нашего края, собравшейся выйти замуж в Липтов<sup>1</sup>, она никак не могла представить себе, что дочь ее станет женой кожевенника. Газда — это все-таки газда, пусть у него даже самый крохотный клочок земли. Но Тера слышать ничего не хотела, и матери так и не удалось разорвать эту непонятную связь. Свадьба была невеселой. Но тем веселее была жизнь молодых. Им, пожалуй, и голубок с горлицей могли бы позавидовать. В конце концов и мать смягчилась, стали они навещать друг друга. После каждой встречи тетка Мацухова становилась все улыбчивей, пока совсем не повеселела. Нет-нет да и сорвется с губ похвала зятю из Микулаша. Он считался хорошим работником, а уж человеком — лучше и не сыскать. С некоторых пор тетка стала поговаривать, что хозяйство еще не все: куда важнее сердце, разум да работающие руки.

— И вправду наука мне теперь на всю жизнь,— повторяла она,— оттого и тебе все толкую: не отчаивайся, крепись. Даже из-за сына не извожу себя я печалью. Во мне не то что одна вера — целых сто: придет он с войны. Уверуй и ты, сразу тебе станет легче.

— С этим я уже давно справилась, только матери с малыши детьми куда тяжелей.

Я шла, не отставая, за плугом, вдоль распаханной борозды. Колупала дареное яичко, а ветер уносил скорлупу. Черные кудряшки прыгали у меня по спине, о колени бился подол сборчатой юбки.

На меже мы остановились, стали поворачивать плуг. Корова меж тем потянулась к вязанке сена на меже, и из ярма высочила правая притыка<sup>2</sup>.

Пришлось остановиться, и тетушка принялась снова запрягать корову.

Тут забили колокола в городе, а следом в двух соседних деревнях. Густой перезвон неся через ложбины полей, возвещая полдень.

---

<sup>1</sup> Липтов — край в северной части Словакии.

<sup>2</sup> Притыкой запирается ярмо.

— Да уж не впрягай,— сказала мама,— зададим им сена и сами отдохнем, пополдничаем, коль время пришло. С утра мы с тобой в работе — заслужили, небось.

Мы сели на бугорок завтракать. Перед нами лежала долина, по которой змейкой тянулась дорога, окаймленная канавой и кустарником. На ней послышался топот копыт, хотя телеги еще не было видно. Только какое-то время спустя показалась господская коляска.

По берегу, прихрамывая, шагал Петрань с мотыгой на плече. Ногу покалечило ему когда-то давно на лесопилке циркулярной пилой. Он шел, погруженный в свои думы. Вдруг за спиной загрохотала коляска; он точно очнулся от своих мыслей и стал усердно кланяться. Только чуть погодя он заметил, что коляска пустая. В ней сидел один кучер в зашнурованном кафтане. У кучера даже губы растянулись в улыбке, когда он увидел, как Петрань бьет поклоны: того и гляди, пополам переломится.

— А ну как паны его не услышат,— раздражается тетка Мацухова смачным заразительным смехом,— хвастается, что они вот-вот в бары выходят. В костеле Петраниха с дочками на господских местах рассиживает, когда там господ нету, а как панская коляска на дороге покажется, старикашка чуть носом землю не роет.

Тетка Мацухова смеялась так громко, что Петрань оглянулся, сконфуженно втянул в плечи голову и заковылял вдоль берега. Нарочно сошел с межи, чтобы с нами не встретиться.

Но у тетушки кровь играет, покоя не дает.

— Эй, Цирилка, чего нас обходишь? — кричит ему.— Хоть мы и не в коляске, а поклониться нам не грех...

Петрань и бровью не повел, только ускорил шаг и замелькал в просветах кустарника вдоль межи, точно за ним кто-то гнался.

— Цирилка, не брезгуй мной,— ворковала елейным голосом тетушка,— чего доброго, еще пригожусь: у тебя небось четыре дочки на выданье, а у меня сын. Не засидеться бы им в девках, у Библии зятя не вымолишь...

У Петраня голову из плеч так и вышибло. Злобно засопев, он швырнул в тетку Мацухову мотыгой.

— Ну ж и веселая пахота,— сказала она, увидев как мотыга, выскользнув из рук Петраня, едва перелетела между.

Петрань изо всех сил старался побыстрее убраться с глаз озорной тетки Мацуховой.

Дойдя до своего поля, он стал ковырять у канавы мотыгой, а тетка Мацухова шепнула маме, что у него все посевы в лужах. Кто-то, якобы по злобе, направил на его поле воду из ручья.

— Я-то знаю кто,— подмигнула она маме,— сама видела.

Она пригнулась к маме и с удовольствием шепнула, что сделал это барабанщик Шимон Яворка. Уж верно, из-за тех серег, что Петраниха за кило муки вытянула из ушей его крестницы.

Урожай в этот второй военный год выдался на редкость богатый. Ветер с трудом колыхал затяжелевшие колосья. Поля пожелтели, точно кто осыпал их золотом. А стали жатву свозить в риги, возы так и трещали под грузом громадных снопов. В молотьбу на токах раздавались даже песни. Народ радовался, что хлеба наконец будет вдоволь.

И наша мама, повеселев, молотила. А то вдруг отложит цеп и станет пересыпать в ладонях зерно, точно самую большую драгоценность, налюбоваться не может. И холод, должно быть, ей нипочем, тепло становится от одной мысли, что сберегла все же хозяйство и, главное, поле на Брезовце, спокон веку такое обильное и благодатное.

Мамину радость, как никто, разделял Матько Феранец. Частенько бросал он в эти дни работу на городских панов и прибегал к нам помочь с молотьбой.

— Зерно, оно дороже денег, хозяйка, — твердил он, и добрая, чуть приметная улыбка освещала его лицо. — Знатный хлебушек из него выйдет. Я бы целый каравай проглотил — у меня даже слюнки текут. Настоящего-то хлеба я уж и не припомню, когда ел. Паны в городе думают, что бедному человеку всякую дрянь можно скормить.

Пока мельники не стали молоть зерно нового урожая, мы ели хлебные лепешки. А на рождество мама испекла нам и Матько большой каравай. Матько расчувствовался и запел хвалу караваю — пахучей корке да ямочке посередке.

— Да вознаградит вас господь сторицей за ваше добро. Дождаться бы только вам письма от хозяина.

Мама вздрогнула. Летом, пока трудились в поле, она забывалась. Но как пришла осень, она все чаще оставалась одна, и тоска не давала ей покоя. Только думала она, никто этого не замечает. А слова нашего Матько будто пробудили ее ото сна. Тут она поняла, отчего он иной раз, прислонив к овину цеп, подходил заглянуть с пристенья в горницу — в полдень мама обычно поджидала у окна почтальоншу Верону. А оправдывалась тем, что идет приготовить еду. Но Матько, видно, не верил. И в самом деле, мама никак не могла дожждаться весточки с фронта, и чем ближе было к рождеству, тем нестерпимей становилось ее ожидание. В прошлое рождество она надеялась, что отец вернется, нынче ждала хотя бы письма.

— Два словечка, не более, — сказала она, горестно ломая руки, — да хоть одно-разъединственное: жив.



— Вы совсем изведетесь с этим письмом,— упрекнула ее Бетка и вышла из горницы.

Мы слышали, как она рубит в сарае дрова, как с силой всаживает колун в чурку, словно дрова были повинны в том, что ей уже нельзя ни попеть, ни посмеяться, что детство ее безвозвратно уходит в несправедливых страданиях, которыми война придавила людей. Мы даже в горнице слышали, как она распекает с досады, словно кому-то назло. У Бетки был сильный, звучный голос, она была большая охотница петь. А вот нужда и тревога за отца отнимали у нее самые счастливые дни юности. Поэтому мама иной раз заставляла себя смеяться, чтобы хоть так возместить нам то, чем обделило нас тогда время.

И на это рождество Матько с бабушкой с верхнего конца срубили нам елочку. Убранная, стояла она у окна, и свежая ее зелень пробуждала в нас мечты о том, о чем мы и думать не смели весь год. Радость Матько при виде подарков, которые приготовила ему мама, передалась и нам.

Всякий раз, заглядывая под елочку, я представляла себе, что там под нижними ветками полным-полно самых разных игрушек. Как-то осенью тетка Верона взяла меня с собой в средний замок. Мне позволили одним глазком заглянуть в детскую. Целое полчище кукол, колясочек, тележек, блюдец, горшочков, зверюшек ослепило меня. Большой конь-качалка стоял на полу, у корзины лежала кошечка, точь-в-точь как живая, не различишь. С тех пор мне часто это снилось.

Верона сказала мне тогда, что все эти игрушки принес в замок Ежишко. А носит он подарки только хорошим детям, об этом все говорили. Вот и засела в мою головку-маковку мысль: почему же это на небе решили, что дети из замка лучше, чем мы?

От этой мысли я совсем потеряла покой, и когда однажды тетка Верона позвала меня отдать ленту, отпоротую от нарядного фартука, который она носила еще в служанках, я спросила ее об этом.

Но Верона ничего не объяснила, только знакомой шершавой рукой откинула мне волосы со лба и сказала примерно так:

— Много знать хочешь, а время твоё ещё не пришло — того и гляди, головка кругом пойдёт. Вот подрастешь, глаза у тебя сами откроются.

Но всё равно у меня из головы не выходила детская в замке с полным коробом игрушек. Ночью все эти куклы приходили оттуда ко мне. И я не могла наглядеться на их черные волосики и голубые, точно цветы льна, глазки, на желтые волосики и черные, как сливы, глаза. А одна моргала ресницами и говорила «мама». Как-то в порыве огромной любви я нежно прижала ее и вдруг проснулась.

И на душе у меня стало так же тоскливо, как, верно, бывало и маме, когда она битый полдень просиживала у окна, а тетка Верона с почтальонской сумкой на боку проходила мимо нашего дома.

Не только я, но и каждый из нас таил в себе великое ожидание, которое должно было сбыться в это второе военное рождество. Мы были такими же, как и все дети на свете, и, разочаровавшись однажды, не отказались от новых надежд. В канун сочельника беспрерывно валил густой снег.

Мама сказала, что эти снежные хлопья большие, как воробы. И в нашей фантазии снежинки, даже самые крохотные, тотчас обратились в птенцов. Мы глядели из окон, как они, поднятые ветром, несутся над крышами, обгоняя друг друга.

Дорога почти опустела.

И вдруг мы заметили, что кто-то свернул с нее к нашим мостикам над ручьем. Вглядевшись получше, мы узнали тетку Верону. Она, припадая на хромую ногу, перебиралась через сугробы, а на боку у нее подпрыгивала почтальонская сумка.

Мама вскочила с кушетки и взглядом устремилась к двери. На этот раз только взглядом — ноги не слушались, отяжелели, словно закованные в кандалы.

Верона постучала, нажала на щеколду и вошла в дом. Платок у нее был весь запорошен снегом, лицо в испарине от напряженной ходьбы. А средь крупинки пота светилась улыбка.

Она открыла кожаную сумку, достала белый четырехугольный конверт и, протягивая нам, сказала:

— Из России!

Мама вскрикнула:

— Дети, детоньки!

Подбежала к Вероне и трясущейся рукой схватила конверт. Сперва прижала его к сердцу, потом кинулась к окну, чтобы получше разглядеть. Нет, никакими словами не передать ее счастья. Какое у нее сделалось лицо, когда она открывала конверт! Поначалу только бегло пробежала глазами, потом стала читать вслух и себе, и нам, и Вероне.

Мы тихо стояли, оглушенные радостью. В эту минуту нам стало так легко, будто минуло все злое на свете, будто кто-то поднес нам необыкновенного волшебного зелья.

Слово за словом врезалось в тишину горницы. Мы узнали, что отец цел и невредим, что в первых же боях русские взяли его в плен и что живет он теперь в том краю на Востоке, о котором мама после гадания цыганки Ганы порой все-таки вспоминала.

Неожиданную весть тетка Верона разнесла по деревне. Люди сразу смекнули: Пятака подговорили Ливоры, чтобы он наболтал маме, что муж ее погиб на войне. Так-то куда проще



было ее обобратить: ведь одной вдове не управиться с полем. А мама не сникла, все выдержала. Оттого с такой горячностью она прижимала к себе письмо от отца. Оттого снова и снова читала его, зная, должно быть, каждое слово уже наизусть.

Глаза ее теперь уже сами смеялись, и ее мысли, как металл с металлом в плавильне, сливались с тем далеким краем, что звался Россией. И ей чудилось, что там, в России, она вкладывает руки в ладони отца и клянется ему, что отныне понесет свой крест с легкой душой, а если понадобится, так и жизни своей ради нас не пожалеет.

Для нас это было самое светлое рождество в жизни. Ни о каком подарке, ни о какой иной радости мы, дети, уже не думали.

За ужином письмо лежало рядом с молитвенной книгой. Дорогие строчки отца, какой это был удивительный бальзам!

А когда настала пора спать, мама взяла письмо и заперла его в зеленый сундук. Верно, боялась, как бы какой-нибудь вор не пробрался к этому драгоценному кладу.

Уложив нас в постель, она потушила лампу. Во тьму комнаты с дороги и со двора, занесенных свежим снегом, проникал белый свет.

Мама тоже улеглась, и дом затих. Сон смежил нам глаза. Теперь можно было уже спокойно спать до утра.

И вдруг ночью нас разбудили легкие шаги по горнице. Мы увидели, как мама зажгла светильник и поднесла его к зеленому сундуку. Она, должно быть, еще раз хотела увериться, что это не сон. Она достала четырехугольный листок и снова стала читать слово за словом. Это не был сон. Она крепко держала в руках письмо от мужа.

Улыбчивое, счастливое лицо. Оно светилось таким же ясным светом, как и зажженный светильник.

Ни хлеба, ни тепла в горнице у нас не прибавилось, но с тех пор, как пришло письмо от отца, нам стало, по крайней мере, веселей. Одна мысль, что он жив, давала нам силы.

А хлеба ничуть не прибавилось, хотя урожай был на редкость хороший. Зерно отбирали для армии. Солдаты ходили по дворам и переворачивали все вверх дном. Даже тыкали штыками и саблями в сено — нет ли там тайника со скрытым товаром. Забирали все, что только попадалось под руку. Окрестные деревни придавило новой бедой.

До нас доходили слухи, что и на фронте неладно с удовольствием. В это было трудно поверить, но и очевидцы подтверждали, что это именно так. В ближние деревни стали возвращаться тяжело раненные, они рассказывали о положении в армии.

В соседнюю деревню Еловую тоже воротился бедный кре-

стьянин Яно Дюрчак. В этой небольшой деревеньке дома выстроились вдоль петливой дороги. Пересекал ее быстрый горный ручей, бравший начало под самой вершиной горы Хоч. Берега ручья буйно зарастали лопухом с огромными раскидистыми листьями. Вода на камнях, переливаясь, искрилась мелкими брызгами, точно кто бросил в нее горсть живого серебра. Яно Дюрчак жил как раз в домике за ручьем.

С войны возвратился он с простреленной грудью. Он и раньше не отличался особенной статью — был низкорослый, узкий в плечах, худощавый лицом. После ранения в грудь его еще и скособочило, а в госпитале на излечении он усох точно щепка. Домой пришел калека калекой, хуже Пятака. И все же люди говорили, что такого, как он, днем с огнем не найдешь.

Он рассказывал обо всем не таясь. Как-то наведались к нему жандармы, предупредили пока по-хорошему: пусть, мол, кончает свои разговорчики. Он усмехнулся им прямо в лицо, искривленный, с изуродованной рукой. Ничего худшего уже не могло с ним случиться. Чем же еще можно было его запугать? Он им так и сказал: закон, мол, карает за ложь, за обман, а все, что он говорит, такая же сушая правда, как и то, что у него теперь беспалая рука.

Людям нравилась его смелость.

Со всей округи приходили к нему жены, матери, невесты, отцы, сыновья, спрашивали, не повстречал ли он на войне их близких. Яно Дюрчак охотно отвечал на вопросы. Народ валом валил к его дому.

У тетки Порубячихи муж тоже был на итальянском фронте, откуда воротился Дюрчак. Она уговорила маму, и они вместе отправились в Еловую.

Дойти туда было не трудно. Дорога почти вся шла по долине, петлявшей между гор. Вдоль нее по откосам густо произрастала рябина, какой в округе нигде больше не было. В ту пору стояла она, запорошенная снегом, но летом украшали ее оранжево-красные гроздья. Мы рвали ягоды и делали из них бусы. Иной раз удавалось нанизать и по четыре нитки. Нам, обескровленным, бледным, они были необыкновенно к лицу. Однажды девочки сплели из них мне венок, в нем я и прибежала домой. Красная рябина пламенела в моих черных как смоль волосах. Мама в тот раз долго-долго сжимала мою голову в ладонях, любовно оглядывала меня и хотела было что-то сказать, но сдержалась, только щекой прильнула к моему лбу.

Собираясь с теткой Порубячихой в Еловую, мама вспомнила о рябине и сказала, до чего, мол, она мне к лицу.

— Ну, дети,— улыбнулась она,— как кончится война и отец вернется к нам невредимый, я куплю вам всем такие красные бусы.

— Настоящие? — оживившись спросила Людка, и, когда мама кивнула в ответ, глаза у нее вспыхнули как горящие угольки.

Тетка Порубячиха тут же добавила:

— Уж, верно, конец не за горами. Сужу хотя бы по тому, что говорит Яно Дюрчак. Какая уж там война, коли нет хлеба, нет оружия? Не успеют малые птахи море перелететь, как вы дождетесь красных бусинок. А ежели вам мама не купит, у нас всегда найдется для этого грошик-другой. Сама куплю вам. Каждой по четыре нитки. Это богу будет угодно не меньше, чем если я пожертвую ему в костеле за избавление от войны.

Нас распирало от радости — у нас будут красные бусы, и мы с сияющими лицами провожали маму и тетку Порубячиху до самых наружных дверей.

Закутанные в тяжелые шали, они медленно побрели по дороге, увязая в сугробах.

Путь до Еловой недолог, каких-нибудь полчаса в летнее время, но на этот раз он занял у них более часу — ветер намет на дороге высокие снежные сугробы. Капцы, юбки промокли у них до самых колен, от изнурительной ходьбы вспотели головы под тяжелыми шальями.

Они были рады-радехоньки, когда доплелись наконец до дома Яна Дюрчака и смогли отдышаться.

— Ну, рассказывайте, — прямо с порога попросила его Порубячиха. — Своими глазами все видели — это главное. Поэтому мы к вам вдвоем и пришли. У соседки муж на русском фронте, у меня — на итальянском. Да какая тут разница, один черт небось. Ну скажите, как там было, на итальянском?

Дюрчак, открыв рот, собрался было ответить по-своему, спокойно и рассудительно, но тетка Порубячиха сама выплеснула все новости, какие окольным путем дошли до нее из его же рассказов. Она пристально глядела на этого сухонького человечка и говорила без умолку — язык ее никогда не знал покоя.

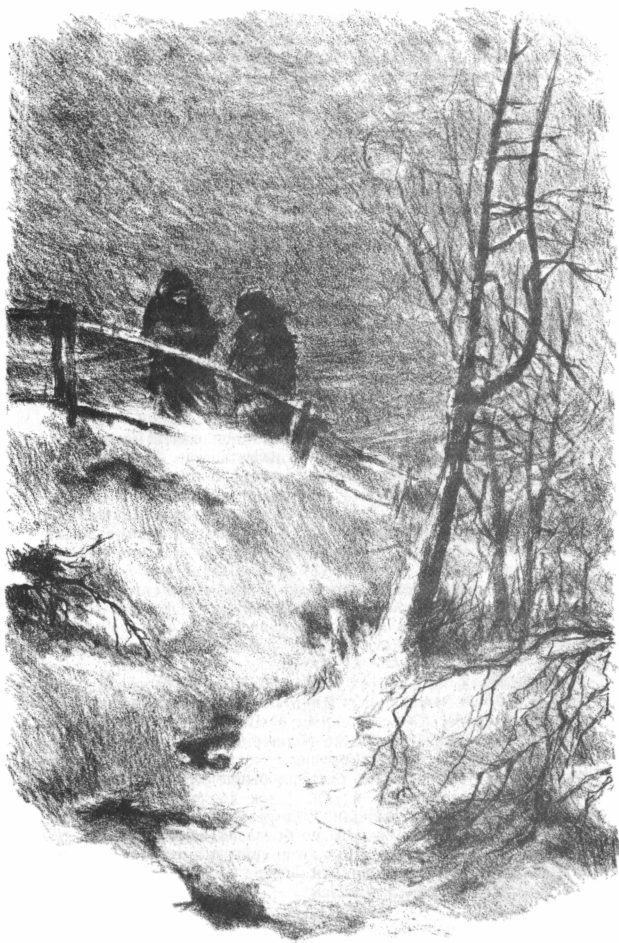
— Слышать, на фронтах голодают. Правда ли это, Яно? — И сама тут же ответила: — Да и откуда там взяться хлебу, когда тут его нет. Откуда, скажите? Ведь эти-то господа, что драку затеяли, тоже, поди, не волшебники!

Тут заговорил и Яно Дюрчак:

— Ясное дело, чудес на свете не бывает. Иной раз крошки из рюкзака вытряхивали и ели. А уж до чего злились, если остатки хлеба крысы сжирали! Кишмя кишела эта нечисть. Да, бывали такие, что и крысами не брезговали.

У нашей мамы мороз по коже прошел, но она постаралась не выказать своего отвращения.

Тетка же вся передернулась.



— Бррр! — фыркнула она брезгливо.

Дюрчак только головой кивнул: что поделаешь, раз так было.

Тут вошла в горницу Дюрчакова сестра и поставила перед гостями жестяное блюдо с печеными яблоками. Она тоже была худая, но на голову выше брата. Она не улыбалась, но в лице ее было что-то очень притягивающее. Неопределенного цвета глаза уже издали ласкали человека. Платье на ней выгоревшее, на локтях ветхое. По нему видно, что живет бедно.

— Кушайте на здоровье,— угощала она,— обогрейтесь.

Мама улыбкой поблагодарила ее.

Тетка Порубячиха не переставала фыркать и гадливо дергаться.

— Ну, молчали бы уж о крысах, либо яблоками не угощали. Как же одно с другим вяжется?

Но она первая схватила яблоко и с аппетитом стала его есть.

— И как они войну собираются выиграть, ежели солдатам есть не дают? — продолжала мама прерванный разговор.

— Ну не то чтоб совсем не дают,— растолковывал Дюрчак, надкусывая запеченную шкурку яблока.— Не совсем, конечно. Каждому солдату выдали по две банки консервов на случай крайней нужды. Открывать их разрешалось только по особому приказу. Но нашлись и такие, что съели консервы, не дожидаясь приказа. Вот и наказали их — подвесили за руки на два часа. А тех, кто терял сознание, окатывали холодной водой. Только это страшное наказание не остановило голодающих. Хуже другое... Съешь консервы, а завтра опять голод душит. Вот так оно и шло.

— Боже праведный, ужас-то какой! — сказала мама.

— Ужас, ясное дело,— согласился он и, будто назло этому ужасу, усмехнулся.— А может, это так и должно быть, чтобы люди научились думать. Должен же, в конце концов, каждый задаться вопросом: «Кто виноват в том, что мы голодаем?» На войне быстро понимаешь цену тому, что нам священник с амвона напел: бог, мол, посылает войну в наказание за грехи наши. Как добрый христианин, ты пробуешь молиться. Пробишь каяться. Да что толку? Желудок все одно с голодухи урчит. Над головой пули свищут, перед окопами гранаты рвут землю, пушки лес крушат. А как стихнет все малость, найдется минута-другая поразмыслить, со стороны взглянуть на себя. Мешок костей да впалый живот, как пустая квашня. Что с того, если тебя и величают в армейских приказах солдатом австро-венгерской монархии. Веришь только тому, что видишь своими глазами. Мешок костей да впалый живот, как пустая квашня. И вот закипает в тебе злоба против войны и тех, кто ее выдумал. И начинаешь искать виноватого. Не сам я до такого додумался, соседки мои, но когда многие думают, так



многое и надумают. Один наш солдат нарисовал картинку: пузатый, оплывший жиром богатей. Удобно этак сидит в своей горнице и дымит пахучей сигарой. А в голове у него вместо разума дьявол. Этот-то дьявол и придумал для людей ад на земле. Придумал и войну эту проклятую. Картинка переходила из рук в руки. На ней только и было написано: «Ребята, кому нужен ад на земле?» Кто-то взял и приписал еще под этим рисунком твердой рукой: «Кто этот ад выдумал, пусть сам туда и катится!» Вот так, соседушки: вроде бы обычный рисунок да под ним несколько слов голодающих солдат, но кто в руках его подержал, поди, призадумается.

Женщины сидели почти не дыша. Мама с таким живым участием переживала каждое слово Дюрчака, точно видела своими глазами весь этот бессмысленный ужас, это проклятое пекло. Она содрогалась при мысли, что и ее муж, чистый, ни в чем не повинный человек, проходит по этому аду, только в другой стороне света.

Тетка Порубячиха взяла и второе яблоко, ела его, похваливая, с еще большим наслаждением да все дивилась рассказам Дюрчака. Чувства свои она выражала громко, то и дело подталкивала маму локтем, желая и в ней пробудить подобную живость.

— Ну и дела, ну и дела,— повторяла тетка.— Думала, вы только всего-то и скажете, встречали моего или нет, а вы тут вон сколько всего нарасказывали. Да и то небось малая доля того, что вам довелось пережить.

Было заметно, что Дюрчак утомился. Он на время умолк, доел яблоко, огрызок положил возле тарелки.

— И вы скушайте,— предложил он маме.

— Спасибо,— ответила мама и откровенно сказала, что охотнее возьмет одно яблочко детям.— Так уж у нас повелось: стоит мне уйти из дому, как они ждут не дождутся, с чем ворочусь.

Дюрчак тут же кликнул сестру, попросил принести еще яблок. Она тут же принесла их, и по всему было видно, что делает это от чистого сердца. Выкладывая яблоки на тарелку, она еще и обронила несколько добрых слов:

— Не сказать, чтоб с избытком, но в этот год, слава богу, они хорошо уродились. Особенно одна яблонька на задворках — такая уж щедрая. Берите, чем богаты, тем и рады.

Меж тем Дюрчак зажал в коленях коробок спичек — без пальцев иначе его не удержишь, а здоровой рукой вынул спичку и чиркнул по шершавому бочку коробка. Вспыхнул огонек, мерцающий неярким светом. Дюрчак, затянувшись, стал попыхивать трубкой. Дым вился колечками, то и дело застилая его лицо.

Женщины, набравшись терпения, ждали. Ведь и расска-

зывать все равно, что работать, а еще для такого изнуренного человека. Пусть хоть немного покурит, чуть отдохнет. Как ни верти, а Яно Дюрчак теперь калека калекой. Матько Феранец прав: хоть и кончится война, а женщинам все одно счастья не будет. Нашу маму тревожила мысль, что и отец мог бы воротиться таким. А уж какой был видный, стройный, сильный, здоровый. Не знал, куда девать силу. А что, если и у него вот так же скособоится плечо или кусок руки оторвет? Что, если и он останется, точно опаленное молнией дерево?

— Так-то людей уродовать! — разгневанно говорила мама. — Неужто иначе нельзя навести порядки на свете, только стрельбой?

— Отчего же нельзя. — сказал Дюрчак, затягиваясь трубкой. — Но порядки паны наводят по своему разумению. Вот оглядитесь вокруг, хотя бы на наши замки, что там за головы и какое в них разумение. Ни они, ни их прадеды ничего лучшего для нас не придумали, чем плетку, побои и горе.

— Да будет ли когда по-другому?

— Конечно, будет! — уверил женщин Дюрчак. — Мало-помалу набираются люди ума. И однажды придет такой час, когда человеку не захочется стрелять в человека. Со мной такое случилось в Италии. Немцы вытеснили итальянцев из одного леса и отошли, а наше австро-венгерское войско должно было гнать итальянцев дальше. Выступили мы, значит. Бегу я с винтовкой наперевес по лесу. Вдруг глубокий овраг — должно быть, пересохший ручей — преграждает путь. Озираюсь, думаю, как бы мне его перейти. Вижу перекинутое через овраг дерево. Вскрываю на него, делаю прыжок, другой. И вдруг — и теперь не пойму, откуда он там взялся, — вижу на дне оврага человека в итальянской форме. С ужасом, с ненавистью смотрит он мне в глаза, а в руке — наведенная на меня винтовка. Я тоже прицелился. Да только у обоих точно руки свело — не можем выстрелить, и все тут. На солдате итальянская форма, в руках итальянская винтовка, а глаза черные-пречерные, точно уголь. Никогда не забыть мне этого взгляда. Стою вот так над ним с винтовкой, не знаю о нем ничегошеньки. Враг, да и только. И все-таки мы побратались. Без слов, только взглядами поняли друг друга. Никто из нас так и не выстрелил. Довел я его до самых наших окопов. Там и рассказал он все про себя. Ну, оказался бедняком из-под Монте-Граппо. Даже клочка своей земли никогда не имел, только на других и батрачил. Кто знает, может, оттого и не стрелял я, что посмотрелся на того нарисованного брюхача, которого дьявол науськал сотворить ад на земле, кто знает... — Дюрчак дернул искалеченным плечом. — Подумал я да и спросил себя: «И зачем это я, бедняк из Еловой, воюю с винтовкой в руках против бедняка из-под Монте-Граппо?»

У мамы при этом рассказе так и сжалось сердце.

— И впрямь, какая нелепица! Должны же когда-нибудь открыться глаза у людей,— проговорила она.

Тетка Порубячиха встряхнула юбку, чтобы поскорее просохла, и спросила:

— А что же случилось с этим итальянцем, Яно?

— Что ж, скажу вам и это,— он притушил табак в дымившейся трубке и отер палец о штанину,— и это скажу вам. Лежим мы в окопах, а против нас итальянцы засели в таком же перелеске, как тут под Хочем. Мы не раз видели, как они снуют между деревьями. И вот как-то поутру — верно, дня через три — выбегает наш итальянец из окопа и бежать что есть духу к тому перелеску. Должно быть, потянуло его к своим. А те стрелять по нему. Откуда было понять им, что это их солдат бежит к ним по собственной воле. Так наповал и уложили его. И верите ли, голубушки, навернулась тогда слеза у меня. Пришлось изо всех сил крепиться, чтобы совсем не разнюниться. Была у него жена, дети. Верно, такие же черноглазые, как и он...

Дюрчак снова примолк. Так и сидел: трубка в зубах, голова, чуть склоненная набок. Будто раздумывал над тем, о чем рассказал. Потом поскреб ногтем крышку стола и заговорил снова:

— Там, в тех окопах, и меня изуродовало. Увезли в беспамятстве в госпиталь. А оттуда отослали домой. Какой им толк от меня, такого?

Тетке Порубячихе хотелось бы еще порасспросить о муже, да пора уже было собираться в дорогу.

— Ну, а моего-то там не встречали?

— Не довелось. Он в другом полку был. Но раз письма доходят, стало быть, жив. Всех-то не перебьют.

— Сердце у меня не на месте.

— Да и мое изболелось,— вздохнула мама.

Дюрчак обернулся к ней:

— А ваш на русском фронте, так, что ли?

— На русском. В плен попал. На рождество как раз письмо пришло. Я уж и ждать перестала. В плену-то, поди, не так тяжко. Не случилось бы только как с тем итальянцем. Вдруг захочет к своим возвратиться, а тут вдогонку пуля, другая, третья... точно дождь. Дома-то жена, дети... О-ох, и думать об этом страшно. Дети, жена... черноглазые...

У мамы тоже были такие черные глаза, может, поэтому она и повторяла слова Дюрчака.

— Что ж, держаться надо,— подбодрил он ее, — ничего другого не остается.

— Знаю,— твердо сказала мама.

Женщины поблагодарили Дюрчака за добрые слова, за

яблоки и отправились в обратный путь. И снова побрели по глубокому снегу, увязая в сугробах.

Дома яблоки поделили меж нами. Братiku досталось два — пусть быстрее растет, а то все еще пешком под стол ходит.

Тетка Порубячиха выбрала румяное-румяное яблоко и приложила к моим бледным щекам: вот какой положено быть детской рожице. Что ж, они и были бы у нас такие, если б не война да не зло на земле.

А зло в ту военную пору и вправду непомерно росло. День ото дня чувствовали мы его все сильнее. И нельзя было его обойти.

Вскоре пришло второе извещение из банка. Снова требовали от мамы уплаты процентов и просроченных взносов. Угрожали даже торгами.

Пока мама вертела в руках проклятую бумажку, мы все выпрашивали у нее, что такое торги.

— А это...— она с трудом искала ответа,— а это, когда приедут чиновники из города, опишут все, что только можно... продать, после на торгах продадут другим людям. Останемся мы без крова над головой, без коровы в стойле, и, уж конечно, не видать нам ни капли молока. А самое страшное, что придется уйти из дому и впустить тех, кто купит его.

Мама, притихнув, стояла посреди горницы, взгляд ее был устремлен куда-то далеко-далеко сквозь замерзшее окно.

Мы тогда были еще совсем маленькие. Из слов многого не понимали, а скорей угадывали, как по картинке, по мамину печальному лицу. Я не любила горестных лиц, мне приятнее было смотреть на улыбки и глаза, в которых таилась лукавинка. Мама это знала и оттого так часто притворялась веселой. Но такое притворство убеждало еще только братика. Нас, старших, она уже не могла обмануть. Иной раз и нам, глядя на маму, становилось тяжело на сердце, и мы тоже пробовали включиться в эту игру, скрывая от нее свои детские горести. В такие минуты я чаще всего приглядывалась к Бетке и подражала ей. Она обычно сердилась, а мне это удавалось с трудом. Куда милей было, тесно прижавшись к маме, подбодрить ее нежным, любящим взглядом.

Когда мама прочитала бумажку из банка, Бетка просто позеленела от злости и сказала:

— Пусть хоть режут меня — ни шагу из дома не сделаю.

— Да,— кивнула ей мама,— милое дело задумали, отец на войне, а детей выгнать на улицу! Но тут хоть криком кричи с утра до ночи — ничего не поможет. Лучше нам пораскинуть умом. Пойду посоветуюсь к дедушке с бабушкой, а то, может, и дядя Данё Павков скажет дельное слово. Человек он бывалый, побродил по свету немало.

В эту минуту, как бы на мамин зов, вошел дядя Данё с починенным капцем для средней сестры Людки. Он подошел к нему подошву. Капец казался новехоньким, когда Данё поставил его в углу горницы у дверей.

Он тут же заметил наши вытянутые лица.

— Еще что стряслось? — спросил он. — Вид у вас, словно только что с креста сняли.

— А может, и хуже. — Мама шагнула к нему навстречу. — Банк прислал новое извещение, даже торгами грозит. Хуже всего, что нет денег.

Дядя Данё хорошо знает, каково человеку в таком положении. Испытал все на собственной шкуре. Вот так же лишился и дома и последней земли. Только ему было легче — детей не было.

— Что плохо, то плохо, — соглашается он, почесывая затылок.

— Нынче, должно быть, о хорошем-то и не слышать, — замечает мама. — Но хотя бы подумали о тех женщинах, что маются всю войну без мужей с малыми ребятишками. Только им, видать, все одно. Только и знают: стреляйте, умирайте, страдайте. Ну, Данё, — она поглядела на него большими черными глазами, — скажите, что делать?

Он хмыкнул и огрубелыми пальцами снова поскреб в волосах, только теперь уже надо лбом, даже баранью шапку сдвинул на самый затылок, чтобы легче думалось.

— Что делать, спрашиваешь? М-да, тут такое приходит на ум, что каталажкой пахивает. В такие-то проклятые времена, пожалуй, иного выхода нет, как только ограбить кого и раздобыть нужные деньги.

— А я вот как рассудила немудрящей своей головой: схожу-ка я в этот самый банк да и попрошу их дать мне отсрочку. На коленях перед ними унижаться не стану, а скажу как есть, в каком я положении. Ведь они тоже люди, Данё.

— Да вроде бы должны ими быть, — соглашается он, — но, право, не знаю, уломаешь ли их. А твои-то что тебе говорят?

— Вот как раз к ним собираюсь. Денег у них тоже нету, я знаю. Да все же на душе полегчает, когда посоветуюсь с ними.

Мама тут же собралась и ушла к бабушке с бабушкой.

Данё Павков меж тем остался у нас, чтобы нас позабавить. Обещал рассказать нам сказку. Подсев к теплой печи, грел озябшие руки. Потом велел Людке принести от дверей капец, посадил ее к себе на колени и надел ей его на ногу.

— Хорошо, — говорит Людка.

— А как же иначе! — Дядя поглаживает обувку по голенищу, чтобы доставить девочке радость.

— А теперь — сказку.

Мы пристаем к нему, не можем дождаться, когда он начнет рассказывать.

У Данё в глазах притаилась усталость: всю ночь, не смыкая глаз, он работал. Люди обносились до нитки, только и знай, ставь латку на латке. Известное дело: латаное тут же и рвется. Целый воз мог бы он этой дранины набрать — столько всего накопилось. Одна обувка хуже другой. Ведь это уже и не капцы, а так, решето какое-то. Не обувь, а ворох заплат. А главное, скоро и шить будет нечем. Ни иглодок, ни ниток. Ладно еще, лен уродился. У кого есть, сучит дратву из самодельных нитей. А у кого нету — беда.

Вот о чем думает Данё, привалившись спиной к теплой печи. Дома-то особенно топить ему нечем. Хорошо еще, что может погреться у нас. Собственного леса у него нет, только так украдкой натаскает себе осенью чужого хвороста. А теперь в войну и обувь шьет состоятельным людям в обмен на дровишки, уж такой уговор между ними. Столько-то полешек за целые капцы, столько-то чурок за починку. А чтоб не умереть с голоду, в последнее время шьет, в основном, за муку, за картошку, молоко, а решится попросить сала, так уж и сам считает это особой дерзостью. Он хорошо знает, у кого что попросить и чем кому прореху зашить.

— Дядя Данё,— теребим мы его, чтобы занялся нами.

— Сейчас, мои умники-разумники,— останавливает он нас.— Нынче у меня мыслишки, словно зернышки в маковой головке пересыпаются. Соберу-ка я их ради вас в горсточку, а то уж давно мне в работе недостает — рассказывать вам.

Стали и мы у теплой печи, собрались слушать. Бетка разгребла кочергой угольки и подкинула несколько шишек, чтоб огонь не погас. Шишки горели, трещали, огонек весело улыбался сквозь железные створки.

— Ну же, дядя Данё,— не отстаем мы от него.

— Да, да,— он приходит в себя, преодолевая усталость,— расскажу вам, расскажу сказку, детишки-воробышки. Только мне надо малость подумать которую. Надо умом собраться, тогда получится сказка всему свету на диво, и у вас от любопытства глазенки станут, как блюдца.

Братик завертел головой, надул губы и сказал:

— Не хочу, чтоб как блюдца...

— Ну, как ягодки терна. Они-то хороши небось.

Утешая малыша, Данё ворошил ему волосы, рука была черная от сапожного вара, каким натирают дратву.

— Так какую же? — нетерпеливо спрашиваю я.

— «Какую, какую!»! Говорю же вам, что сказки так просто из мешка не вытряхиваются. Мне подумать надо, а для этого время требуется. Давайте сделаем так: вы будете считать, ну хотя бы до ста, а я тем временем что-нибудь да придумаю.

Только уговор — считать вы будете про себя, чтоб меня не сбивать. И тихо-тихо, чтоб было слышно, как мы дышим.

Сбились мы у печи. Считать до ста могли только старшие сестры.

Мы с братиком притихли, слушая свое и чужое дыхание.

Данё, закрыв глаза, дышал громче всех. Минуту спустя, уронив подбородок на грудь, он стал похрапывать. Высокий чистый лоб его увлажнился, на нем поблескивали крупинки пота. Щеки стали постепенно розоветь.

Он уже забылся глубоким сном, когда Бетка досчитала до ста и крикнула:

— Сто!

Но Данё даже не шелохнулся — он спал как убитый.

Мы стали тормошить его:

— Дядечка, сто! Уже сто!

Он пробуждается ото сна с трудом, точно приходит в себя после обморока. Лицо у него помятое, угрюмое. Но вот он очнулся и улыбается нам, точно сквозь какую-то пелену.

Мы спрашиваем:

— Ну что, придумали?

Он зеваёт, машет рукой:

— За такое короткое время только коротенькое можно придумать. Не трогали бы вы меня еще малость.

— Ну коротенькое рассказывайте! — никак не отстаем мы.

— Ладно, — кивает он, — послушайте загадку, кто отгадает, тому капцы залатаю.

Каждому хочется отгадать, и мы наостряем уши.

Данё говорит:

— Латка на латке, а шва не видать. Что это?

Мы разочарованно тянем в ответ — это нам уже давно известно:

— Лу-ко-ви-ца-а!

— Да, это, видать, не про вас. Ну погодите тогда, сорванцы. Что это такое? Чем больше из него берешь, тем больше оно становится.

Бетка относится к этому недоверчиво:

— Такого на свете не бывает.

— Почему же это не бывает, моя умница — пестрая курица?

— Не бывает, и все! — упрямится Бетка.

— Ха-ха! Яма это! — Дядя Данё заразительно смеется.

И мы смеемся всюду: ну и обставил он нас. Только Бетке не до смеха, она пристыженно уходит на кухню и там неистово грохочет посудой. Наверное, злится.

Больше всех загадка нравится Юрко. Он прыгает, точно кто посадил его на лошадку, и верещит:

— Яма это, яма, умница — пестлая кулица.

Облокотившись о Данёвы колени, он ладошками подпирает

подбородок. И во все глаза глядит на дядю Данё, на его губы — ждет не дождется сказки.

— Ну, дядечка, сказку,— умоляю я,— ну хоть малюсенькую, вот такую! — Я показываю на ноготь мизинца.

— Ох ты, светлая головушка,— почерневшей ладонью он похлопывает меня по щеке,— тебе бы только сказки слушать, ни есть, ни пить, а без сказки не прожить. Ну ладно, слушайте.

Он сам себя взбадривал: ночная работа вконец изнурила его. Но он знал — раз уж пришел к нам, без сказки от нас не отделаешься. И он начал:

— А было это там, где никогда не было. За тридевять земель, в тридесятом государстве, где пески текут, а вода сыплется. Жил-был там царь, и были у него несметные стада коров и сто бочек чистого золота, и все это сушая правда. Царь был не только богат, а умен и могуч. И отдал повсюду такой приказ: кто превзойдет его в силе и мудрости, тому отдам он полцарства. Какие только силачи и мудрецы не являлись к нему во дворец, но так никому и не удалось одолеть его. Вдруг, откуда ни возьмись, заявляется на царский двор батрак — в постолах да холщовой рубаше. Сперва посмеялись над ним, а потом оробели. Батрак одолел царя во всех испытаниях, и осталось ему последнее, самое тяжкое. Надо было пройти сквозь громы и молнии от замка до края земли и воротиться назад. Не было человека, чтоб вышел живым из этого испытания, но батрак не испугался. Что ж, коли так, изволь, молвил царь. И тут же следом зашумела страшная буря. Громы-молнии ливнем сыпали с неба. Буря сотрясала землю, да так, что и минуты нельзя было устоять на ногах. Того и гляди, сметет батрака. А батрак присвистнул, вскочил между молний и давай перебирать ногами, да так ловко, что ни одна молния не угодила в него. Крутился батрак, вертелся, вскакивал, отскакивал, перепрыгивал, приседал — добрался-таки до края земли целехонький, а оттуда таким же путем воротился назад. Ничего царю не оставалось, как признать батрака победителем. Отдал он ему полцарства и попросил еще раз исполнить на царском дворе невиданный танец, который так лихо выплясывал он среди громов и молний. Долго не пришлось уговаривать батрака. Свистнул он молодецким посвистом и пошел в пляс. И весь царский двор наглядеться не мог, как он пляшет, как отскакивает от земли, как перебирает и притоптывает ногами. То был танец всем на диво, и прозвали его люди одземок<sup>1</sup>.

— Одземок! — Мы едва дышали от удивления.

— Именно, дети, это был наш одземок, и первый сплясал его тот самый батрак, который увертывался от молний.

---

<sup>1</sup> Одземок — словацкий народный танец вприсядку.



Тут вдруг Юрко выбегает на середину горницы, приседает и давай перебирать ножками — он видел не раз, как это делают взрослые. Одну ручку заложил за голову, пальцы другой сунул в рот и силится свистнуть. Да вот беда — не выходит.

— А ты вот как,— учит его Данё,— положи пальцы в рот, прижми язычок и свисти, козявка-малышка...

Но ни сплясать, ни засвистеть Юрко еще не может. Хорохорится, чисто воробушек при первом полете. Но нам всем делается весело, а дядя Данё и вовсе доволен. Уж он-то знает, как кипит в нас кровь, когда мы слушаем его сказки. Людка тоже расходитя. Подбоченившись, приплясывает, подражая тому батраку, что увертывался от молний.

— Так, так,— одобряет дядя Данё,— в общем-то, похоже, только надо еще сноровистей.

Мне не хочется танцевать. Опять совсем другое вертится у меня в голове после Данёвой сказки. И как только умудрился батрак увернуться от всех громов и молний?

Данё поводит плечами, призадумывается.

— Так ведь это же, девонька моя, не обыкновенный батрак.

— А какой же?

— Добрый молодец,— гордо заявляет он.

— А где такие растут?

— Где хочешь, только редко. Вот и твой братишка может стать добрым молодцем. Гляньте-ка, как он отплясывает.

Мы веселились, а мама тем временем держала путь к дедушке с бабушкой. По дороге заглянула она к тетке Порубячихе. Прошла задворками мимо раскидистой старой липы. Ветви ее клонились к земле под тяжелыми снежными шапками. На одной такой ветке недвижно сидела нахохлившаяся ворона. А может, обессилив от голода, она примерзла к дереву. Возле липы в иную пору шумно плескался ручей, теперь он молчал, точно заколдованный под толстым слоем льда.

Порубяков дом был огорожен забором из тесаного штакетника с драночными стрешками. Двор замыкался резными воротами. Дом был просторный, всегда свежевыбеленный. С двух сторон тянулись небольшие ровные луговины, а на задворье начинался большой фруктовый сад.

Тетка Порубячиха была независимого, твердого нрава. С первого же взгляда было ясно, что родом она не из нашей тихой деревни. В облике ее было что-то орлиное, а в характере уживались гордость и прямота, суровость и решительность. Все это придавало ей особую силу. Наверное, она не утратила бы схватиться и с волком. В общении с людьми она не всегда была рассудительна, часто приходила в ярость. Глаза ее так и метали искры. Но порой они бывали и тихие, а взгляд глубокий, душевный. Тогда я вспоминала глаза

раненой серны, на которую наткнулись мы в Диком Лазе, когда сушили сено. Серна так жалобно и так зазывно смотрела на нас, что я долго не могла забыть ее взгляда. Но всякий раз, когда мы пытались приблизиться к ней, глаза ее загорались буйным вызывающим огнем. Что-то подобное чувствовала я и в тетке Порубячихе.

Она сама любила рассказывать, как в первый раз повстречалась с Порубяком. В Дубраве тогда были танцы. Из-за нее, рослой, красивой смуглянки, среди парней завязалась драка. Музыканты перестали играть, корчмарь спрятался за винные бочки, а люди разбежались кто куда. Один из парней вытащил нож и кинулся на другого. Марка Мразикова — так звали Порубячиху в девичестве — бросилась в свалку, выхватила у парня из руки нож и, приставив к груди, пригрозила, что вонзит его в сердце, ежели они не уймутся. Трудно было укротить разбушевавшихся парней, но воля Марки взяла над ними верх.

Чуть погода музыка грянула снова, и Марка закружилась в танце. Она была на редкость хороша: сквозь улыбку сверкали жемчужные зубы, лицо — точно в молоке купались махровые алые розы, коса гладила ее по плечам и при резких движениях обвивалась вокруг шеи. Марка переходила из рук в руки, пока наконец очередь не дошла до Яна Порубяка, нашего односельчанина, скупавшего в Дубраве шерсть. Он тут же ждал ее своими ручищами и сказал, что хоть трава не расти, а она будет его женой. Она особо и не противилась, ей по нраву было бросаться в огонь, а Яно Порубяк был парень горячий. Она вышла за него замуж и из Дубравы попала в нашу деревню. Но привыкла не сразу: не по душе пришлись ей наши тихие работающие люди. Ей больше пристало бы размахивать над их головами валашкой<sup>1</sup>. Трудно выбирала себе Марка друзей, и тем удивительней, что из всех соседей особым доверием пользовалась у нее наша мама, пожалуй самая тихая из всех.

Когда однажды мама заикнулась об этом, Порубячиха рассмеялась:

— Тихая, тихая, а в рассудительности десятерых мужиков за пояс заткнешь. Сила да разум выручат сразу, мы с тобой подобались как на заказ. Мы еще такое свернем...

И мама чувствовала в Порубячихе как бы опору. Давно подумывала она о ярмарке: на ней, пожалуй, и заработать можно. Только одной туда отправляться нельзя. Надо бы, чтоб еще кто из женщин решился на это. Мама рассудила, что Порубячиха среди всех самая подходящая, да вот согласится ли, мама до конца не была в этом уверена. И в прежние

---

<sup>1</sup> В а л а ш к а — пастушья палка с топориком.

времена, бывало, как становилось в доме туго с деньгами, мужики отправлялись за лошадьми до самой до Польши, потом продавали их у нас и таким путем зарабатывали. А то ходили на ярмарки: купят одну-две коровы, зададут им хорошего корму, потом продадут — тоже прибыль была. А что, если и им, женщинам, такое попробовать?

Вторая повестка из банка заставила маму поделиться своими раздумьями с теткой Порубячихой. Она показала бумажку, поведала о своих трудностях.

Тетка выслушала ее, на лице ее не дрогнула ни одна жилка, она стояла и неотрывно глядела в кухонное окно куда-то наружу, где вместо зеленой луговины у дома белела в ту пору заснеженная полянка до самого каменного моста на дороге.

— Мне ничего от тебя не надо,— заключила мама свой печальный рассказ,— только чтоб ты меня подбодрила немного.

Тетка махнула рукой:

— Это тебе, душа моя, нисколько не поможет! Но погоди...

И она повела маму в переднюю горницу. Отворила старинный комод, вытащила из среднего ящика узелок и развязала его.

— Вот все, что у меня есть.

В узелке были деньги. Аккуратно сложенные бумажные и горстка серебряных.

— Вот все, что имею, душа моя безутешная,— повторила она,— с радостью отдаю их тебе, хоть они и последние. Откладывала я на случай, если, упаси бог, кто из детей захворает. Но они у меня молодцом, стало быть, бери и плати. Я тебе не мать, не сестра. Ни так и ни эдак меня не помянешь, но, может, как человека меня не забудешь. Вот бери и заплати.

В первую минуту наша мама даже растерялась от неожиданности. Ведь кто бы подумал, что Порубячиха, с виду вроде такая суровая, таит в себе такое чуткое сердце. Вот так просто, без дальних слов, отворяет ящик, вытаскивает узелок и говорит: на, бери.

— Нет, Марка, не возьму,— благодарит ее мама,— не возьму у тебя последнее. Но...

Мама призадумалась: сейчас как нельзя более кстати заикнуться о возможном заработке на скотных торгах.

— Не раздумывай, бери.

— Да я уж думала и кое-что надумала...

И она поделилась с теткой своими планами. Куда лучше, если эти деньги несколько раз в руках обернутся и их станет больше. Скоро будет ярмарка в Теплой, а потом в Тросниково. Купить бы им вместе корову, тетка дала бы денег, а мама бы корову обряжала весь месяц. Потом продали бы ее подороже, а прибыль меж собой поделили. Мама смогла бы

рассчитаться в банке с процентами, а там, может, и уплатила бы крону-другую в счет взносов.

— На ярмарку в Теплую могли бы мы отправиться вместе, правда, пришлось бы ночью идти. Да раз мы вдвоем — ничего не случится.

Тетка задумалась.

— Да, хоть и долгий путь, через горы до самого Липтова, а я согласна. Ну, скажи-ка теперь, не права ли я, что ты десять мужиков за пояс заткнешь?

— Жизнь вынуждает. Не хочу без крова остаться, а без заработка долги мне не выплатить.

Так они и договорились, что пойдут вдвоем на ближайшую ярмарку, а там и побарышничают.

От тетки Порубячихи мама направилась прямо наверх к бабушке с бабушкой. Жили они недалеко. Как только прошла она вдоль ограды в конец улочки, тут сразу же и углядела родной дом на холме. Спереди белел откос с заснеженной липой, от которой по одну сторону вилась крутая тропка к воротам, а по другую тянулась к подворью более пологая, широкая проезжая колея. На самой крутизне на тропе вымостили лесенку из плоских камней. Зимой, когда их прихватывал гололед, блестели они как стеклянные, и мне казалось, что ведут они в заколдованный замок. Ступать по ним было опасно, легко было поскользнуться, но мама взлетела, как перышко, ног под собой не чуя от радости, что ей удалось договориться с теткой Порубячихой. Такой веселой она и взойшла в дом.

В сенях ей встретился дедушка. Он выходил из кладовой и в корзине нес кормовую свеклу для скотины. Виделся он ей сквозь сумрак хмурого зимнего неба, да еще окно в сад было заложено пеньковой подушкой, хранившей помещение от резкого ветра и холода. Только половина окна пропускала свет.

— Это вы, тата? — спросила она, чтобы удостовериться.

— Не узнаешь меня, что ли? — засмеялся он и как-то по-особому прищурил глаз.

Мама тоже, задержав на нем взгляд, молча рассматривала его, будто встретилась с ним впервые и пыталась понять, что это за человек.

Она и сама не знала, почему так сразу остановилась под этим его прищуром: ведь эта привычка была еще издавна свойственна старому. Может, именно поэтому мысли ее потекли совсем в другую сторону, хотя пришла она посоветоваться о вещах, в ту пору для нас самых важных на свете. Может, это была передышка, в которой мама нуждалась. А может, она собиралась с силами, пока глядела на него вот так, молча.

Что ж, остановимся и мы вместе с ней и хотя бы мимоходом скажем о нашем дедушке словечко-другое. Взглянем на него мамиными глазами, чтобы и нам узнать больше о его жизни.

Начнем с того, что дедушка заслуженно обрел славу лучшего охотника в округе: о нем ходила молва, что не только была ему на охоте удача — бил он без промаха и в обыденной жизни. Оттого и хаживали к нему люди — одному вправит кость, другому добрый совет подаст. Ходили близкие и дальние знакомые со всеми горестями. И у мамы, как только получила она уведомление из банка, первая мысль была о нем.

Мы, дети, тоже уже знали о дедушке разное. Ну хотя бы то, что стрелял он без промаха из старинного ружья с длинным стволом и что с дороги умудрялся подстреливать зайца под самой горой. Хозяева замков любили приглашать его на охоту — он был знаменитый ловчий. У одного пана он даже выиграл кожаный патронташ, поспорив с ним на медвежьей охоте. Патронташ висел на стене возле ружья. В саду на загуменье он, бывало, ловил лисиц на приманку и куниц капканами. Порой целые ночи пролеживал на сеновале в гумне, подстерегая добычу. Однако же годы и в нем поубавили сил. Он старился, седел и все чаще жаловался на слабость в коленях. Со временем его охотничьи доблести продолжали жить только в рассказах, а о былой славе напоминал ему лишь этот прищур.

Мы, дети, заслушались от него десятки разных историй о зверях и зверюшках в лесах, о веселой и печальной охоте.

Дедушка в наших глазах был необыкновенным человеком. Высокий, статный, он всем своим видом внушал нам это. Мы знали, как он справился с громадной змеей, когда косил луговину в Диком Лазе. Знали, что на Круче под Шутовым он схватился с медведем, таскавшим скот на горном выгоне. А уж как завораживала нас молва о том, что он одолел нечистую силу, вселявшую ужас во всех деревенских! И сколько бы ни говорили взрослые, что бывшая его мужская твердость превратилась в какое-то старческое упрямство, а многие добрые качества обернулись брюзжаньем, он все равно вызывал в нас восторг и уважение.

Наша мама испытывала к отцу особое доверие, с этим чувством она вошла к нему в дом.

После некоторого молчания он сам, прервав ее мысли, спросил:

— С добрыми ли вестями пришла, доченька?

— Банк опять прислал извещение, — сказала она, словно пробужденная ото сна суровой действительностью.

— Ну входи. — И он указал на дверь горницы.

Дедушка поставил корзину с кормовой свеклой под лестницу, ведущую на чердак, и прошел вслед за мамой в горницу.

В горнице были бабушка и тетка Гелена. Бабушка в углу у окна вязала обшлага из белой овечьей шерсти. Чуть поодаль стоял столик с геранью. Зимой бабушка убирала ее с окна, чтобы не померзла. В одном горшке герань распустилась огненно-алыми цветами. Всей листвой она жадно тянулась к свету, падавшему в горницу из-за отогнутой занавески.

Тетка Гелена плела из самодельных льняных нитей кружевные прошвы для подушки. Мало кто в селе умел так искусно вязать как она. Она, как и все в этом доме, любила делать все добротнo, с толком. Кружево просто сверкало в ее руках.

Как только мама вошла, взгляд ее тут же упал на расцветшую герань. Что-то в душе ее ожило, осветив улыбкой лицо. Но она вмиг одернула себя — не время, дескать, для улыбок — и, вытащив банковскую бумажку, сказала:

— Требуют и проценты и взносы. А за просроченные взносы грозят даже торгами. Я пришла посоветоваться.

Услышав об этих новых печалях, дедушка сел, бабушка и тетка Гелена отложили на колени работу, а мама, так и не присаживаясь, продолжала:

— У вас денег просить я и не думаю, знаю, что нет их. В деревне есть люди денежные, к которым я могла бы обратиться. Но каждый только зубы точит на наши полоски. Людской корысти конца-краю нету. Многие меня еще глубже в омут готовы втолкнуть, только чтоб я утопла скорей. Но я ни у кого не стану просить, сама вытяну. Я только хочу сказать вам, что мы с Маркой Порубяковой надумали заняться торговлей.

Тут тетка Гелена вспыхнула, отмотала нить с пальца и положила кружево с крючком на стол.

— Ты дочь газды, о торговле и думать не смей — ведь это срам для нашей семьи!

Она вызывающе посмотрела на дедушку с бабушкой и ждала, что они затеют с мамой ссору.

Но мама была полна решимости. Ей не хотелось упускать из рук огонек, который с таким трудом занялся и, единственный, мог бы пробить мрак надвигающихся горьких дней. Она знала, что торговля не почиталась достойным занятием в порядочных газдовских семьях, но лучше уж запятнать доброе имя семьи, чем остаться без крова.

Тетка Гелена беспокойно сновала по горнице. Трудно ей было смириться с намерениями сестры. Что скажут люди? Одинокая тетка Гелена все еще надеялась выйти замуж. Может ли она допустить, чтобы на нее указывали пальцами: у нее сестра, мол, торговка.

Дедушка не хотел торопиться с решением, все раздумывал, взвешивал.

Бабушка снова принялась вязать обшлага и пыталась спокойно выслушать жалобы старшей дочери о чести семьи и доводы младшей в пользу торговли. Только потом она отозвалась своим обычным приветливым голосом:

— Ну, срам не срам, дочки мои, жить хочется. Куда больший был бы срам, кабы по ее нерадивости дети погибли.

Дедушка тоже так думал:

— Ты только ничего не бойся. Человек в нужный час должен уметь шевелить мозгами. Нынче, пожалуй, ничего другого и не придумаешь.

Маме стало легче. Она была благодарна родителям, что они поддерживали ее. Оставалась еще забота: повезет ли ей в банке? Было б хорошо, если бы там повременили с долгами.

— Схожу, попрошу их подождать.

— Постой. Я дам тебе немного яиц и творогу. Отблагодаришь в банке чиновника, что занимается ссудами.

— Да ведь это же подкуп! — возмутилась тетка Гелена, стараясь взять хоть этим, ежели в другом проиграла.

— Нет, дитя мое, — мягко сказала бабушка, — это только гостинец доброму человеку.

Все понимали, что это так и не так, но надо было жить.

И в самом деле, творог и яйца, словно в каком волшебстве, тронули не столько, пожалуй, сердце, сколько рассудок банковского чиновника. Времена были трудные, жить хотелось всем. Жалованье невеликое, дома жена, дети, в кладовой почти ничего. Чиновник рад был гостинцу и обещал маме, что ей отсрочат и взносы и проценты. А там, может быть, повезет ей в торговле.

И вот однажды темной ночью отправилась мама с теткой Порубячихой на ярмарку в Теплую. Дом она заботливо заперла, а ключ спрятала в окно. Мы остались одни под прищомтром звезд, мелькавших среди туч. На южном краю неба во тьму врезались просветы.

Обе женщины пустились в долгий путь через горы. Взяли с собой увесистые палки, чтобы не только можно было о них опираться, но и защититься при надобности.

В нашем крае тогда еще нередко разбойничали, и грабители, особенно в ярмарочные дни, подстерегали торговцев, чтобы отобрать у них туго набитые кошельки.

У Лучанской долины, вклиненной между крутыми косогами, они повстречали четырех женщин из Осады. И конечно, обрадовались: вместе идти было куда веселей. У женщин в руках тоже были тяжеленные палки. И не так, мол, против разбойников, как против дикого зверя: они слышали, что в долине стаями бродят волки. Мама с теткой очень перепугались.

— Ладно уж, если будем друг друга страшить, ничего



не сделаем. Коли нам суждено, волки и тут нас отыщут. Так, пожалуй, лучше пойдем,— в конце концов рассудила мама.

И женщины — хочешь не хочешь — двинулись в путь. Тетка Порубячиха даже посмеялась над собой, что в глубине души спасовала перед волками. Это уж, поди, в нашей деревне она так разбаловалась. От злости на себя она крутанула у бедра палкой, да так, что в воздухе свистнуло, и рассмеялась.

— Только уж пойдемте потише,— предложила одна из женщин.

Ее послушались, шагали почти молча во тьме под хмурым, затянутым тучами небом. Они своим телом распахивали сугробы и брели, глубоко увязая в снегу. Над долиной то и дело проклевывалась бледная звезда и снова исчезала за наплывавшими тучами.

На полпути мама почувствовала резкую боль в ноге. Жесткая обувь стерла ей пятку. Эта невыносимая резь отдавалась у нее даже в сердце, мама почти теряла сознание, но сказала сама себе, что должна выдержать. Так с трудом они добрались до Теплой. Счастье еще, что там было кому прийти им на помощь.



Обогреться они вошли в корчму. Замужем за корчмарем была их знакомая, сестра Цира Петраня из нашей деревни. Дородная, обходительная и речистая женщина, она как-то по-особому разбиралась в людях, а сама была до того милая, что привлекала гостей в корчму куда больше, чем хмельные напитки. Деньги рекой текли в корчмаревы кубышки. Говорили, что ей только птичьего молока не хватает.

— Не беспокойтесь, пятка вмиг заживет,— говорила она маме, прикладывая ей к ноге чистую тряпочку с мазью.

Боль утихла. Для корчмарки очень было важно, чтобы женщины помянули о ней добрым словом в родном Оравском селе. Она накормила их мясным обедом да еще поднесла по стакану пива.

На скотные торги они отправились чуть свет. Походили, поглядели, что и по какой цене можно купить. Дивились, что скот сравнительно дешев. Люди были вынуждены продавать, поскольку в прошлом году не уродились корма. Один крестьянин из Вавришова все упрашивал маму купить двух коров — очень уж не хотелось ему возвращаться с ними домой. Коровы и впрямь были хорошие, дойные, разве что слишком тощие. Их бы малость поправить, чтобы бока округлились. Шерсть у обеих была густая, ярко-рыжая, только на лбу белая метина и белая полоса по спине. Шерсть от холода вся вздыбилась, а уж как бы она залоснилась, задай коровам подходящего корма. И цена невелика, хотя у женщин и таких денег не было. Тут вдруг натолкнулись они на торговца Смоляра из нашего комитатского города.

— О деньгах не тревожьтесь, я одолжу вам, сколько понадобится. Да и кто откажет таким молодкам?

На первый взгляд могло показаться, что Смоляр делает доброе дело, но как истый купец он надеялся и заработать на своей доброте. Уж не впервой ему удавалось подобное — стреляный был воробей в этих делах. Он рассуждал так: как откормят женщины отошालую скотину, он станет их поторапливать с долгом. А чтоб вернуть его, придется им продать коров подешевле. Так он и деньги назад вернет, и коров за полцены купит.

Но случилось иначе. Денег он, правда, им дал, и коров они купили. В корчме у сестры Петраня привязали их к ограде, но чего только не бывает на свете: в корчму забрели двое торговцев, искавших дойных коров для поместья в Турике. Понравились им именно эти коровы, привязанные у корчмы. Тут же на месте ударили по рукам, и сделка состоялась. Они заплатили столько, что женщины вернули долг Смоляру, и у мамы еще осталось на взносы и проценты. И тетка Порубячиха получила свою долю. Рассказывали, что мама даже просветлела лицом и уже не вспоминала о мытарствах, кото-

рые довелось пережить. У нее камень с души свалился, что в банке хоть на время уgomонятся и нам не придется покидать родной дом. Мама решила идти и на ближайшие ярмарки: ведь надо было думать о следующих платежах.

Смоляр<sup>1</sup> был вне себя, что так просчитался в пригожих мо-  
лодках. В корчму вошел надутым, как индюк, сташил меховую шапку и хлопнул ею об пол. Даже не скинув тулупа, уселся за стол и заказал себе сразу три порции гуляша. Широко рас-  
ставив ноги, каблуком сердито постукивал об пол. Гуляш ел посапывая, чавкая, засовывая в рот большие куски хлеба. Глаза у него бегали из стороны в сторону, взгляд был нечи-  
стый, вроде как помутневший.

— Ну, как дела? — обратилась к нему тетка Порубячиха. — Ярмарка-то не удалась вам, поди? А ведь скота здесь, что комарья.

— Одни мощи ходячие, — фыркнул он в рюмку с вином, которую держал у нижней губы.

— Должно быть, и скотина поняла, что такое война, — вмешалась в разговор мама, — некому поле обрабатывать, а когда в поле пусто, так и в стойле не густо. Ни мяса, ни сала. А может, так оно и к лучшему? — Мама обвела всех пытливym взглядом. — Говорит же Яно Дюрчак из Еловой: кабы на фронте всего хватало, весь бы мир изничтожили.

Может, на ярмарке в Теплой оттого и была такая скоти-  
на — кожа да кости, чтобы Смоляру нечего было отправлять на фронт. Так, глядишь, и война скорей кончится. У жизни ведь тоже свои пути-дороги. Хоть Смоляр и ушел с ярмарки несолоно хлебавши, а жизнь свое взяла. Она тоже защища-  
ется, потому что не хочет погибнуть. Ей тоже хочется выстро-  
ить на этом свете такой же красивый дом, какой Смоляр поставил в комитатском городе.

— Не я войну выдумал, — сказал он и слизал с губ пер-  
цовую подливку. — Выучили меня на мясника, вот я и стал мясником. Продаю тому, кто платит. Я не поганец какой, а по образу и подобию божьему сотворенный человек, мне разве в радость, что людей убивают? Когда скупаю для фронта, то я и о ваших мужьях забочусь, чтоб с голодухи ноги не протянули среди пушек. Пуля не найдет, а голод отыщет. Так что зря вы про меня думаете: мясник, мол, черствая душа, долг христианский забыл. Нет уж, я помню о ближнем. Так-то оно...

Порубячиха встала, стукнула ладонью о стол и рассме-  
ялась.

— Ну, Смоляр, чтоб вас приподняло и хлопнуло. Вас, ко-  
нечно, на козе не объедешь, но и мы не вчера родились.

---

<sup>1</sup> С м о л я р — в переводе со словацкого — неудачник, невезучий человек.

— Ну ладно, ладно! — Он положил ложку на тарелку. — Однако этих коров ни в коем разе не надо было вам упускать. Не то чтоб я такой уж жадный, но они позарез мне были нужны.

А пока текла у них беседа, начало смеркаться, снег вокруг корчмы посинел, вдали почернели горы. Перед корчмой роились люди, сани, скотина, мельтешили в шатрах продавцы. Больше всего покупателей толкалось у палаток с медовыми пряниками. Палатки эти изнутри были разноцветные, словно цветущие луга — ярко-розовые, зеленые, желтые, красные, — и люди просто не могли глаз от них оторвать.

Перед одной из палаток стояла молодая женщина, оглядывала пряники и раздумывала, который купить. Дольше всего она вертела в руках гусара на коне. Нравился ей, должно быть, красный китель на нем и сабля.

Мама нагнулась к окну и крикнула:

— Батюшки светы, да ведь это же Тера Мацухова из Микулаша!

И тут же кинулась к ней. Следом припустилась и тетка Порубячиха. Поднялся и Смоляр в своем тяжелом овчинном тулупе и загляделся на молодую женщину, стоявшую у палатки. Приметил раскрасневшиеся на морозе щеки, красивое лицо. Он шелкнул пальцами и даже причмокнул. Увидел, как Тера протянула женщинам узелок, который до этого держала под мышкой. Там была кожа на подошвы. Она просила их передать узелок матери, тетке Мацуховой. Тера для того и приехала поездом в Теплую, чтобы отдать его кому-нибудь из своих деревенских.

Порубячиха не растерялась и спросила, не найдется ли в Микулаше и для нее кусок кожи.

— Войску и то не хватает, — шепнула Тера и огляделась вокруг: не слышит ли кто. — Все идет нечистому в глотку, как наши кожевенники говорят. И хоть бы какая польза была, а то одно горе да голод.

— Кое-кому и польза, не без того, — сказала мама и повела плечом в сторону корчмы.

Тера резко повернула голову, держа медовый пряник в руке. За оконным стеклом улыбалась ей жирная, плотоядная физиономия Смоляра. Он махал женщинам рукой, верно, думая, что на его зов в корчму зайдет и молодая. Но Тера торопилась и, попрощавшись с мамой и теткой Порубячихой, ушла.

— Незадача какая! — сокрушался Смоляр. — Пока вы торчали на улице, пожаловали музыканты. Я бы для этой молодухи музыку заказал. Да, не везет мне сегодня, она и то от меня ускользнула.

Один из музыкантов прошелся по струнам скрипки, другой стоял, сонно приваляясь к его спине. Оба были худущие —

одни кости. Они с жадностью глядели на пустую тарелку торговца Смоляра, оставшуюся после третьей порции гуляша, и втягивали в себя запахи пищи, которые носились в воздухе корчмы.

А где-то вдали гудел паровоз, рассеивая в наплывавшую тьму огненные искры.

А мы весь этот день провели с теткой Геленой. Под самый вечер она с тревогой сказала нам:

— Не знаю, не уложит ли ее эта дорога в постель. Заболеет, а потом ходи за ней за хворой. Вот уж надумала, как о вас позаботиться, как расплатиться с долгами.

Чужому могло бы казаться, что тетка Гелена все это говорит из неприязни к маме. А на самом деле у нее сердце сжималось от страха за нее.

Могло же и вправду случиться, что на обратном пути по пустынной Лучанской долине женщин убили, ограбили, потом затащили в кусты и следы замели. В зимнюю пору никто бы о них не узнал, и только весеннее солнышко, растопив снег, натолкнулось бы на них. Нашли бы их мертвыми, закоченевшими, грызли бы их черви или рвали бы дикие звери...

Тетку Гелену преследуют страшные мысли. Чем больше темнеет, тем тревожнее у нее на душе. То и дело выбегает она по оледенелому пристенью на мостки перед домом и вглядывается в даль дороги: не возвращаются ли с ярмарки женщины.

Ее тревога передается и нам. Напряженно вслушиваемся мы в каждый шорох, что доходит снаружи.

С гор несется пурга и начинает свистеть над крышами. Снег сыплется пока только мелкий и то кое-где. Ветер сдувает свежую порошу и разъяренно вздымает ее снова в воздух. Кружит ее вокруг построек и просеивает сквозь голые ветки деревьев.

— Пропадет она в такую непогоду! — Бетка тоже тревожится и нервно треплет в руке веточку розмарина, который безжалостно отломил с кустика у окна.

Мама так заботливо ухаживала за ним, обрызгивала, поливала, вот он и разросся, зазеленел и радовал нас круглый год.

Но даже строгая тетка Гелена не ругает ее за это. Что такое веточка, когда речь идет о маминной жизни.

Тьма сгущается, вокруг все чернеет, а нашему ожиданию, кажется, не будет конца.

Вдруг по дороге зацокали копыта, и у самого нашего дома остановилась упряжка. Даже в горнице мы услышали, как лошади неистово фыркали, ржали, били копытами о гололед, да так, что звенело вокруг.

Мы все разом выбежали во двор.

Тетка Гелена, обогнав нас, бросилась прямо на дорогу.

Из ближних домов, подбиваемые любопытством, высыпали люди. Тетка Липничаниха остановилась с подойником, а перед ней подпрыгивал Яник, одна нога была у него разута, капец он держал в руке.

Перед нашим домом стояли сани, лошади все еще взбрыкивали. Возница не знал, как усмирить их, дергал за вожжи и грубо кричал:

— Тпру, тпру, ироды!

Он сидел на облучке, укутанный в длинный овчинный тулуп. На ногах высокие капцы, на голове надвинутая до самого переносья баранья шапка.

Мы все тотчас узнали торговца Смоляра. Да кто не знал его в округе? Хаживал он по всем ярмаркам Оравы, Липтова и Турца. Доходил даже до Тренчанского и Спишского комитата. Барышничал, наживал богатство, от обжорства тучнел на глазах. Был травленный волк. Не ведал ни чести, ни совести. Наши деревенские называли его разбойником, потому как при покупке ему всегда удавалось каким-то образом их провести. В пяти комитатах люди грозились проучить его за мошенничество.

Кроме него, в санях сидели две женщины. Одна из них, запахнутая в попону, как раз сходила на дорогу. Это была наша мама. Из другой попоны высвободилась тетка Порубячиха. Смоляр сжалился над ними и привез их из Теплой. Они и не чаяли, что им так повезет. У обоих были окоченевшие от холода лица, они с трудом шевелили губами. Руки были точно сосульки.

Люди кричали им:

— Ох бедняжки, за какие же грехи отправились вы в такую дорогу?

Мама ответила:

— Не грехи — нужда заставила нас.

Они поблагодарили Смоляра, что подвез их, и вошли в дом.

Смоляр широко улыбнулся, губы и запорошенные снегом усы растянулись. Из рта вырвалась во тьму струя белого пара, и его отнесло навстречу свету, пробивавшемуся из наших окон.

Лошади снова забили копытами, правая пристяжная вскинула голову и дернула сани, левая, звякнув копытом о наезженную колею, тоже подалась вперед широкой грудью.

Сани рванулись, как вихрь. Сбоку на них был прицеплен фонарь для безопасности, пламя замигало и полстело точно жар-птица вместе с резвыми лошадьми.

Люди разошлись, и мы отправились в натопленную горницу. Как только переступили порог, Гелена повеселела, зацеловала. Заботливость ее не знала границ, она из всех сил старалась услужить женщинам.

— Наварила я вам тут горячей похлебки с тмином,— говорила она,— думаю, придете замерзшие, обогреетесь, а вас все нет и нет. Поди, вся уже выкипела.

— Да ты в тарелку плесни хоть малость,— взмолилась Порубячиха.

Она подошла к теплой печи и со всех сторон стала ощупывать ее по кирпичикам. По очереди дула на кончики пальцев — у нее заоченели руки.

Мама тем временем всех нас уже успела обласкать. Прижимаясь к ней, мы чувствовали, что она промерзла, чисто ледышка.

Тетка Гелена принесла две полные тарелки похлебки. Порубячиха с мамой накинулись на еду.

Похлебка была, должно быть, очень горячей, от нее шел пар. Но женщины были довольны, хоть обогрелись как следует.

Тетка Порубячиха скинула платок с головы — так ей стало тепло. Над верхней губой выступили блестящие крупинки пота, а в ямке под нижней скопилась влага, точно лужица.

Наша мама расправила на платье воротничок, сняла платок с головы и перекинула его через спинку кровати.

А когда они чуть отдышались, тетка Порубячиха вдруг рассмеялась и хлопнула себя ладонью по колену. А потом и вовсе перегнулась пополам от смеха.

И говорит:

— Вспомнилось мне, как мы этот кошель нашли.

Нам только это и надо было — мы наперебой забросали ее вопросами.

— Эта история точно для вас, дети,— улыбается мама.

А нам уж совсем невмоготу, мы тянем тетку Порубячиху за юбку и без передышки пристаем к ней, сгорая от любопытства.

— Да расскажу вам, расскажу, крохи вы мои,— говорит она,— дайте только дух перевести.

И через минуту начала:

— Ну вот как дело было. Едем это мы на Смоляровых саях. Уже почти смеркалось, наступил вечер. Смоляр зажигает фонарь сбоку саней, чтобы видно было дорогу. Фонарь то светит, то мигает, как ему вздумается. Смоляр сидит на передке, погоняет коней. Мы с вашей мамой зябнем на заднем сиденье, закутавшись в попоны. Ноги сунули в сено — на донышке саней еще осталась охалка. Обе нахохлились, чисто вороны в гнезде. И катим, катим. Куда ни кинь взгляд — лес кругом. С обеих сторон елки да елки, ветки да ветки. Все запорошено снегом, точно сахарной пудрой. Мы все едем, а становится темней да темней. Наконец только и видать на том расстоянии, куда падает свет от фонаря, не дальше. Вот так и сидим мы на заднем сиденье, и вдруг мама хватает меня за руку...

— И кричу,— подхватывает мама,— кричу: «Эй, Марка, кошелек в канаве!..»

— А я,— вскакивая разгоряченная Порубячиха со стула, переживая все заново,— я вскакиваю, вырываю у Смоляра вожжи и осаживаю лошадь...

Лошади вздымаются с перепугу и пускаются в пляс на задних ногах. Но потом опускаются на все четыре, переступают копытами тише, мельче и вовсе останавливаются. Смоляр в злобе кричит:

«Ну, бабы несчастные! Сатану и то легче везти, чем вас!»

Обе женщины пальцами указывают на то место у саней, где только при слабом свете фонаря в темноте можно различить толстый кошелек.

«Что это?» — спрашивает купец.

«Кошелек кто-то потерял».

«Кошелек?» — повторяет Смоляр.

Он сперва косится на женщин недоверчиво, сощутив глаза. Потом сквозь шелки век вспыхивает злой огонек. Ни мама, ни тетка еще точно не знают, что он надумал. И только потом догадываются: в купце огоньком загорелась жадность и зависть. Мозг его лихорадочно заработал: как бы это надуть женщин и присвоить себе кошелек? Вдруг он сует Порубячихе вожжи и пытается было соскочить с саней, чтобы схватить находку.

Тетка Порубячиха изображает за столом, как она его удерживала. Наглядно показывает, как уперлась ему в грудь и закричала:

«Хо, хоо, пан! Кошелек-то нашли мы вдвоем, но поскольку увидели его с ваших саней, согласны дать вам третью долю. И ни гроша больше».

Купец все зыркает глазами туда-сюда, словно перекачивает в них свои злобные мысли. Даже зубами скрипит, придумывая, как бы ему выкрутиться.

«Человек им добро делает,— ворчит он сердито,— в такую даль везет на заднем сиденье груз, точно свинцом налитый, а его еще хотят облапошить, отнять то, что ему положено. Находка принадлежит тому, кто первый увидел ее. А увидеть ее может лишь тот, кто сидит впереди. Стало быть, я».

«Хо, хоо,— кричит Порубячиха так, что кони пугаются,— хо, хоо, пан!»

«Ну конечно, я!» — нагло твердит Смоляр и отталкивает женщину.

Но она изо всех сил держит его и для надежности еще и ногу ставит на подножку, чтоб он не смог соскочить.

Глаза купца загораются уже каким-то иным светом. Это значит — придумал новую хитрость. Он вдруг делает испуганный вид, хватается за карман и орет во все горло:



«Гром и молния, да ведь это он у меня выпал из кармана! А вы тут делить его собрались, третью долю мне предлагаете». Порубячиха опешила и тут же сняла ногу с подножки, освобождая дорогу.

— Мы подумали, что и вправду так, — подхватывает моя мама, — и даже засовестились.

Купчина соскакивает с саней прямо в канаву и хватается кошелёк, набитый до отказа. Взвешивает его в руке, усмехается. Он стоит по колени в снегу и косится в сторону, избегая взгляда женщин.

«Конечно, мой!» — подтверждает он и тяжело переваливается по снегу — до того он тучен и неуклюж.

Смоляр взобрался на сани и в отличном настроении удобно устроился на передке. Женщинам он заслонил всю дорогу



своей широкой спиной, да еще в толстом овчинном тулупе. Он пригнулся и, держа кошелек ниже колен, раскрыл его.

— Пока он засматривал в него,— продолжает тетка,— мы свесились через его плечо, глянули... У него даже руки тряслись от жадности, да только...— тетка понизила голос, и мы застыли в невыразимом напряжении,— только вместо денег кошелек был набит соломой. А в солому засунута была записка: «Жри солому, скупердяй!»

Торговец выпрямился и снова согнулся. Собственным глазам верить не хочет. Дергается в своем овчинном тулупе, точно его на вертеле жарят. Ну и надул же его какой-то умник. Нарочно подбросил кошелек с соломой в канаву для такого вот живоглота. Смоляр получил по заслугам.

— Я для виду наклоняюсь к нему,— заканчивает мама веселый рассказ,— и спрашиваю: «Ну что, ваш?»

Торговец вертится в своей тяжелой шубе, точно она тесна ему. Баранью шапку опускает ниже на глаза и, видать, не прочь бы ее и на все лицо натянуть. Ему не по себе, он красный как рак. А фонарь, как нарочно, светит прямо на него. Но он быстро приходит в себя — как-никак всю жизнь ловчил да кривлялся. Тетка Порубячиха тоже спрашивает, только чуть поехиднее:

«Так как — ваш или не ваш?»

«Хе-хе-хе!» — смеется он и смехом как бы оттягивает время, живот у него трясется, усы намокают.

«Надо бы и нас наградить за находку»,— пристаёт к нему Порубячиха.

«Хе-хе-хе!» — смеется он и все тянет время, сразу не приходит в голову, как бы ему выкрутиться.

Чуть погодя он швыряет через плечо кошелек и, даже не оглядываясь на женщин, кричит им:

«Вот вам ваша награда! Тут хоть только солома, а раз нашел я такой, что был набит лошадиным навозом. Думал я, что в этом будет что и похуже, вот и не подпустил вас к нему. Руки могли бы замарать, а потом и сани. Разве въедешь на таких в город?»

Женщины, подтолкнув друг друга локтями, хитро переглянулись. Смоляр зубы заговаривает, да кто поверит ему. Трижды в этот день жадному купчине не повезло...

Для нас это было целое событие. Мы готовы были до утра слушать такие истории и хоть каждый день выпроваживать маму на ярмарку, только бы с ней случалось подобное.

Тетка Порубячиха смеялась и никак не могла успокоиться. С трудом поднялась из-за стола и протянула руку к кушетке, где лежала купеческая кожаная сумка, оставшаяся у нее после мужа. Потом, дойдя до середины горницы, перебросила ее через плечо.

— А что, если Смоляр и дома похвастается находкой? — блеснув глазами, она рассмеялась еще громче.

Нам показалось, что она еще что-то хочет добавить к этой истории, и вмиг окружили ее, выклянчивая еще хоть словечко.

— О-ох, да вам, я вижу, все мало, с вами можно весь язык источить, — отбивалась она. — Ежели б мои были такие приставучие, палка бы каждый день по ним плакала.

— Детям надо рассказывать, — застучилась за нас мама, — ведь им надо ума набираться.

— Эх! — вздохнула тетка и отерла ладонью вспотевшее лицо. — Ты лучше бы ломоть хлеба дала им, чем такой чепухой пичкать.

— Это кому как, — возразила мама. — Моих детей хлебом не корми, а рассказывай.

Тетка Гелена вскинула на меня свои ясные голубые глаза, точно хотела увериться в этом; она и сама любила сказки и не ленилась по сто раз нам рассказывать каждую. Я ответила ей взглядом, полным благодарности. Она подняла руку, чтобы погладить меня по щеке, но сдержалась. Потом провела пальцами по задубевшей мозолистой ладони, как бы проверив, не слишком ли она шершава и не поцарапает ли мне щеку.

С сумкой через плечо и узелком в руке направилась тетка Порубячиха к двери. Высокая, прямая, обутая в сапоги, она походила была на купца. Глаза у нее светились, по лицу блуждала плутоватая улыбка. Потом она вдруг посерьезнела, должно быть подумав о том, что слишком засиделась у нас — ведь у нее свои дети и надо к ним торопиться.

Тетка Гелена выскочила в сени, чтоб осветить фонарем тропку к верхнему ручью. В такую метель Порубячиха легко могла на мостках поскользнуться.

Так в бесконечных заботах и редких забавах проходил третий год войны. Заботы являлись непрошенные, забавы надо было отыскивать. Не было у нас, например, красивых разноцветных шариков, которые продавались для детей в городах. Вместо шариков мы с Юрко играли в фасольки. Один из нас набирал их в пригоршню, сколько получится, руку прятал за спину и спрашивал:

— Чёт или нечёт?

Как-то зашла к нам тетка Осадская с сыном Миланом. Он сидел за столом напротив и нежно смотрел на меня. Я сгорала от стыда перед мамой и теткой Осадской и то и дело отворачивалась в сторону. На Милана я взглядывала лишь украдкой, либо когда ошибалась в счете. Его глаза оживились какой-то странной игрой, какую я еще тогда не понимала. Надо лбом у него свисала темно-золотистая челка, щеки были обветрены, руки мускулистые, натруженные. Он уже бросил

школу и помогал матери в поле. Постепенно становился красивым, сильным парнем. Он наверняка знал об этом и потому, играя с нами в фасольки, пытался смутить меня взглядом.

А то вдруг схватил меня за руку, когда я на столе пересчитывала фасольки, выигранные у брата. Сперва мне подумалось, что он хочет сбить меня со счета, но он тут же предло-жил сосчитать их сам.

Я уже ходила в школу, и учительница всем говорила, что я буду хорошо считать. Мне не хотелось опозориться перед Миланом, и я стала уверенно и громко считать, заглушая его слова. Он прикрыл обеими руками фасоль на столе, приблизил свое лицо к моему и улыбнулся, блеснув зубами. Они надолго остались в моей памяти — ровные, белоснежные, чисто нитка жемчуга.

Именно тогда мама сказала тетке Осадской:

— Вот растут вместе сто детей с самого раннего детства, а тебя только к кому-то одному тянет. Я пережила это. В любви мы все, как лунатики. Через горы, через доли бредем за ней. Ты-то небось знаешь, что я вынесла из-за Бенё Ливоры. А сейчас на краю могилы зовет меня тетка Ливориха к себе. Чудную весть принесла ты, Жофка. Покуда время было, ей бы другой быть. А теперь и мне и ей поздно. Только вот сына жалко. Признáюсь тебе, выплакала я в тот колодец на Откосе столько слез, сколько в нем воды снизу доверху. Уж и накричалась я в него: «Колодец, колодец, колы ты Бенё забрал, возьми и меня». Но он не взял меня, пришлось дальше жить. Так уж оно: время исцеляет, все позабудется. Только с той поры меня воротит от богатства — оттого-то и выбрала я Матуша с нижнего конца деревни и пошла за него. Не было у меня никогда ни одной настоящей подруги, никогда ни перед кем не раскрыла я душу. А если теперь тебе говорю, так только потому, что уже все равно. Новые заботы вытеснили из сердца боль. Да и не пристало мне нынче думать об этом как прежде — у меня муж, четверо детей...

При последних словах мама запнулась, поглядела на меня и на Милана — он засматривал мне в глаза, а руками прикрывал фасоль, которую братик высыпал из горсти на стол.

— Ступайте на кухню играть, — сказала тетка Осадская, чтобы мы не слушали, о чем они говорят.

В кухне Милан посерьезнел и заговорил, как взрослый:

— Ты ведь не знаешь, — сказал он мне, — что Бенё Ливора напился воды из колодца на Откосе и умер. Легкие у него сгорели от этой воды. Он из дому убежал, отец нещадно бил его из-за твоей матери, когда она была еще незамужняя. Иной раз даже в ярмо запрягал и бил. Ливоры и слышать не хотели о невесте, у которой приданого было меньше, чем им хотелось. Разгоряченный Бенё напился воды из этого колодца

на Откосе, и его не стало. Мама моя говорит, что все жалели его — он был совсем другой, чем все Ливоры.

Мне даже и в голову не приходило, что моя мама, кроме детей и мужа, могла хранить в сердце память о каком-то еще Бенё Ливоре, который из-за любви к ней поплатился жизнью. Все чувства смешались во мне и не находили выхода. Я решила поделиться с Беткой — ведь она лучше меня разбирается в жизни.

Но Милан так и не дал мне исполнить задуманное: положив ногу на лавку, где я сидела, он загородил дорогу. Верно, хотел, чтобы я выслушала его до конца.

И сказал мне, как взрослый:

— Это был человек настоящий, раз выбрал любовь, а не богатство. Я бы тоже так сделал.

Он нагнулся ко мне, но я опустила голову, чтобы не встретиться с ним взглядом. Он погладил меня по волосам и сказал, что я еще очень маленькая и пройдет много-много времени, пока я подрасту. В голосе у него послышалась горечь, какая бывает у взрослых людей. Ему, как и нашей Бетке, поневоле пришлось до времени повзрослеть, чтобы помогать матери нести тяжелое бремя войны.

— Слышишь? — Он сжал мою косу у самого затылка и оттянул голову назад, чтобы я поглядела на него.

Перед моими глазами засветился его высокий лоб, а над ним чуб золотистых волос. Я крепко зажмурилась и в какой-то смутной ребячьей стыдливости с силой опустила голову, ощутив боль в корнях волос. И еще почувствовала, как заливаюсь краской... Мне тут же представился заалевший закат, когда вечернее солнышко покидает наш край.

— Слышишь? — повторил Милан. — Я бы тоже так сделал.

Сквозь сощуренные веки чудится мне колодец на Откосе. Вода в нем такая прозрачная, что виден каждый камешек. А пригнешься к земле, слышно, как бурлит вода в глубине и меж валунов в темном подземелье продирается к свету. Со дна поднимаются пузыри, расплываясь по поверхности. Колодец окаймляют заросли девясила. Громадные листья защищают его от солнца, вода в нем ледяная. Пока доберешься к нему по кручам, разгорячишься, распаришься. Нам всегда запрещали пить из него, когда, бывало, сушим сено и нас разморит от летнего зноя. А какого-то Бенё Ливору он и вовсе сгубил. Воспалились у него легкие. И этот Бенё Ливора издавна скрывался от нас в мамином сердце.

Я вывернулась из Милановых рук и побежала в горницу.

— Мама! — крикнула я в волнении.

Но ни мама, ни тетка меня не заметили, до того были заняты разговором. Тетка уговаривала маму пойти с ней к умирающей. Она, мол, беспрестанно зовет ее и спрашивает о ней.

— Она думает, что ты ее невестка, и не понимает, почему тебя нет рядом.

— Ну, я же говорю, что у ней все в голове помутилось, силы уходят. Так всегда, когда человек умирает.

— Стало быть, не пойдешь? — напоследок спрашивает тетка Осадская.

— Нет, не пойду, — твердо отвечает мама, — всю жизнь она сторонилась меня, даже мысль обо мне была ей в тягость, пусть умирает спокойно.

Милан выглянул из кухонной двери и сказал:

— Ваша правда, тетечка. Променяла она вас на богатство, так пусть теперь его в могилу с собой и уносит, пусть тешится им, раз оно ей было милей.

Я радовалась, что мама отказывалась идти. Мне думалось, что в эту минуту она порвала все нити с Бенё Ливорой и что теперь она снова вся наша и папина, такая, какой мы ее до сих пор знали. И зачем только тетка Осадская пришла сбивать ее с толку: ведь она и сама знала, какие беды принесла война людям, а вместе со всеми и нашей маме. Зачем бередить боль, давно умолкшую, когда хватало и нынешних страданий?

Я подскочила к тетке Осадской и стала ее выпроваживать, как это однажды проделала Бетка с цыганкой Ганой, пытаюсь уберечь маму от лишних волнений. Мой напор был для тетки до того неожиданным, что она поневоле отступила к двери. Она была маленькой, шуплой и легкой, как перышко. Чтоб не затеряться среди остальных женщин, она навьючивала на себя много юбок — хотела казаться попышнее в боках. Лицо у нее было очень худое, но свежее, румяное. С работой она управлялась ловко, словно доказывала на каждом шагу, что хоть и обижена ростом, зато вознаграждена силой. Второй раз мне уже не удалось сдвинуть ее с места. Она стояла как вкопанная и мерила меня взглядом с головы до пят.

— Ах ты, соплюха, — вскипела она, — так-то ты уважаешь старших? — И тут же зло окрикнула маму: — Ты чего ее не приструнишь?

Милан, высунувшись из кухонной двери, громко рассмеялся. Ему пришлось по душе, что тетка при нем разбранила меня. Он был обижен, что я не захотела поглядеть ему в глаза и этим как бы унизила его молодецкую гордость: уже в ту пору о Милане шептались самые красивые девочки в деревне. Но ведь он сам сказал, что я еще маленькая и пройдет много времени, пока я подрасту. И все же что-то во мне привлекало его. За этим смехом я уловила нежный взгляд, которым он ласкал мои косы.

Смутившись, я взяла братика за руку и с непривычной настойчивостью сказала:

— Пойдем-ка лучше играть в фасольки.

Милан рассмеялся и передразнил меня детским голосом:

— «Пойдем-ка лучше играть в фасольки»...

Мы с братиком сели за стол, я нарочно спиной к двери, за которой продолжали разговаривать взрослые.

Уходя, тетка Осадская покачала головой:

— Посулила я молодой Ливорихе, что приведу тебя. Старая-то уже целую неделю бредит все о тебе и помереть никак не может. А они хотят помочь ей поскорей преставиться.

— Понятно, беспомощная, она им в тягость,— рассудила наша мама.— Теперь-то проку от нее никакого, завешание сделала, имущество им отказала, им бы нынче без нее куда легче, даже я и то бы сгодились, лишь бы она побыстрее богу душу отдала. Да у меня своих забот хватает, еще бы, потолкайся-ка из месяца в месяц по ярмаркам. Ливоры-то знают, какое это мученье для женщины, знают, над какой пропастью я висела, когда банк грозился и дом и землю продать с молотка, а они что? Да чего там зло вспоминать! Они бы и сами с радостью петлю мне на шею накиннули. Только я-то знала: плох тот возница, который кнут из рук выпускает. Вот я и не выпустила, не отступила. Что бы теперь с нами было? В этом доме поселились бы другие, наша земля кормила бы других, дети бы мои скитались босые, голодные, холодные, дожидаясь милости от чужих людей. Легко ли так схватиться с жизнью, как я схватилась! Сколько раз терпела я убытки на ярмарках, сколько раз возвращалась ни с чем. А когда и повезет, банк тут же до последнего гроша все проглатывает. Мало-помалу, шаг за шагом, грошик за грошиком, вот так... Куска не доедая, собрала немного денег, чтоб купить со временем лошадь. Теперь продадим нашего бычка и купим жеребенка. Хорошо бы такую лошадку, каким был наш Ферко. Да вряд ли, вряд ли... Ведь человека и то не сыщешь похожего как две капли воды на другого, а лошадь и подавно.

Не успела мама прийти в себя после ухода Осадских, как пожаловал к нам дедушка с нижнего конца. Большой мясничий нож был засунут за голенище. Пес Дунай беспрестанно обнюхивал его и ворчал.

— Я пришел,— начал дедушка без обиняков, без следа жалости или осторожности,— чтобы зарезать вашего бычка. Барабанщик Шимо украдкой предупреждает людей, что вот-вот будут отбирать скотину для войска. Уже бумага пришла в сельскую управу. Тебе еще повезло, что на последней ярмарке ты от той коровы избавилась, а то бы ее мигом схватили. Бычка тоже придется того... Лошадь уж не купить за него, зря все. Надо его сразу же...— Он провел пальцем по горлу, точно ножом, и усмехнулся.

— Бычка? Что вы говорите, дедушка! — вскричала Бетка.

— Ну, ну,— одернул он ее,— не суй нос куда не следует. Выкатила глаза, чисто сова, эдак вот,— передразнивает он ее.— Шей свою тряпицу, что в руках держишь, и не лезь в дела взрослых. Голод ведь, бычок еще как пригодится. Лучше себе взять, чем им отдать.

— И впрямь, дети,— согласилась мама,— ничего тут не поделаешь. Признаюсь вам, всю зиму раздумываю и так и эдак: то ли бычка продать и лошадь купить, то ли зарезать его и засолить в кадку. Что есть-то будем до нового урожая? Не помирять же нам с голоду.

— Подожди еще, потерпим пока! — упрасивает Бетка маму с дедушкой и беспокойно тербит в пальцах платье, которое зашивает.

— Ничего тут не поделаешь,— повторяет мама.

Ей тоже было жалко бычка, а уж наше горе не имело границ. Как мы все ухаживали за ним! Как заботливо каждую зиму закладывали ему мхом стойло! С какой радостью любой клоч сена тащили ему за решетку! Матько Феранец делил с нами все эти заботы и радости, он его и скребницей прочесывал — ведь при красивой-то шерстке нам за него больше денег дадут. И вдруг такое! Но нам не привыкать было: в эти проклятые годы нашего детства приходилось больше думать о спасении жизни, чем о радостях. И хоть нам очень жалко было животинку, мы понимали, что надо поступить именно так, как мама сочла нужным. Вот и осудили мы все вместе бычка на смерть.

Одного дедушку не тревожило это событие. Он сидел, попыхивал трубкой и пускал такой смрадный дым, что трудно было выдержать. Уже вторую зиму мужчины курили не табак, а какие-то похожие на него листья, что росли на горных лугах. Крепкий, противный запах, точно тяжелый, сырой туман наполнил горницу. Однако дедушку ни капельки не заботило, приятно ли, нет ли пахнет его курево, он с наслаждением затягивался и расспрашивал маму:

— Бочка есть?

— Угу.

— Лучше бы всего убрать его в сарай да сеном закидать.

— Лучше в погреб,— рассудила мама,— сверху прикрою квашеной капустой, вроде бы бочонок с капустой. Никому, пожалуй, и на ум не придет, что там засолено мясо.

— Н-да! — подивился старый,— Мало кто до такого додумается. Тебе бы мужчиной родиться. Толково рассудила: в прошлом году, когда искали муку, даже в сено тыкали саблями. Пожалуй, и бочку легко бы нашли. Надо за твоим отцом послать поскорей, да пусть бы и Гелена пришла подсобить. С ним-то вдвоем мы управимся.

Мама вмиг собралась и подалась к родителям. Уже в дверях обернулась и строго на нас поглядела. Мы поняли, что это значит: никому, мол, не проболтайтесь, какое дело мы затеваем.

Без единого словечка ждали мы ее возвращения. Только Людка не могла сдержаться, то и дело порывисто вздыхала и беспокойно размазывала пальцем по столу кружочек воды, натекший от посуды.

— А ты-то чего — сморщился дедушка. — Вы из-за всего готовы реветь. Корова опять отелится, выходите нового бычка.

Мы и пикнуть не осмеливались, пока не воротилась мама с другим дедушкой и теткой Геленой.

Все делалось второпях.

За ночь бычка засолили и кадку с мясом поставили в погреб, как решила мама. Нам, детям, строго-настрого наказали молчать, ни единым вздохом мы не смели выдать того, что произошло: ведь маму могли посадить за это в тюрьму.

На следующее утро, чуть свет, вверх по дороге Шимон Яворка шагал со своим барабаном.

Едва слышав первые удары, мы кинулись к окну, нам казалось, будто Шимон вот-вот объявит о нашем бычке.

Барабанщик с трудом обходит намерзлые ледяные кочки на дороге. Стараясь удержать равновесие, он растопыривает руки как крылья. Пуше всего боится, как бы не грохнулся и не разбился барабан.

Дорога стала почти непроезжей. Ночные морозы понатыкали уйму острых бугров из размокшего и натопанного снега.

Но барабанщику Шимону нынче не к спеху. Недобрые вести несет он людям. Он хорошо знает, что они уже боятся звуков сельского барабана. Бумага, которую ему сунули в руки в сельской управе, будто прислана из кромешного ада. То, что в ней написано, придумал не иначе, как сам сатана. Шимон не любит огорчать людей, сам он веселого нрава. Правда, война и его изменила. Нечему смеяться, нечему радоваться.

Когда пришла эта последняя бумага из города, писарь сказал, что будут отбирать скот для войска. Но теперь-то он видит, что писарь его обманул и бумага совсем о другом. Шимон злится на писаря и невесело бьет по барабану.

Люди высыпают из домов. Кто замер от страха, кто просто понуро стоит. А есть и такие, что чертыхаются и кулаками грозят барабанщику.

Шимон только плечами поводит: разве его это вина? Уж коли грозить, так тем, кто издает такие приказы. Но народ забывтый, кто пока на такое отважится!

Шимон перестает барабанить, берет бумагу и читает.

Первое. Объявляется сбор железа и прочего металла на оружие.



Второе. Родовитая знать из нашей и окрестных деревень из-за непроезжих дорог не может бывать в комитатском городе. Все жители обязываются немедленно приступить к расчистке дорог. Обязанность эта снова вменяется жителям, ибо в последнее время они от нее уклоняются.

Шимон стоит посреди бугристой дороги и хмуро оглядывается. Вокруг него люди. Никто поначалу не двигается, будто все окаменели. Невыносимой тяжестью нависли над ними приказы: собирать металл на пушки и идти на расчистку дорог!

Шимон Яворка прищурившись оглядывает людей, взрослых и маленьких, сгрудившихся у каждого дома. На лицах написано все, что в сердце и на уме. У него у самого гулко колотится сердце и трещит голова. Он знает, что люди вконец измучены. Будь у него волшебная палочка, он взмахнул бы ею, и этот злой мир стал бы добрее. Но он не волшебник, нет у него этой силы. Вокруг него все стоят неподвижно, будто примерзли к земле.

Мы тоже зябнем на дворе рядом с нашей мамой, даже посинели от холода. И если бы не тетка Порубячиха, не знаю, у кого хватило бы сил очнуться от этого колдовского оцепенения. А Порубячиха выскочила как шальная из-за нашего гумна и ну кричать на бегу:

— Видать, судный день настал! Паны только и знают, что приказывать, сидят себе в тепле, а мы гни спину да отдавай все! — Остановившись она продолжала: — У меня на память от бабушки только медные подсвечники и остались. Все тогда унесло в половодье. — И снова запричитала: — А теперь отдавай их на пушки. Да еще и дороги ступай разгребать. Кто же им будет рубить эти ледяные бугры? У меня дровишек наколоть и то сил не хватает. Нечего им без нужды в санях раскатывать! Подождут, пока солнышко дорогу расчистит. Ведь это же мұка мученическая для людей. Верно говорит Яно Дюрчак из Еловой: кроме плетей да нужды, паны ничего не могут придумать для нас.

Крик тетки Порубячихи разбудил всех вокруг. Люди зашевелились, разговорились, стали судить-рядить, как быть с этой новой бедой.

Наша мама посоветовала:

— А может, стоит в сельскую управу сходить. Объяснить бы писарю. Все ж таки он разумный человек, может, и поймет.

— Уж он поймет! — усталым голосом говорит дедушка Мацухов, трясаясь от дряхлости, словно веточка на ветру. — Вот прихвати для него корзинку брынзы, колбасы, масла да яиц, тогда он сразу поймет тебя, разбойник!

Восьмидесятилетний старик Корец — мохнатые брови нависают длинными белыми космами над его глазами — дрожащим голосом говорит:

— Намедни пошел я к нему за невестку просить. Говорю с ним по-нашему: так-то, мол, и так. Ведь по-другому я не умею. А он в ответ: не так, мол, говоришь, официальная речь — мадьярская. Иначе, видите ли, он и помочь мне не может.

Тетка Порубячиха замахивается кулаками с нашего пристенья:

— Ух, у них у всех свои выдумки!

— То-то и оно, Мара, свои,— соглашаются с ней люди.

— Как бы там ни было,— тетка Порубячиха чинно выплывает вперед,— а я пойду туда. Погляжу, поймет он меня или нет. Родная-то мать говорила с ним по-словацки, только в школе он выучился мадьярскому. Спрошу его, как он с матерью объясняется, ведь она тоже только по-нашему говорит. Экий прохвост!

Люди, глухо ворча, мало-помалу стали расходиться. Барабанщик тоже сдвинулся с места и, перебирая палочками, пошел по дороге в верхний конец деревни.

Когда мы воротились в горницу, мама сказала:

— Так, значит, скотину не будут отбирать, он не объявлял об этом.

И она опустила глаза, перемогая волнение.

Бетка тут же нашлась, упрекнула маму:

— Я же говорила — подождать надо. Пропал наш бычок. Не будет ни лошади, ни денег. Поторопились мы. А барабанщику Шимону стоило бы попридержать язык за зубами. Болтает чего сам не знает.

— Дурного не было у него на уме,— успокаивала ее мама.— Не сегодня, так завтра это может случиться. Он, должно быть, что-то слышал в управе, не иначе. Нет дыму без огня.

— Ну вот и хорошо,— огрызнулась Бетка.— Если вам милей бычок в кадке, чем в стойле, мне-то что!

При этих словах мама, вспыхнув, впервые замахнулась на дерзкую Бетку. Но тут же овладела собой. Мы уже давно подмечали, что маме все труднее было справиться с характером старшей дочери. Чем взрослее становилась Бетка, тем больше дерзила. Кроме других забот, на маму теперь свалилась и эта — укрощать старшую дочку. Но мама прощала ей многое — шла война, и Бетке до срока пришлось распрощаться с детством. С малых лет она трудилась как взрослая. А теперь опять ждала ее непосильная работа: надо было идти рубить гололед на дорогах.

Вот так все новые напасти обрушивались на людей, но мы, дети, иной раз находили время и позабавиться.

Как-то, вернувшись из школы, играли мы с Порубяковой Каткой у них на кухне. Шили из лоскутков куклам платья.

Куклы смастерил для нас Матько Феранец. Он выстрегивал их из дерева по воскресеньям, когда не ходил в город на заработки. У моей куклы было улыбочное личико, а Каткина двигала руками. Кто знает, что чувствовал Матько, мастера эти куклы. Жены у него не было и наверняка не будет. Он был, пожалуй, самым одиноким человеком в деревне. Ни одна девушка, даже самая бедная, не пошла бы за него. Рос он без отца, без матери, всем и повсюду чужой. Жил на болотах в заброшенной лачуге, что отказала ему перед смертью старушка с такой же горемычной судьбой. Он только украдкой, бывало, осмеливался приласкать ребенка. А однажды, когда Матько помогал маме выкосить лужайку и остановился отбить косу, я заметила, как взволнованно смотрел он из-за косовища на дочек Петра, ворошивших граблями высохшее сено. Одна из них улыбнулась ему. Такая же улыбка была теперь и у моей куклы.

Тогда я еще многою не понимала и обо всем судила по-детски. Но в тот день, когда мы играли у Порубяковых с куклами, мне стало очень жалко Матько, может быть, еще и потому, что я часто невольно вспоминала, как Милан Осадский заставлял меня глядеть ему в глаза, и это воспоминание тревожило мою душу. Возвращались ко мне и его слова: «Ты еще очень маленькая».

Я наряжала мою улыбающуюся куклу в сшитое платьице, вертела ее так и эдак на свету и вдруг неожиданно сказала:

— Ты еще очень маленькая, еще много времени пройдет, пока ты подрастешь.

Катка поглядела на меня, удивилась необычным словам и посмеялась надо мной:

— Чудно ты играешь. Я буду играть со своей интересней. Сварю ей вкусной похлебочки и испеку из маминого теста каравай.

Она обернулась к матери, которая принесла из горницы два начищенных до блеска подсвечника, и, поставив их на лавку, что-то выглядывала среди одежды на вешалках. Потом вытащила из-под припечья корзину и торопливо порылась в старом тряпье.

— Мама,— окликнула ее Катка,— дашь мне кусочек теста? Я испеку кукле хлебушка.

— Отстань! Дело у меня тут.

Она достала из корзины рваную исподнюю юбку, завернула в нее подсвечники и пошла их куда-то прятать.

— Я им покажу подсвечники,— грозились она, выходя из дому,— а вы чтоб ни шагу, покуда не ворочусь,— наказывала она нам.— Не вздумайте идти за мной, только людей будоражить.— И, уходя, все ворчала: — Я их так схо-рю, сам черт не сыщет.

Мы слышали, как она хлопнула на пристенке калиткой. Нас разбирало любопытство, и мы кинулись в переднюю горницу, хоть из окна поглядеть. Когда Порубячиха переходила пустошинку вдоль Ондрушовых задворок, мы увидели, как дядя Ондруш второпях нацепил баранью шапку, осмотрелся с порога на ближние тропки — не подглядывает ли кто, а потом шмыгнул мимо ворот. Тут и он и Каткина мама скрылись из виду. Должно быть, он пошел за ней следом. Сколько раз, возвращаясь с ярмарки и подсчитывая на столе деньги, Порубячиха замечала, как он засматривает одним глазом в кухонное окно, выходящее на лужок. И хоть он скрывал добрую половину лица за оконным косяком, она все равно узнавала его, сыча проклятого.

Мы с Каткой воротились к своим куклам, а дядя Ондруш крался за Порубячихой по пятам, точно домовый.

У Порубяковых на прогалине у берега стоял на сваях амбар. Он до того терялся среди глины, скал и деревьев, что постороннему глазу трудно было различить его, а уж подсвечники под сваями и подавно. Тетка размахнулась и изо всей силы закинула их далеко-далеко под это маленькое строение.

— Вот вам мои подсвечники! — Засмеявшись, она потеряла от радости руки.

Дяде Ондрушу большего и не требовалось. Он пригнулся и бросился наутек от тетки Порубячихи.

— Я вам покажу подсвечники! — отводила душу тетка, проходя по пустошинке вдоль Ондрушовых задворок. — Я покажу вам подсвечники, одни-разъединственные они у меня и остались от бабушки, все унесло половодье. Я вам дам...

Ей было послышались чьи-то шаги. Она остановилась, но кругом была тишина, точно вся земля опустела. Она спокойно вернулась домой. Положила доску, вывалила на нее из квашни тесто и отрезала нам кусочек для кукол.

Тетка еще и печи не успела как следует растопить, как в сенную дверь постучали жандармы. Руками, осыпанными мукой, она взялась за шеколду, чтобы отворить двери, но жандармы, не дожидаясь, опередили ее. Заблестели длинные штыки на винтовках, от сквозняка заколыхались на киверах черно-зеленые петушиные перья. Позади жандармов стояли староста, Шимон Яворка, два кучера из замка и еще два чиновных лица из комитатского города. Шимон Яворка делал тетке разные знаки глазами, но она не понимала его. Он подмигивал — встань, мол, прикрой юбками сковородку под лавкой, но у нее в голове все помутилось, и она никак взять в толк не могла, о чем это он.

— На чем же мне теперь готовить? — спросила она, видя, как господские кучера тащат ее сковородку к телеге, стоявшей у дома.

— А ступы нет у тебя, Порубячиха?

— Ступы? — Она словно очнулась от обморока, почувствовала, как мало-помалу к ней возвращаются силы. — Ступы? — У нее рот скривился в ухмылке. — Никак, солдатам прикажете мак в ней толочь?

— Попридержи-ка язык за зубами! — рявкнул на нее жандарм.

— А я что? — Она напустила на себя невинный вид. — Я только к тому, что недурно бы и солдатам побаловаться лепешками с маком. И мой дедушка их очень любил. Я тоже, бывало, лепешку помаслю, медком подслащу, так и проскакивают в горло, чисто улитки.

— А подсвечников у тебя нет, Порубячиха? — Староста поскреб усы в ложбинке под носом и выпятил вперед подбородок, будто бриться собирался.

Она передернулась, сквозь притворно-наивное выражение проступило в лице что-то острое, дикое.

— Подсвечников, говорите? — повторила она. — Вы-то, староста, небось знаете, что половодье у нас начисто все унесло. Только пустые углы и остались, точно все языком повилизало.

Староста мигнул Шимону Яворке, но Шимон увернулся от его взгляда и с презрительным видом уставился в стену.

Господский кучер шмыгнул из сеней и в два счета воротился с подсвечниками.

— Это в твою юбку они были завернуты? — ехидно поддел тетку староста, выслуживаясь перед жандармами.

— А в чью же? Ясно, в мою! Я ее у вас не украла, староста. Только с каким же бесом вы спутались? Кто приказал вам вынюхивать? Думаете, что я буду таиться, из-за вас буду врать? — Диковатое, острое выражение глаз сменилось мрачным и тяжелой тучей затянуло лицо. — Вам легко, староста, вам небось ни половодье, ни война убытку не сделали. А ежели вам только этих подсвечников не хватает, — улынулась она сквозь густеющий мрак во взгляде, — то плохи ваши дела.

Жандарм обратился по-венгерски к старосте. Что-то спрашивал о Порубячихе.

— Э-э, не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой, — махнул рукой староста. — Пошли дальше. — И он, плутовато подмигнув, указал на дверь.

Мы с Каткой вскочили на лавку и в кухонное окно следили, как они пересекли улицу и вышли на дорогу.

Ондруш тем временем мельтешил у окна своей передней горницы. Беспокойно переминался с ноги на ногу и кулаком потирал ладонь.

Тетка Ондрушиха, наблюдая за ним издали, спросила:

— Что это ты толчешься у окон? Никак, пляшешь от радо-

сти, что у тебя ничего не забрали? Знать бы только, за сколько нынче ты опять продал душу дьяволу, ведь добра от тебя не дождешься!

Почти не поворачивая головы, он скосил глаза в сторону жены и заворчал под нос:

— Возьмешь в воскресенье из сундука пару грошей. В костел священнику пожертвуем.

— Что это ты опять выкинул, какой грех с души смываешь? Он погрозил жене пальцем и отскочил от окна.

И мы с Каткой слезли с лавки и занялись куклами. Но веселья как не бывало. Мысли наши разлетелись, словно стая испуганных птиц.

Тетка Порубячиха привалилась к столу, где лежала пустая квашня и рядом на доске вынутое тесто. Ей даже не так жаль было сковороды, как подсвечников. Забрали у нее последнюю память от бабушки с бабушкой! Глядя на подсвечники, она всегда вспоминала бабушкины дрожащие руки, державшие огонек, которым она теплила свечи. Теперь вместе с подсвечниками как бы отобрали и руки бабушки, охранявшие дом. Все поглотило чудище войны. Все — людей, вещи, самые священные мысли.

— Погодите, — пригорюнившись у стола, грозила тет-ка, — дорого вам обойдутся Порубячихины подсвечники...

Как же она их берегла, как трепетно брала их в руки только по большим праздникам или в грозу! Сколько молилась над ними, чтобы муж воротился с войны невредимым. Вдруг припомнилось ей, как однажды весной спасли они ее от грозовой молнии. С утра вдруг разразилась буря. Так и колошматило со всех сторон вокруг дома. Она зажгла свечи в обоих подсвечниках, и только занялся огонек — ударила молния. Ударил в ту огромную липу у ручья. Она свято верила: не будь подсвечников, молния ударила бы в дом. И такую защитницу ото всех напастей у нее отобрали!

— Чтоб вам ни дна ни покрывки! Чтоб вас в лесу разорвали дикие звери!

Подымаясь от стола, она кляла их на чем свет стоит. Из-под платка у нее выбились прядки волос. По лицу блуждали мрачные тени, губы тряслись. Глаза снова вспыхнули острым, диковатым огнем.

Тут ни с того ни с сего примерещился мне золотистый чуб Милана, его синие глаза, в которых словно цвели васильки. Зазвучал его голос и смех. Будто вдруг зазвенели чистые-чистые колокольцы и бубенчики. Это звенело и пело невинное детство, юность, пробудившиеся мечты Милана Осадского и несбывшиеся — Матько Феранца, те, что жили в улыбке моей куклы и в нежных ласковых руках Каткиной. Детство и мечты — птицы, взлетающие под самое небо.

— Дорого обойдутся вам Порубячихины подсвечники!

Тетка без умолку твердила эти слова, и они, словно молнии, помимо ее воли, косили наземь вспорхнувших птиц нашего детства. Растаяли чистые звуки бубенцов, рассеялся напевный звон колокольчиков. Под студеным небом плыли облака, точно нескончаемый табун диких гусей.

Одно только утешало изболевшее сердце Порубячихи — мысль о Дубраве, той самой деревушке, что, словно гнездо, приткнулась в горах. Память о веселых женщинах и сильных мужчинах этого селения давала ей силы. Ненависть к нашей тихой деревне так и не угасла в ней, напротив, с каждой новой бедой становилась сильнее. Что бы ни приключилось худого, она про себя всегда винила наших односельчан, невозмутимых, казалось ей, как стоячее болото. Вот и теперь, когда отобрали у нее подсвечники и сковороду на пушки, Порубячиха мысленно днем и ночью уносилась высоко в горы, в родную Дубраву.

Она как раз думала о Дубраве, когда кто-то постучался к ней в кухонное окно.

Порубячиха всмотрелась и видит: на белом лужку, что тянется от ручья, стоят женщины. Она глядит им в лицо, глядит на их платья. Яркие цветастые кофты и юбки, кацавейки с черной опушкой, с разрезами, отороченными черной кожей, высокие капцы из грубого сукна с подковками на каблуках. Она так старается рассмотреть их глаза! Женщины все белолицые, а щеки пунцовые, обожженные ветром.

— Дубровчанки! — кричит она вдруг и, с силой дернув, отворяет примерзшее окно.

Под окном стоит в розовой косынке ее младшая сестра, рукой еще опираясь об оконницу: она только что стучала в окно пальцем.

— А мы за тобой. В сельскую управу идем. Собачья жизнь настала, пускай писарь за нас похлопочет. Одевайся, вместе пойдем.

— И в Дубраве тоже? — простодушно спрашивает Порубячиха.

— Да ведь и Дубрава не на том свете, — сердито отвечает сестра. — Как липку нас обобрали, все подчистую отняли. Колокол и то помешал им. Только маленький оставили, его и не слышать вовсе, когда звонит.

— И здесь то же самое, — кивает Порубячиха, — у меня даже бабушкины подсвечники отобрали.

У Порубячихи кровь к лицу прилила, она покраснела и отрывисто вздохнула. Затворив окно и накинув на себя платок, выбежала на лужок к женщинам. Только оказавшись среди них, она заметила, как разительно от них отличается. Она была одета по-нашему: в голубой юбке мелким белым узором.

А одежда дубровчанок пестрела всеми цветами радуги: зеленое с розовым, голубое с желтым, красное с зеленым. Какое-то смутное воспоминание хлестнуло ее по сердцу, она почувствовала, что не только платье отличает ее от них.

— Ну, пошли, бабоньки,— сказала она,— только зайдем еще за одной, чуть пониже.

Она забежала к нам, но мамы дома не было. Она повезла ячмень на мельницу.

— Жалко,— сказала нам тетка и юркнула из горницы, словно ласка.

С порога она крикнула женщинам, стоявшим на дороге:

— Нету ее, повезла ячмень на мельницу, а то хорошо бы ей с нами пойти. Больно она головастая.

— Ничего, и сами управимся! — ответили женщины, махнув рукой.

Писарь удивился неожиданным гостям. Он не сразу разобрал, что означает приход женщин, но на всякий случай решил встретить их привычной улыбкой. Крутил то одной рукой, то другой длинные черные усы. Притопывая сапогом об пол, он все поглядывал то на свои бумаги, то на вошедших.

— Что тут поделаешь, женщины,— пожал писарь плечами в ответ на их жалобы,— я сверху получаю приказы.

— Но ведь вы для того тут и сидите, чтобы защищать граждан! — сказала одна с черными как смоль бровями.

— Граждани! — Он хитро улыбнулся.— Это точно, только не забывайте: идет война, главное теперь — фронт. Австро-Венгерская монархия должна победить! А мы тут уж как-нибудь. Мы с вами дома, тут истинный рай по сравнению с фронтом.— Первое его удивление постепенно прошло, он изменился, повысил голос: — А вам еще не нравится? Ежели кто недоволен...— Он слегка сжал чернильницу на столе и прищурил левый глаз.

Женщины засуетились, переглянулись. Комната погрузилась в тягостную тишину, будто каким-то чудесным образом все покинули ее.

Вдруг дубровчанки расступились, между ними протискивалась тетка Порубячиха. Она терпеть не могла околичностей, предпочитала идти напролом.

Глядя искоса на писаря, она сказала:

— А не все ли равно — что здесь, что на фронте? Всюду наша кровь льется. Мы здесь в работе надсаживаемся, а наши мужья ни за что ни про что на войне гибнут.— Тут вспомнились ей подсвечники, но она поборола себя и заговорила о другой, куда большей несправедливости: — Мало того, что мы изо дня в день отдаем все, что родится и не родится на поле, вы еще и лед на дорогах приказали рубить.

— Я уже сказал,— писарь резко стукнул пальцем по столу,





хотя и было заметно, как он изо всех сил пытается овладеть собой,— я уже сказал, что выполняю приказы своего начальства. К тому же,— он с трудом изобразил на лице заученную улыбку,— к тому же я стараюсь и вам помочь. Весной на подмогу придут к вам военнопленные.

Одна из женщин не сдержалась, насмешливо крикнула:

— Слыхали, соседки, военнопленные придут! Пусть нам мужей воротят!

Женщина, повязанная черным платком в знак траура и смирения, зашаталась. Уже скоро год, как она овдовела. Мужа убили в штыковой атаке. Осталось пятеро детей, а там высоко в горах земля хлеба не родит. Муж, бывало, ходил за горы на заработки — в Микулаш на фабрику или косцом нанимался в поместья. Не жизнь была, а мучение, но нынче и вовсе ад сплошной, никаких сил нет выдержать.

— А чем кормить будем этих пленных, когда самим есть нечего? — простонала она и прислонилась к соседке. — Мне что-то совсем худо,— шепнула она ей.

Писарь тряхнул тщательно причесанной головой:

— Это уж ваше дело. Я не всесильный.

Зло творить — всесильный, а на доброе — сил не хватает, подумали женщины. Нет, так легко они не сдадутся. Пусть поглядит он, какие драные у них рукава на локтях. Разве мыслимо в такой одежде ходить?

— Дети у нас почти нагишом в школу бегают!

— А наших-то и послать в школу не в чем, вконец оборвались.

Писарь выглядывал где-то за спинами женщин служителя. Шарил глазами, щеки его подергивались, он терял терпение.

— Дети ваши разуты-раздеты,— повторял он. — Что ж, совет дам. Напрядите льна, натките полотна, покрасьте, вот и сшейте одежду.

— Керосина нету! — затагнули они, обрывая его. — В потемках прясть не станешь.

Женщины, перекикивая друг друга, приставали к нему, точно оводы. Даже слов нельзя было разобрать.

Писарь судорожно перебрал бумаги на столе и крикнул:

— Жандармов велю позвать! Это что еще за порядки! Вконец обнаглели. Вон отсюда!

Он приказал служителю отворить дверь и вытолкнуть дубровчанок на улицу. Служитель только так для виду слегка потеснил их. Он хорошо понимал, на чьей стороне правда. Сам был худущий, одна кожа да кости. Двоих сыновей забрали на войну, третий, неизлечимо больной, остался дома. Но надо было как-то жить: он помогал людям, чем мог, помогал и писарю за ничтожную плату.

— Он, видите ли, жандармов позовет! — ухмыльнулась тет-

ка Порубячиха, когда они вышли во двор канцелярии.— Были бы тут вместо нас наши парни, он бы подумал, прежде чем такое сказать. Их и господа боятся.

И правда, кому охота была с дубровчанами связываться? Схватят противника за горло и тут же и уложат его на обе лопатки — хоть живого, хоть мертвого. Такого уж были они нрава! Под стать нраву и одевались: носили черные суконные брюки с красными нашивками и безрукавки густо-кофейного цвета, отороченные зеленой кожей.

— Они бы ему показали, уж их бы он не выдворил так просто,— добавила и сестра Порубячихи.

Писарь и сам хорошо понимал, что с женщинами он может себе позволить такое. Кому было их защитить? Мужья, отцы, сыновья брели по незнакомым дорогам, усеянными трупами, обогранными кровью. Дубровчанки ничего не добились, только зря ходили в управу.

— Ничего, как есть ничего,— с досадой говорила одна из них,— скорей с лютым зверем столкнешься, чем с такими людьми. И откуда только взялись они, эти ироды?

А писарь, оставшись один, призадумался: а ну как такая история опять повторится! И тут же решил отписать обо всем городскому начальству. Он немало приврал, приукрасил — пусть никому не повадно будет зариться на его должность.

Целую неделю шныряли жандармы по деревням. Над головами блестели у них штыки, на шапках развевались черно-зеленые петушиные перья.

С обманчивой покорностью взяли люди топоры, кирки, лопаты и отправились рубить гололед, чтобы паны из замков могли спокойно раскатывать по дороге. Не придется им больше дрожать от страха, что лошади оскользнутся.

Рубили лед и разравнивали дорогу несколько дней.казалось, конца-края этой муке не будет. Морозы еще больше окрепли, ночи стали ясные, небо вызвездилось. Под перинами и то люди зябли от холода. Даже днем ничуть не становилось теплее. В самый полдень солнышко хоть и проглядывало, но точно сквозь густую мглу. Эдаким размытым светлым пятном плавало оно в вышине над дорогой и совсем не грело.

Особенно примерзали руки к топорщикам. Тогда еще рукавиц и в помине не было. Люди опускали обшлага по самые пальцы, но и это не помогало. А кто даже обматывал руки тряпками, однако работать было несподручно. Одна мука мученическая. Люди еле-еле дотягивали до вечера.

А чтоб быстрее управиться, привели на помощь школьников. Многие были плохо одеты, у иных и вовсе обуви не было.

— Да они совсем заоченеют! — кричали женщины.

— Ну ничего им не будет. Они привычные,— сказала в

ответ учительница и улыбнулась. Однако тут же спохватилась и разрешила разутым детям отправляться домой.

Человек, когда улыбается, хорошеет лицом и оттаивает сердцем. Я хоть и маленькая была, а уже подмечала, что улыбка нашей пани учительницы часто напоминает ледяные узоры, которые оставляет дыхание мороза на окнах. Я, правда, тогда не могла додуматься, что кто-то приморозил ее душу и что любому человеку приходится бороться не только с окружающим миром, но и со своим собственным — с несбывшимися надеждами и убитыми мечтами. Мир, который таила в себе молодая учительница, соткан был из боли и разочарования. Может быть, потому она и решила напустить на себя вид неприступности и тем самым как бы отгородить себя от людей.

Откуда нам, детям, было знать, что у молодой пани учительницы родился по большой любви незаконный ребенок, что ей так никогда и не довелось услышать согретое самыми нежными чувствами слово «мама». Ребенка взяли на воспитание в замок, туда, откуда родом был его отец. Так прервались все нити, соединявшие его с матерью, учительница не смела даже подойти к нему. И сердце ее изнывало в тоске. Живя в вечном притворстве перед людьми, подавляя в себе чувство разочарования, она постоянно ощущала, как за этой холодной маской бурно живет все ее прошлое. Она терзалась тоской по ребенку, по отцу ребенка. Ей снова хотелось привязать любимого или хотя бы стать ему ближе. А избрать этот путь означало порвать все связи с жизнью, взрастившей ее. Вот она и придала своей красоте вид неприступный и гордый, пытаясь хоть так освободиться ото всего, что отделяло ее от замка. Она упорно ломала себя, подавляя в душе все хорошее, по-настоящему человеческое. Должно быть, поэтому она так охотно выполняла любую волю господ и даже в такую лютую стужу погнала детей рубить гололед.

— Да ведь они и вправду заколечуют,— возмущенно повторила тетка Мацухова, а вместе с ней зашумели и многие женщины.— Верно, и бога нету на небе, коли таких бедняжек пригнали сюда.

Учительница совсем смутилась и недолго раздумывая позовила разутым и плохо одетым детям разойтись по домам. Но про себя она знала, как важно было для нее, чтобы дороги стали проезжими. Ей нужно было хотя бы слышать цокот копыт. Сколько раз, бывало, мы за школьными партами были свидетелями того, как она подбегала к окнам и выглядывала на дорогу, заслышав звон бубенцов господских упряжек. Но в последние дни все будто замерло. Ни одной живой души на дороге. Порой подолгу и как-то безучастно стояла она в классе, горько о чем-то раздумывая, а стоило нам чуть громче

вздохнуть, она бранилась или била нас линейкой по пальцам, сложенным в щепоть. На господских санях катался и ее ребенок, не смевший назвать ее матерью, и его отец, прервавший по воле родителей с ней всякую связь. Лишь изредка побарски заглядывал он на школьный двор. Мы, дети, громко приветствовали его. Учительница тогда становилась веселой, учила нас петь и на доске рисовала цветы и разных зверюшек.

Но когда толстый ледяной покров сковал дорогу, для нас наступили самые тяжелые дни. И может, поэтому нам было куда приятней и вольнее работать среди людей, рубивших лед на дороге, чем цепенеть за партой при каждом взмахе линейки.

Люди кололи лед несколько дней подряд, и когда наконец показалось, что господа смогут спокойно раскатывать, неожиданно ночью опять навалило по колени снега.

А снег — это снова забота, хоть все кругом и стало как в сказке. Сверкало, искрилось, переливалось. Дома стояли будто сахарные. Наш двор побелел и разгладился, словно праздничная скатерть на столе. По нему шел единственный лисий след к верхнему ручью. Мама сказала, что это голод и холод загнал лису к самому жилью человека. Мы тут же пошли считать нашу птицу — не утащила ли чего лиса мимоходом. Но все оказалось в порядке.

Братик, проснувшись, тут же выбежал во двор покувыркаться в снегу. Мы собирались в школу, но и нас потянуло на улицу. Мы выскочили из горницы, чтобы скатать снежный шар. Бетка набрала в пригоршню снега и натерла докрасна щеки. Ведь ей уже хотелось нравиться, и она знала, как идет ей румянец. А Людка подражала ей.

Мы дурачились, но мама, выйдя из стойла с кринкой молока, хмуро заметила:

— Снова погонят снег разгребать. А молотить когда будем? Неужто весной, когда приспее пахать?

«А весной грязь прикажут с дорог убирать. Ежели панам из замков угодно, чтобы по всей округе были такие же дороги, как в городе, пусть бы тогда и мостили их, у них деньги в избытке. А они только из людей все соки высасывают, все у них отнимают, ничего не давая взамен — ни платы, ни пищи, даже доброго слова не скажут». Невеселые мысли мучили маму.

Работы со снегом непочатый край. Господа из замков торопят, рвут и мечут от нетерпения. Старостам даже наказывают подгонять деревенских. Люди из сил выбиваются. До самого вечера и то не успевают разгрести всю дорогу, а ночью опять снегу наваливает. Люди скрипят от злости зубами — ведь сколько в хозяйстве зимних работ не доделано. В это время всегда молотили, а нынче руки до молотбы не доходят.

— И как бог может спокойно смотреть на все это, люди добрые, — сказала тетка Осадская и бросила в сугроб лопату.

— А мне каково, с моей-то кривой ногой,— жалуется старая Верона.— Мало я гнула спину в замках, так теперь и на дорогу ступай! Пока человек еще не испустил дух, сосут его ровно пиявки. Мне, старухе, и почту по деревне разносить с лихвой бы хватило. С панами разве что на том свете покой обретишь, в могиле отдохнешь.

— Вот и я говорю,— кричит с другой стороны дороги тетка Мацухова, стараясь перекричать дробот лопат,— похоже, что и бога нету на небе!

— Как это нету? — дивится Петраниха.— Еще чего вздумали!

Наш дедушка с нижнего конца смеется, пошучивает:

— Бог-то есть, да он заодно с панами, они его подкупили.

— Смотрите, не наказал бы он вас за такие слова,— грозятся женщины.

— Да уж куда больше наказывать,— отвечает старый, опершись о лопату.— Трех сынов у меня уже взяли. Одро погиб, а те двое на разных фронтах. И я хожу как потерянный. Днем и ночью один-одинешенек. В горнице пустые постели.— Он задумывается, с лица исчезает улыбка.— Легко ли? Вам-то небось известно, что жизнь меня не баловала.

Все знали, что наш дедушка дружбы со слезами никогда не водил, редко что принимал близко к сердцу. И за грубость его немало корили. А нынче он всех удивляет: стоит, опершись о лопату, и говорит такие грустные вещи.

— Не раз меня попрекали,— продолжает старый,— что душа у меня ледяная. А нынче как погляжу на эти пустые постели, мочи нет. Бывает, губы все искусаю, чтоб не зареветь. Сперва о боге все думал. А он что? Заодно с панами, и все тут.

— Как же, дядечка! — останавливает его дочка Шимона барабанщика.— Зачем же вы так о боге? Иной раз он человека испытывает, стоит ли он божьей любви, а потом за все муки и воздаст ему сторицей.

— Знаешь,— оживляется дед,— из-за таких вот речей я в костел ходить перестал. Ни во что уж не верю.

Он равнодушно поглядел поверх спящих людей.

— Ты бы лучше детей нам не портил,— упрекали его женщины.

— Не веришь, ну и не верь, да держи про себя!

Дедушка махнул рукой, всадил лопату в снег и отшвырнул с середины дороги к ручью большой ком.

На время все приумолкли. Раздавался только стук лопат о затверделую землю.

С верхнего конца приближались сани с бубенцами. Их чистый звон приглушал скрежет и лязг лопат.

Люди сошли на обочину, знали — катят господа. Лошади

цокали копытами, высоко вскидывая передние ноги. Нам, детям, казалось, что это летят, не касаясь земли, волшебные кони. Под дугами с бубенцами на спинах у них были красно-зеленые попоны. Кучер вожжами оттягивал их головы кверху.

В санях сидел стройный молодой человек, а рядом с ним пожилая женщина, закутанная в меха.

Учительница стояла на мостике над нижним ручьем. Мы, школьники, перекидывали снег недалеко от нее. Пока выезд приближался, она растерянно теребила пальцами в перчатках застежку на пальто и тяжело вздыхала.

Я видела, как старшие дети, а среди них и наша Бетка, переглядывались, но я ничего понять не могла. Да и раздумывать не было времени — лошади зацокали совсем близко, люди вокруг низко кланялись, а из саней приветливо улыбалась барыня. Одной рукой она помахивала людям, а другой судорожно сжимала за локоть молодого пана, точно старалась от чего-то его удержать. И в самом деле, ей не хотелось, чтобы он посмотрел на учительницу, которая, дрожа всем телом, стояла на мостках. А у него даже взгляд заострился от напряжения. Он пытался и угодить матери, и обмануть ее. И только ждал подходящей минуты. Она как раз подросла, когда лошади с расчищенной дороги на всем скаку внеслись в глубокий снег. Дальше ехать было нельзя, и господам пришлось повернуть. Люди подбежали на помощь, обступили сани. Тут молодой человек поднялся с сиденья, будто решил сойти на землю, чтоб лошадям было полегче, но это был только предлог. Увернувшись от присмотра матери, он поглядел на учительницу.

Она хотела было улыбнуться, но у нее свело губы. Улыбка вышла совсем жалкая и так и застыла на лице. Она прикрыла глаза, а рука, скользнув по пальто, повисла вдоль тела как надломленная ветка.

Сани покатили в обратный путь. И вместе с ними уносился звонкий и тревожный голос бубенчиков.

Бетка потянула меня за рукав и загадочно спросила:

— Видела?

Но вместо меня ответила тетка Ондрушиха, укоризненно качая головой:

— Сама виновата, сама себя до беды довела.

Учительница сказала женщинам, что у нее разболелась голова и что ей надо уйти домой. И она побрела средь сугробов, мимо корчмы назад в школу.

— Как тут не заболеть голове, — донеслось до меня.

А Бетка в это время нашептывала что-то на ухо Пауле, младшей Петранёвой дочке. Они лукаво глядели куда-то вниз на дорогу. Белые их лица на морозе горели, меж смеющихся губ посверкивали зубы, в студеном воздухе полу-

бели легкие пары дыхания. Я заметила, что взглядами они летят навстречу кому-то так же стремительно, как за минуту до этого мчались кони, впряженные в господские сани.

Я оглядываюсь в ту сторону и вижу: вверх по дороге шагает паренек. Его золотоволосая голова не покрыта, хотя мороз лютует вовсю. На плече у него лопата, он только сейчас идет перекидывать снег.

Гордый, стройный Милан останавливается около нас. Сперва смело и приветливо здоровается со всеми, потом улыбается девочкам, прищуривает один глаз и с минуту глядит на меня. Мне чудится, что это такой же затаенный взгляд, как и взгляд молодого пана из саней на учительницу. У меня кружится голова, я глазами ищу спасения у матери. Но она уже далеко, у третьего дома, и ведать не ведает о моих терзаниях. К счастью, девочки пристают к Милану, и он, ловким прыжком перескакивая через сугробы, присоединяется к взрослым.

Он бросает лопату и набирает пригоршню снега. Скатывает из него твердый снежок и издали грозит запустить в нас.

— Ну, в кого? — волнуется Паула.

Бетка в поисках укрытия отбегает к забору, огораживающему Ливоров сад. Снежок свистит в воздухе, люди увертываются, грозят Милану. Но снежок летит к своей цели. Он ударяет в развевающуюся юбку Бетки и целехонький падает в рыхлый снег у ее ног. Паула заметно грустнеет, она не умеет притворяться, как мать. Разочарованная, она уходит к старому амбару перебрасывать снег.

Бетка, опершись спиной о забор, выглядывает в толпе Милана. Она словно купается в счастье. Глаза у Милана искрятся, он встряхивает головой, точно жеребенок, охваченный первой радостью молодости. Довольный, улыбающийся, он оттирает мокрые ладони о штаны и снова берется за лопату.

Тетка Осадская издали следит за сыном и приветливо окликает нашу маму:

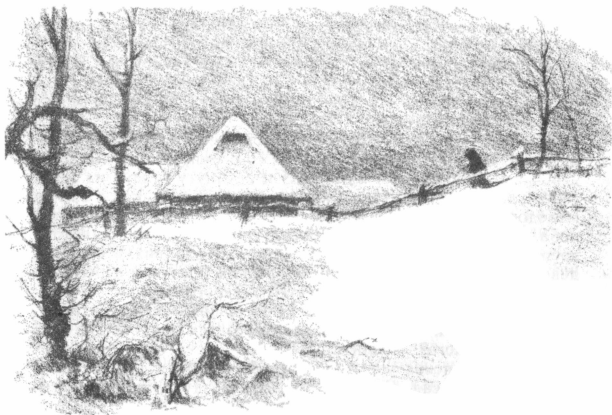
— Вот и подросли наши дети, моя милая.

— Ну и пусть их,— еще приветливей отвечает мама.

Бетка в растерянности отскакивает от забора ко мне. Будь я постарше, наверное, поняла бы, что ей хочется утаить от людей самое сокровенное: первую и прекрасную игру юного сердца. Утаить от взрослых — ведь они мигом обо всем догадаются. Мама говорила нам: человек может скрытничать, изворачиваться, но глаза всегда его выдают. Они как огромная книга, в которую вписана целая жизнь. Вот и Бетка, может, оттого и прикрывала глаза, чтобы никто по ним не прочел, что перст судьбы начертал в ее сердце. Она и на меня взглянула только так, сквозь щелочку век, и все-таки ей не терпелось с кем-нибудь поделиться.

Она сказала мне, своей тогда еще несмышленной сестренке:





— Только маме ничего не говори.

— Не-е,— обещала я.

И я застегнула рот на все пуговики. Мама порой хоть и заговаривала о Милане, но мы упорно молчали. Как заведет о нем мама речь, я тут же стараюсь отойти от нее, потому что при первом же слове встают передо мной его ярко-синие глаза и золотое кольцо волос надо лбом. В нашей деревне никто не ходил на Милана Осадского ни обликом, ни повадками. И у меня сделалось такое чувство, будто кто-то выхватил из моих рук самую любимую игрушку, которую незадолго до этого мне подарил. Может быть, ее взяла Бетка. С малых лет у меня была такая особенность, я очень расстраивалась, когда, бывало играя, вдруг не полажу с подружкой и она убежит от меня. Мне всегда становилось очень грустно. Грустила я и по Милану Осадскому.

Чтобы развеять свое горе, я побежала к любимым камням на верхний ручей. Но они крепко спали под толстой снежной периной и видели зимние сны. И мне ничего не оставалось, как ждать, пока весна разбудит их своей волшебной палочкой.

Чудная, непонятная какая-то боль закралась в мое сердце из-за Милана и никак не унималась. В конце концов я решила отправиться на Груник, там поискать утешения.

— Тетушка Верона! Тетушка Верона! — Я стучу кулаком в дверь ее лачуги и не могу достучаться.

Кругом тишина, никаких дневных шорохов. Только на дереве над призрачным, замершим замком ворон. Он отыскивает себе местечко на ветке, и с нее ссыпается снежная пыль.

— Тетушка Верона!

Наконец в окне отодвигается полотняная занавеска, и сквозь наполовину оттаявшее стекло показывается Веронино лицо в рамке седых волос. На ней льняная рубашка, стянутая у горла тесемкой.

— Сейчас, сейчас отворю! — кричит она и, припадая на одну ногу, ковыляет к сениям. — Уж не стряслось ли чего у вас? — спрашивает она, впуская меня в дом. И, не дожидаясь ответа, продолжает: — А я вот малость вздремнула, старому-то человеку в постели лучше всего.

— Я пришла вас проводить, тетушка Верона. Давно у вас не была, — говорю я ей от двери, перемогая тревогу на сердце. — Не только вам, нам тоже бывает приятно в постели. Так не хочется вставать рано утром, высуну голову из-под перины и быстро назад. — Я улыбаюсь как-то вымученно, невесело. — Еще бы, кому охота вылезать из тепла в холодную горницу!

Я живо представляю себе, как темно в окнах, когда нам приходится на рассвете вставать: ни соседской крыши не видеть, ни даже старой груши, что клонится над ручьем у самой дороги. Обычно мы просыпаемся, когда мама начинает рубить у дома замерзшую прорубь — там, чуть пониже мостков, она набирает в ведра воды.

— Да, уж конечно, никому неохота вставать. — Я трещу без умолку, покада Верона одевается, выдумываю что угодно, лишь бы только не думать о Бетке и Милане. — Детям в замках небось еще хуже, чем нам, они и вовсе не привыкли к холодным горницам. А сейчас война, ведь им тоже приходится рано вставать, а, тетушка Верона?

Верона молчит. Она только подходит ко мне и пальцами, тоненькими, как веточки, ворошит мне волосы. Она легонько теребит их обломанными ногтями, а после как-то порывисто привлекает меня к себе левой рукой и сгребает под мышку.

Мне и не шелохнуться. Висок мой у самого ее сердца, и я слышу, как оно постукивает, словно бы шуршит тихо. В старости так бывает. Да и дыхание какое-то трудное, будто что-то стоит у него на пути, оно похрипывает в груди, и Вероне приходится даже прокашливаться.

— А вы на меня не сердитесь, тетушка Верона? — Я еще плотнее прижимаюсь лбом к ее жакетке, точно этой нежностью хочу залобить ее.

— Помилуй, за что? Ох же и любопытная ты! Все бы тебе знать, а зачем? О худом лучше не ведать. Ты еще совсем ведь молоденькая. Вот и радуйся.

Уж лучше бы не говорить ей такого. Ведь я прибежала к ней со своей детской тревогой. Детство знает и печали, не только радости.

— Тебе-то что, ты можешь радоваться! — Она разглядывает меня на свету. — Вот у меня не было такого пригожего личика, только и говорили всегда, что у меня доброе сердце. Никто по мне не сох, как по другим девушкам, никогда парни из-за меня не рубились валашками. Только однажды посватали меня за вдовца, чтоб было кому его детей обиходить.

— А за кого вас посватали? — спрашиваю я тихонько, мне даже неловко за мое любопытство перед старушкой.

— За кого? Тебе уж и это скажи! Ну да ладно. За отца барабанщика Шимона Яворки, — вздыхает она, оглядываясь на прошлое. — Многие довелось ему вынести, бедняге. Они с братом судились из-за наследства, а нечего было затевать им такое. Тебя еще тогда на свете-то не было, когда отец их помер. Он перед смертью разделил между ними имущество, и Шимону, как старшему, досталось на одну борозду земли больше. Вот из-за этой-то борозды они и лишились всего. Младшего брата зависть взяла, спать ему не давала. Таскали они от одного адвоката к другому, из суда в суд, пока все у них не пошло с молотка. Люди обрадовались, все и скупили. Пашни здесь мало, а в ту пору было и того меньше. Кустарник да камни под Острым и Тупым бугром, горы аж к самым гумнам подходят. Где там что могло уродиться? Нынче уже чуточку лучше. Сколько же мы всего на господском поле повычистили! Тут земля никогда не была такой, как у нас в Дольняках<sup>1</sup>. — Верона примолкла, уносясь мыслями в иные края. — Знаешь, ведь я же не из этой деревни. Господа привезли меня с другого хутора, с того, что на равнине. Мой отец там батрачил. Тот хутор тоже принадлежал нашему панству, да и нынче он у них не единственный — что здесь, что там. Пойдешь в люди — увидишь. Может статься, тебя тоже увезет с собой какая-нибудь барыня за твое доброе сердце. Только личико у тебя другое. Из-за тебя парни будут через плетень перескакивать.

Мне тут же вспомнилось, как Милан Осадский перепрыгнул через сугроб, когда кололи лед на дороге и разгребали снег, как скатал твердый снежок и как Паула, возбужденная ожиданием, спросила: «Ну, в кого же?» Ну, в кого? Ни в нее, ни в меня, а в Бетку. Как же горько Верона ошибается!

— Вот посватали мне одного человека в жизни, да и того

---

<sup>1</sup> Дольняки — область в южной Словакии.

я потеряла.— Верона пытается улыбнуться.— Нашли ему другую, у которой был хоть домишко и клочок земли. Осталась я одна-одинешенька на всем белом свете. За верную службу паны разрешили мне жить до самой смерти в этой хибарке. Да я еще сторожу им замок. А то и голову негде было бы приклонить на старости лет. Вот как с человеком бывает.

Своим рассказом Верона отвлекает меня от моих детских печалей и поневоле заставляет отведать ее горестей.

На короткое время она умолкает. Слышно, как перелетает с ветки на крышу халупы ворон. Он шагает вдоль стрехи, сметая снежную пыль — она кружится вокруг длинных намерзших сосулек, а ветер играет на них, будто на трубах органа.

— Ну, я и разговорилась, чисто на исповеди,— удивляется самой себе Верона и тихо добавляет: — Может, уж смерть меня поджидает?

На меня накатывают страхи от этих слов ее. Я озираюсь по сторонам: в маленькой уютной горнице, кроме нас, никого. Только на стене тикают часы-ходики, да из печи слабо светит догорающий жар. Верона прикрывает глаза и сидит без движения. Я пугаюсь, трясую ее за руку, хочу хоть чем-то утешить старушку в ее печали.

— Обождите, тетушка Верона, скоро весна, ярко засветит солнышко...

Зажмурившись, она гладит мне руку. И крепко сжимает ее.

— Ох, ты,— говорит она,— ты и мне в утешенье, не только мамке своей.

Верона улыбается и потихоньку открывает глаза. Она оживает, точно, вздремнув с минуту, набралась сил.

— Что ж тебе о всяких печалях рассказывать,— казнится она,— ведь такое только для старых годится.

— Да это же интересно, тетушка Верона.

— Тебе все интересно, лишь бы человек языком молотил. Лучше бы мне рассказать, как отец Шимона Яворки, раз уж я заговорила о нем, однажды в яме с волком ночевал.

— С волком... в яме? — У меня дух захватывает от любопытства.

— Погоди, надо бы дровишек подкинуть в печь, чтоб не погасло.

Я вскакиваю и подкладываю на дотлевшие угли несколько чурок.

— А теперь слушай,— говорит она.— Когда Яворки растеряли по судам все свое имущество, пришлось им искать работу. Шимонов отец с детства — ох и доставалось ему за это! — частенько убегал к старому цыгану побренчать на басе<sup>1</sup>. А когда подрос, уже научился неплохо играть. Сколько

---

<sup>1</sup> Бас — музыкальный струнный инструмент низкого регистра.

раз, бывало, и на танцах пиликал. Когда он обнищал, принес ему старый цыган бас и уговорил его пойти с инструментом на заработки. Мало-помалу Шимонов отец заделался таким музыкантом, что ни одна свадьба в округе без него не обходилась. Как-то справляли чью-то свадьбу в Межградном. Дело было зимой, тьма — хоть глаз выколи, а Шимонов отец возвращался домой до рассвета. Тогда обычно сворачивали у Тупого бугра, а там через поле напрямки к Бычьей яме. Тем путем пошел и Шимонов отец. А в ту пору в округе еще не перевелись волки. Зимой голод гнал их к жилью. Чтобы уберечь скот, люди устраивали всякие ловушки. Чаще всего выкапывали на задворках глубокие ямы и прикрывали их створками, которые крепились шестом посерединке. Ступишь, не ведая, на край створки, она перевесится — и ты уже в яме. Ваш дедушка с верхнего конца, как волки сожрали у него яловицу, выкопал на краю сада такую вот яму. В эту яму и упал отец нашего разлюбезного барабанщика Шимона Яворки, когда в подпитии возвращался со свадьбы. Он сразу пришел в себя, отрезвел, а тут вдруг на него в яме кто-то «р-р-р, р-р-р!» Пораскинул он тут умом — как делу помочь, ведь он лежал в одной яме с волком...

— А что же он сделал? — шепотом спрашиваю я у Вероны, сердце мое колотится у самого горла.

— Что сделал? Нужда заставит — уму-разуму сразу наставит. Волк ему «р-р-р!..», а он на басы «д-р-р-р!..». Так до утра и наигрывали. Забрезжило утро, люди проснулись, услышали эту музыку. Шимонова отца вытащили, а волка убили.

Я и слова не могу вымолвить, до того страшной кажется вся эта история. Она прогоняет всякие думы о Бетке и Милане. Только бы не стемнело, только бы не впотьмах мне добираться от Вероны домой.

— Если бы я повстречалась с волком, я бы поседела от страха, — признаюсь я Вероне.

— Уж бы и поседела! У тебя еще и волосенки-то путем не выросли, а ты уж «поседела бы». Не бойся, нынче волков поблизости нету. Только в лесах еще охотникам попадают.

— Ну я пошла, тетушка Верона, — подымаясь, говорю я.

— Уж другой раз я не стану тебе рассказывать такое страшное.

Крадучись, пробираюсь к двери. А что, если меня волк схватит прямо с пристенья, как однажды, в пору бабушкиного детства, он схватил в верхнем конце деревни ребенка, которого мать в наказание выставила за дверь?

Я набираюсь смелости, нажимаю на щеколду и отворяю дверь. Сразу же чудится мне золотой чуб Милана и его западающая в душу улыбка. Это придает мне силы, и я смелее двигаюсь дальше: ведь Милан защитил бы меня от волка.

Только я вышла за дверь, слышу удары барабана. Образ Милана мгновенно рассеивается. Это Шимон Яворка выстукивает барабанную дробь. Когда она затихает, до Груника долетает его голос, но слов не разобрать. И меня и тетку Верону это тревожит. Уже у нас, у детей, сложилось определенное отношение к сельскому барабану.

— Помянешь черта, он тут как тут, — поморщилась старушка. — Какую еще муку людям придумали?

— Пойду погляжу, тетушка Верона, — предлагаю я.

— Обожди, вместе пойдем.

Пока Верона надевала теплую жакетку, пожалованную ей господами, приехавшими прошлым летом из Пешта<sup>1</sup> провести нежилой замок, я уже припустилась вниз по Грунику домой.

Прихрамывая, чуть позже доковыляла к нам и тетка Верона. В это время Шимон Яворка барабанил уже в верхнем конце деревни.

В горнице с мамой сидела тетка Ондрушиха. Ондруши закололи свинью, и она принесла нам супу из требухи. Тетка всегда о нас помнила, это ей и самой доставляло радость — ведь у нее своих детей не было. Она тут же привлекла меня к себе и вытащила из кармана юбки гостинец. Это были четыре белые леденцовые палочки в красных и зеленых, точно нити, полосках. Она велела мне разделить их между всеми. А купила она, мол, эти конфеты у корчмаря, он как раз привез их из города.

Мама меж тем пересказывала приказ, обнародованный барабанщиком. В селе якобы совсем не наготовлено дров, раз все мужики на войне, и люди сами должны отапливать школу. А количество дров определялось по числу детей школьного возраста в каждом хозяйстве.

— Вот уж несправедливо — по числу детей, — дивилась мама. — Надо бы определять по хозяйствам, ведь почти весь лес у богатых. У них и батраки есть, значит, и свезти дрова им не трудно. Ничего б не случилось, если бы они и школу отапливали. Ведь всюду в богатых домах по одному ребенку, редко по двое. А у бедных детей, что апостолов. Ну как же им управиться? Кто только такое придумал?

— Не иначе, как староста придумал для нас такое мученье, — говорит тетка Верона.

— Да что о том толковать, ясно, как дважды два четыре, — подтверждает Ондрушиха, с удовольствием глядя, как я облизываю конфету. — Есть кому посоветовать, ведь Ливорова сестра — жена у него. Они с моим стариком одного поля

---

<sup>1</sup> Пешт — город на левом берегу Дуная, объединенный с городом Буда (на правом берегу) в один город Будапешт, ставший столицей Венгрии.

ягоды. Мой тоже готов по три шкуры с бедняка драть, уж такой бесов характер. Знали бы вы, какая жизнь у меня с ним. Столько муки терплю, на целую бы деревню хватило. Лучше бы мать петлю мне на шею накинула, чем меня за него отдала. С последним бы нищим поменялась, лишь бы от этого мучительства избавиться. Какой мне прок от богатства? Мытарит меня с утра до ночи, как мытарят народ староста или писарь.

В самом деле, новая беда придавила людей. Дров было мало, хотя, казалось, леса кругом видимо-невидимо. Но кому было деревья рубить, когда мужской помощи нет, кому дрова свозить, когда лошадей раз-два и обчелся!

У нас дров было всего ничего, мама даже тревожилась, что мы до весны не дотянем. Каждый год спасались мы шишками. Осенью набивали ими мешки и свозили с Матько в овчарню. Это было гораздо легче для женщин и детей, чем пилить и рубить елки.

Да и не одни мы так поступали, иной раз по осени людей в лесах тьма-тьмушая. Пожалуй, ни одной шишки под деревьями не оставалось.

Топить школу начали с нижнего конца деревни. Каждый дом по очереди. Сколько в доме детей, столько дней подряд и топили. Люди ворчали, сердились, проклинали все на свете. Но никакого толку от этого не было: староста отговаривался, кивая на писаря, писарь — на комитатские власти. Власть посулили дело уладить, но, пока улаживали, зима миновала. А в те времена люди привыкли повиноваться всему, что было предписано на бумаге.

Бывали дни, когда мы в школе совсем замерзали. Бедным топить было нечем. Со слезами на глазах подкладывали они каждую чурочку в школьную печь — ведь у них только и было, что собирали они летом на межах либо тайком уносили из чужого леса. А богатые иногда не топили просто из жадности.

Пришел и наш черед. Мы отапливали школу три дня подряд, потому как в школу ходило нас трое. Дрова на глазах стали таять, и, чтобы как-то продержаться до весны, дома пришлось топить очень-очень редко. Такая уж была у нас тогда жизнь: в постоянных мечтах о еде и тепле. А чтобы хоть на время отвлечь нас от этого, мама рассказывала нам сказки. Бывало, в горнице стоит такая стынь, что вокруг маминых губ белело дыхание.

Обычно тетка Верона вместе с почтой приносила и ключ от школы тем, чья очередь была топить на следующий день.

— А кто же от вас пойдет? — спросила она в тот день, когда принесла нам ключ.

— Я и Людка, — ответила я, зная наперед, какая это мука для нас. — Бетка с утра помогает маме.

— Да ты корзину-то дотянешь?

Я киваю, а про себя знаю, как тяжела эта обязанность. И вот рано утром — еще не рассвело — тащим мы с Людкой корзину, полную шишек, щепок и спутанного хворосту.

Снега видимо-невидимо, мы едва перелезаем через сугробы, а на улочке за корчмой увязаем по пояс. Шишки рассыпаются, мы пытаемся их собрать, а они все глубже и глубже погружаются в снег. Мы их даже не видим — рассвет только забрезжил где-то далеко за горами. Только на ощупь мы находим их и бросаем назад в корзину. Руки у нас красные, будто вареные раки. Мы снова поднимаем тяжелую корзину и волочем по глубокому снегу к нашей школе.

Школа стоит за корчмой посреди большого сада, в стороне от соседних домов. На снегу чернеет ее широкое деревянное здание. Тут же у калитки стоят за оградой деревянные сараи, но теперь в них ни единого колышка. За ними у ограды дикий смородинник. А на меже, что отделяет сад от школьного двора, торчат несколько одичавших яблонь. Сейчас под толстым слоем снега ветки их клонятся до самой земли.

Умучившись, ставим мы наконец корзину у дверей школы.

Людка достает из кармана фартука ключ, но всунуть его в замочную скважину и открыть не решается. Нас страшит темнота. В пору нашего детства люди темноту всегда связывали в своих представлениях с привидениями. А что нам взрослые говорили, в то мы и верили. Мне приходят на ум еще и волки, о которых недавно рассказывала тетка Верона. Я тороплю сестру, чтобы побыстрее отворяла. Прижавшись друг к другу, в темноте тащим мы по полу корзину к печи. У нас даже сердечки стучат — мы спешим развести огонь, чтобы стало светлее.

Людка кочергой просеивает сквозь решетку пепел, а я держу наготове охапку хвороста. Сухие еловые ветки мгновенно вспыхивают, и мы, улыбаясь друг дружке, хватаемся за руки.

Но ждать еще долго — печь должна как следует прогореть, пока станет тепло. Мы садимся за парту и так, рядышком, глядим на язычки пламени, мерцающие за резными створками. Печное тепло приятно овеивает нас. Окоченевших, невыспавшихся, нас клонит в дрему. Мы обе крепко засыпаем на парте.

Мне снится, что наш отец вернулся из России и привез мне красивые бусы, какие обещались нам купить после войны мама и тетка Порубячиха.

Я радуюсь желанному гостинцу, и вдруг возле меня удар линейкой по парте. Я вскакиваю. Передо мной стоит учительница, вокруг сидят ученики. Людка спит, умученная еще и вчерашней расчисткой снега. Печь погасла, меня колотит дрожь.

— Как же я буду заниматься в таком леднике? — слышу я крик и свист линейки.



Детям приходится трясти Людку, она никак не может проснуться. Открыв наконец глаза, она недоуменно озирается вокруг.

Учительница велит нам сложить пальцы в щепоть. Линейку она дает одному из учеников — Мишо Кубачке, чтобы он наказал нас, потому как он самый отъявленный драчун в школе. Летом он разоряет птичьи гнезда и устраивает набеги на чужие сады. Повсюду в деревне видны следы его преступлений. Но Мишо Кубачка не хочет брать в руки орудие расправы. Он сжимает кулаки и упорно глядит в землю. Кто знает, о чем он думает про себя?

— Протяни ладони! — приказывает ему гневно учительница.

Мишо протягивает обе руки. На них сыплется удар за ударом, но он ни звука. Надув губы, возвращается на место.

По пальцам, сложенным в щепоть, стегает нас сама учительница, взволнованная до крайности. Она приказывает нам снова растопить печь.

Я иду к печи и ощупываю шею. На мне нет тех красных бусинок, что так ласково надел мне на шею отец. Это всего лишь отрадный сон. Мы торопимся разжечь печь, а то, пожалуй, еще будет хуже. И так концы пальцев у нас вспухли и посинели.

Учительница не может успокоиться. Она мечется взад-вперед по классу, сердится. Но ведь мы уже осознали свою вину: да, мы не уследили за печью и она погасла. Но вот уже снова разгорается пламя, и мы хотим вернуться на место.

— Нет, — решает учительница, — будете на коленях стоять у доски.

Мы с Людкой опускаемся на выстуженный пол. Колени забнут от невыносимого холода. Рядом с нами оказывается и Мишо Кубачка. Мне даже стыдно стоять на коленях рядом с таким скверным мальчишкой. А в наказание еще и глаз от пола нельзя оторвать. Но Мишо Кубачка и не думает смотреть в землю. Он улыбается, держа голову как раз на уровне классной доски. И даже толкает меня локтем, написав на доске: «Давай встанем».

Ребята тут же разнесли по деревне, что приключилось в школе. Мама и побранила нас и пожалела.

А старая Верона рассудила об этом по-своему. Опираясь на палку, доковыляла она с Груника к нам. В фартуке принесла старинное кружево — еще в служанках носила его на чепце. Ей очень хотелось развеять наши печали.

— И не вздумай ругать их, — наказывала она маме, — дети есть дети. И для них время лихое. Скоро станет полегче, — продолжала она, глядя умными глазами перед собой. — Война вот-вот кончится, и кто знает, для кого хорошо, а для

кого и плохо. Да она и господам уж надоела. Как приду с почтой в замок, спрашивают о наших деревенских, будто кого опасаются. Должно быть, чувствуют что-то недоброе — ведь они ни с того ни с сего не пугаются. Понимают небось, что люди уже по горло сыты войной. Провались она с ее винтовками, пушками и гранатами... И пожалуй, с ее господами.— Верона постучала по лбу пальцем.— Я-то знаю, у кого что в голове. Не глухая я, не слепая: когда разношу почту, все вижу. Верона ведает, кто как обедает. Хватит и словечка — красного петуха не только в замок подпустят. Ни писарю, ни старосте не снести головы. Да разве угадаешь, кого в этот кипящий котел зачерпнет поварешка!

Правду сказала тетка Верона: народ сыт был по горло войной. Точно упырь, она высасывала из миллионов людей последние силы и взваливала на них бессмысленные повинности. Мы были среди этих людей и разделяли их участь. Мы никогда не знали, чем встретит нас утро и с чем отойдем мы ко сну. В памяти моей живо остался один из таких вечеров.

Это случилось как раз после ухода тетки Вероны. В тот час на деревню опускалась тьма, точно с вышины слетала черная птица. Она прикрыла собой домишки, и ночной сторож возвестил десять часов вечера.

Мама уже давно уложила нас спать, но сон не шел к нам. Мы глядели, как она ходит взад-вперед по темной горнице, мелькая в свете окон, за которыми белел недавно выпавший снег.

Она ходила и то и дело задумчиво пожимала плечами.

— Ну не оставаться же нам без единой щепки. До весны еще далеко, да к тому же и вёсны бывают холодные. Что-нибудь непременно надо придумать. Но что? — Мама снова пожимает плечами и останавливается.— Давно мне кое-что пришло в голову,— она становится еще более серьезной,— хотя нет, куда там! — Она отгоняет от себя какие-то дурные мысли.

А чуть погодя раздаются ее шаги в суконных капцах. Рукой она трет нахмуренный лоб.

— Нельзя же вечно просить у других,— говорит она нам.— У дедушки с нижнего конца есть небольшой лесок, но что мне там делать? Придавит меня бревном — вот вы и сироты. Нет, это не то... Мои родители и так дали нам несколько корзин щепок. Сама видела, что и они бедуют без топлива. Не пристало мне без конца кланчить у них. Самим надо как-то выкручиваться.

— Надо, конечно,— подбадривает всех Бетка.

У нее тоже озабоченный вид: ведь и ее тревожат мамыны горести.

— Вот что я придумала,— говорит мама как-то нерешительно.— У дяди Ондруша в конце полянки стоит сломанная верба. Все одно сгниет со временем. Вот бы нам ее распилить да притащить сюда. Ничего больше не остается.

У нее даже голос изменился, должно быть, от стыда, что ей придется поднять руку на чужое. Но какой тут может быть стыд в это звериное время! Об этом люди толкуют повсюду. Но мы чувствовали, что маме все равно трудно решиться на такое, что она, с одной стороны, противится этой затее, а с другой, понимает — иного выхода нет.

И, как бы оправдываясь, она сказала:

— На что уж дядя Ондруш богатеи, а вот ведь летом застал его Ливора, как на поле у него зерно крал. Землято у них по соседству, вот он и накладывал Ливоровы снопы к себе на телегу. Раз уж богатеи друг у друга таскают, так, поди, не такой уж и тяжкий грех, ежели мы эту вербу...— Она как бы нашла для себя извинение: ведь это нужда заставляет нас посягнуть на чужое. И, улыбнувшись, добавила уже веселее: — Как отец с войны воротится, мы и признаемся. Тогда вернем Ондрушам сторицей...

— И правда!

Мы в постелях все разом вздохнули.

У меня даже от сердца отлегло. Ведь я-то еще не забыла, как дядя Ондруш хотел огреть меня палкой, когда я пришла к нему просить лошадей.

Ондруши и в войну жили безбедно. На фронте никого у них не было. Деньги они выручали за все, что родилось на поле. Вносили в банк, либо скупали землю у тех, кого жизнь довела до беды. Тетке Ондрушихе все это было не по душе — ей милее было человеку помочь, чем обидеть. Когда наша корова еще не отелилась и мы остались без молока, тетка нет-нет да и принесет нам молочка в кринке под фартуком. Делала она все это украдкой — скупой Ондруш был всегда начеку.

Мама тоже считала тетку добрей, сердечней, и поэтому в ту мучительную ночь сказала:

— Заикнись я тетке насчет этой вербы, она наверняка велела бы нам ее взять. Но дядя — сущий злыдень! Уж лучше молчать.

Так мы и порешили, и на душе нам стало легче. Уткнувшись в подушки, мы вскоре заснули.

Не слышали даже, когда улеглась мама.

Только глубокой ночью мы почувствовали, что она, легонько касаясь наших постелей, будит нас. Бетка и Людка тихо оделись. Мне мама наказала приглядывать за братиком. Да еще велела нам обоим держать рот на замке, а сама с Людкой и Беткой вышла из дому.

В сарае они взяли пилу, топор и веревку. Мама шагала



вперед, вверх по проезжей дороге, лежавшей через Груник. Бетка и Людка гуськом шли за ней. Бетка несла топор, Людка веревку, а мама пилу.

Ночь стояла ни темная, ни ясная, так, серединка наполовинку. Низкое небо было беззвездным, твердый, мерзлый снег хрустел под ногами. Деревня спала. Обычно с утра до ночи раздавался собачий лай, а тут ни звука, точно сама ночь хотела помочь измученной женщине.

С проезжей дороги они свернули в поле, занесенное снегом. Перед ними обозначилось русло ручья с бережками. Подойдя к нему, мама попробовала, крепок ли лед в этом месте, а то еще проломится и окажешься в проруби. Но лед был тверд, точно мост, и они легко перешли ручей. Труднее было идти полем. Снег местами оседал, и они увязали по колени. Но никто не роптал, не жаловался. Они шли и шли. Вот уже перебрались и через глубокую рытвину, которую проложили весеннее половодье и летние ливни. Снегу в нее нанесло выше головы. Но он держал крепко.

Наконец они добрались до полянки. На фоне белевшего откоса у подножия горы вырисовывался обломок вербы. Еще весной Матько вырезал нам из нее дудочки, летом мы обла-

мывали от нее прутики, чтобы стегать друг друга, а в эту ночь мама коснулась ее пилой. Когда-то вербу до половины обломил ветер. Так она и стояла, продолжая расти вширь. Пока они вербу пилили, умучились вконец. А когда она упала, мама вырубил на ней засечки, увязала за них один конец веревки, другим опоясала ствол и потащила домой. Бетка и Людка ей помогали.

Проселочной дорогой идти они не решились, а снова сделали крюк через поле, чтобы никто их не увидел. Как ни тяжело было окольным путем волочить эту вербу, но они дотащили ее до дому и подкатали под навес в саду. Рады были, что даже дядя Данё Павков ничего не заметил.

Бетка и Людка до того измучились, что раздевались и укладывались уже в полусне.

За ночь снова навалило снегу. Он занес все борозды, которые верба проложила на поле. Замел и отпечатки ног. И от этого тягостного происшествия не осталось и следа.

— Хорошо, что так получилось,— сказала мама,— ведь я со стыда бы сгорела, если бы это открылось. После войны, почитай, уж не будем так мучиться.

А утром братик не смог подняться с постели. Все жаловался, что болят ножки и голова. Дышал натужно, лежал не двигаясь. Мама решила, что ему надо как следует выспаться — ведь ночью он столько раз просыпался из-за этой вербы.

Но к полудню у него запылали щеки. Лоб был горячий, у корней волос полоской выступила испарина. Глаза были мутные, он едва поднимал веки.

— Что с ним? — спросили мы, придя из школы.

— Сильный жар, — озабоченно ответила мама.

— Может, он ночью простыл? — сказала Бетка и вспомнила, как они нашли его раскрытого — перина валялась на полу. — Ты спала как убитая, — она смотрела на меня с укором, — никто его не прикрыл. Ну и приглядывала же ты за ним!

— Вот ведь, — покачала головой мама, — хороший человек чуть согрешит, и бог мигом его покарает. А скольким злодеям все сходит с рук!

Мы положили сумки, стоим ждем, что прикажет нам делать мама.

Меня она послала за теткой Геленой. Пусть, мол, принесет травы и немного меду. Когда мы вернулись с теткой Геленой, у Юрко на лбу лежал холодный компресс. Дышал он открытым ртом, еще тяжелее, чем прежде, и как-то прерывисто. Накрыт был перинкой по самым подбородок. Он обильно потел и с натугой приподнимал веки.

Мама не вслепа его беспокоить. Может быть, заснет, а ведь сон лучший лекарь. Мы испугались: а вдруг братик уснет навсегда!

Людка тут же подседа к нему и попросила, чтобы ей позволили остаться с ним. У нее дергались губы, казалось, она вот-вот расплчется.

— Не волнуйтесь, все пройдет,— успокаивала нас тетка Гелена.— Наварим ему травы с медом, легкие мигом очистятся.

Когда вода вскипела, мама бросила в нее сухие стебельки трех разных трав. А потом сседила в чашку золотистый чай.

Юрко, мучимый жаждой, выпил все залпом. Лежал он на подушке спокойно, будто спал. Ни разу не шелохнулся, даже не двинул рукой. Пот струился у него по лицу.

— Это хорошо,— радовались женщины,— пропотеет, полегчает ему.

Тетка Гелена стояла, опершись о передок кровати. Вдруг она зябко поежилась. Подошла к печи, пощупала.

— Батюшки светы, да ведь вы и не топите вовсе! — сказала она и с укоризной взглянула на маму.— Как же тут детям не захворать? Неужто у вас и чурочки нету печь для него истопить?

Тетка Гелена хорошо знала, что у нас ничего не осталось, и говорила наобум. Она встала перед мамой, выпрямившись во весь рост. Мы ждали, что теперь упрёкам не будет конца. А начиналось всегда одинаково: с маминогo замужества. Вот ведь, не пришлось бы ей каждую шепку выклянчивать, Гелена уж не раз колола ей этим глаза. Но сейчас она и сама почувствовала, что не время: у мамы и так сердце кровью обливалоcь из-за ребенка. Тетка поджала губы и сказала, что пойдет возьмет у себя хотя бы охапку дровишек — тоже, мол, из последнего.

— Обожди,— задержала ее мама,— в саду под навесом вербная колода лежит. Мне бы только распилить ее.

— Вербная колода? — подивилась Гелена.— А где вы ее взяли?

Мама посмотрела на нас и даже замерла от страха — не проговоримся ли мы. А когда никто из нас и рта не раскрыл, взглянула на Гелену смелее.

— Где взяли? — Она вдруг улыбнулась, и какая-то горькая усмешка расплылась по ее лицу. Она даже выпрямилась, словно почувствовала, что нельзя постоянно перед жизнью склонять голову.— Где взяли? — И так это загадочно ответила: — На поле-поляне, на высоком кургане. Украли мы ее, если хочешь знать.

Тетка, пошатнувшись, попятилась к кровати брата и схватилась за спинку, о которую минуту назад опиралась. В ужасе она глядела на маму и что-то пришептывала.

Нам удалось разобрать только три слова:

— Не пережить мне...

Она зарделась от стыда и, отвернувшись, закрыла лицо руками. Потом, немного успокоившись, сказала сдержанно:

— Ведь ты же могла пойти попросить у кого-нибудь хоть на коленях. Уж кто-нибудь да сжалился бы над тобой. В замке еще с нами считаются, помнят отцовы услуги на охоте, может, и батрака дали бы в подмогу к отцу в лес сходить. Но воровать, как же ты смела? Уж лучше бы ты до самого Хоча на коленях ползла. Надо было в замок сходить попросить.

— Я ни перед кем никогда не становилась на колени,— гордо сказала мама и кинулась вон из горницы.

Бетка бросилась за ней, опасаясь, как бы мама в отчаянии не сделала чего-либо дурного.

— Куда вы, мама? — испуганно окликнула ее Бетка.

— Не бойся, я никуда не уйду. Куда мне идти? Куда мне без вас? — И уже с дороги успокаивающе, чуть приметно улыбнулась: — Я только к Матько хочу забежать, чтоб он помог нам колоду разрубить. Тетка Гелена тут всякую ерунду говорит. Слушать тошно.

Бетка, словно не веря, шла за мамой вдоль ручья до халупки, где жил Матько Феранец.

Он лежал на лавке у печи, накрывшись драной курткой. Но, завидя маму, тут же вскочил и поспешил к нам. Было ясно: никакие причитания тетки Гелены не помогут, надо только распилить вербу и нарубить дров.

Матько первым делом вбежал в горницу поглядеть Юрко. Увидев его в жару, залитого потоками пота, махнул рукой.

— Холодина же у вас, хозяйка. Придется ночью топить для мальчонки. Где же он мог так простыть?

— Выходит, было где! — Мама дернула плечом. — В дом-то ровно в погреб.

Отговорку-то она нашла, но сама корила себя за то, что отлучилась в эту морозную ночь, когда пилила на поляне Ондрушову вербу.

— Мы выручим его из беды,— утешает маму Матько.— Наготовим дров, и топите себе на здоровье.

— Хотя бы малость, на время,— соглашается мама.

— Конечно, хозяйка... Я же сказал, что помогу, не дам вам погибнуть. Я сказал это, еще когда Пятак с войны воротился и наплел, что газду убили. Я же сказал, что вы для меня прежде всего, а потом уж паны в городе. Откуда ж мне было знать, ведь вы не зовете. Да вот пригодился же. Я понимаю, вам самим небось не хватает, где ж еще для меня взять. Только для вас я и задаром... Позвали бы меня в любое время. Я и в нетопленной горнице выплусь, а днем все равно в городе. А тут дети мал мала меньше, им тепло требуется.

Я уж думал об этом: дров-то ни у вас, ни у кого нету. Так я, значит, хозяйка...— И он, доверительно наклонясь к маме, хочет ей что-то сказать. Но, перехватив строгий взгляд тетки Гелены, осекается и тянет маму за рукав: — Пойдемте пилить, хозяйка.

А как вышли, Матько снова тянет маму за жакетку. Они идут рядышком по узкому пристенью, и ему нет надобности кричать.

— Так вот, хозяйка, дров нету, а тут, не так уж и далеко, можно сказать, на блюдечке готовенькое лежит. В два счета можно ночью это самое... А хотя бы и днем.— Осмелев, он дергает плечом.— Велика важность, что тут может случиться? — Он сам себя подбадривает.— И никто не заметит, ведь нынче на поле ни души. Чего там делать, ведь не пашут, не сеют. А это лакомый кусочек, будто для вас уготованный. Думаете, грех? — Он скривил губы.— Нам грех не страшен. Уж ежели он не страшен тому, кто так несправедливо мир поделил, нам-то чего бояться? Возьмем, да и дело с концом.

Они подходят к саду, где лежит Ондрушова колода, закатанная одним концом под навес, что стоит на четырех сваях у плетня. Колода только сверху запорошена снегом.

— Хозяйка, это я о той сломанной вербе на Ондрушовой поляне. Запросто притащим ее, и будет у нас полный порядок. Всю зиму вертится в голове эта мысль. У людей, думаю, дров нету, а тут гниет эдакое добро. А чего бы ему и не гнить — ведь Ондрушу верба ни к чему. У него других дров полным-полно. От нее только дым. Я сам небось такой дрянью топлю. Да в нужде и верба сгодится.

Мама слегка хлопает Матько по спине и подталкивает его к саду.

Матько, онемев, застывает на месте. Он вмиг узнает вербу с Ондрушовой полянки, к которой всю зиму приглядывался. Потом, придя в себя, он плутовато подмигивает маме и широко улыбается. Он очень доволен таким оборотом дела.

— Как же это вы ее, хозяйка?

— Да ночью...

— С детьми, что ли?

— Угу...

— Меня бы позвали. Малому-то хворать ни к чему.

— Да уж так получилось,— заключает мама,— теперь бы только побыстрей распилить. До вечера колоду распилим, наколем дровишек.

Всякий раз, подкладывая трясущимися руками дрова в печь, тетка вздыхала и приговаривала:

— Срам-то какой для всех нас. Ежели кто узнает, совестно будет по деревне пройти. Люди пальцами будут указывать.

А то она забывалась, стоя на коленях у раскрытых створок,



и, видно, раздумывала над случившимся. Сполохи огня освещали лицо, пряди волос подрагивали надо лбом, овеянные дыханием пламени.

И время от времени тетка Гелена сама себя утешала:

— Да ведь никому и в голову не придет, что такая щуплая, как она, могла колоду уволочь.

Чуть погодя, успокоившись, она под села к Юркиной постели, а мы расположились рядом.

До самого вечера все тельце братика горело огнем. Ни травы не помогали, ни мед. Его без конца передевали в сухое, так он потел. Губы были сухие, как бы припухшие. Он даже глаз не поднял, и как положили его, так и лежал он, не двигаясь.

Мама ходила сама не своя. Ее мучила совесть. Чем хуже становилось Юрко, тем чаще она вспоминала прошлую ночь.

Тетка Гелена помалкивала и, только когда мама уж слишком всполошилась, сказала:

— Это плата за грех.

— Что ж, мне надо было сидеть и глядеть, как они коченеют? — защищалась мама. — Вербя все равно сгнила бы у ручья без всякого толку.

— Ну и пусть бы сгнила, не твоя забота. Сейчас у тебя тепло, да вот ребенок горит бог весть от какой хвори. Вот уж помогла, так помогла!

— А-а... — Мама махнула рукой, ей уже было невмочь все это выслушивать. — Давай-ка лучше подумаем, что с мальчиком делать.

Советовались они тихо. Сколько же всяких волнений принесла болезнь Юрко в наш дом! А ночи мы боялись больше всего. Когда стемнело, стало совсем жутко. Редко-редко кто пройдет по дороге, а за окнами живой души не видать.

Вечером пришли тетка Порубячиха и дедушка с верхнего конца. И Данё Павков приоткрыл дверь и спросил, не стало ли мальчику лучше.

— Да нет вроде, — коротко ответила мама. — Проходите. Я вот думаю, не сделать ли ему холодный компресс. Вытянуло бы жар из него...

Но Порубячиха опередила его, не дала Данё и слова вымолвить. Она с возмущением накинута на маму:

— Еще чего, холодный компресс, неразумная твоя голова! Застудишь его! Мыслимо ли такое — в мокроту разгоряченного ребенка пихать! Ведь этак его и в могилу сведешь.

Мама раздумывала, стиснув рукой лоб. По опыту знала — при болях в горле холодный компресс необыкновенно помогал. Но она очень боялась поступить опрометчиво. А вдруг это корь? В таком случае Порубячиха была бы права.

Дедушка с верхнего конца тоже подумал о холодных ком-

прессах, но и он пока остерегался. Он знал толк в разных хворях, как и все в их семье. Правда, лучше всего он вправлял переломы. Городской лекарь отзывался о нем весьма уважительно. Но тут только ученый доктор мог бы сказать наверняка.

— Ладно,— согласилась наконец мама,— утром пошлем за доктором.

— Только не пори горячку, денег жалко,— предупредила ее Порубячиха.— У детей часто бывает: мечутся в жару, а через минуту все как рукой снимет.

Данё Павков разглядывал мальчика и горестно качал головой. Надо же, еще недавно отплясывал одземок, а тут чуть было богу душу не отдал. И он видел, что мальчика больше всего мучит жар. Губы у него слипались, а при выдохе разлипались, шумно пофукивая. Между ними появлялся пузырь вроде округлого стеклышка. Но долго он не держался, лопался, и мальчик при этом звуке даже приоткрывал глаза.

— Бедняжка,— пожалел его Данё.

У мамы рыдания стиснули горло. Ей вдруг так захотелось выплакаться над ребенком, но она из всех сил сдержала себя — не плакать же при тетке Гелене, которая и так не сводила с нее укоризненных глаз.

Но в одном тетка Гелена была заодно с мамой: надо попробовать сделать Юрко холодный компресс. Это не трудно: намочить простыню, обернуть в нее, а потом еще в одну, сухую.

— Лучше бы подождать,— посоветовала им Порубячиха, собираясь домой,— а ежели что ночью понадобится, знаете, где я живу. Я и к доктору сбегаю, если надумаете. Вас в беде не оставлю. Соседи, небось.

Вслед за теткой Порубячихой ушли Данё и дедушка.

Было уже очень поздно, и мама велела нам укладываться спать. Но какой же тут сон? Мы то и дело просыпались. А Людка кричала во сне, будто ее кто-то куда-то ташил. Это еще больше усиливало нашу тревогу.

Мама ходила от постели к постели, гладила нас, успокаивала.

После полуночи братик стал бредить. Мама держала его за руку и слушала, как у него стучит сердце.

Вдруг она кинулась к сундуку и вытащила две белые простыни.

— Нечего ждать,— сказала она Гелене, тоже сидевшей у его постели,— оберну-ка я его в простыни.

— Давай,— кивнула тетка.

Они намочили простыню, выжали и обернули в нее горячее тельце, другой, сухой, простыней обмотали его еще сверху. У братика веки подрагивали, как пламя свечи. Из груди вырывалось резкое, короткое дыхание.

Примерно час спустя Бетка спросила, лучше ли ему. Мы

боялись за него, опасались даже за его жизнь. Меня мучило, что в ту несчастную ночь я заснула и не заметила, что он лежал неприкрытый в холодной горнице. Но в своих терзаниях я никому не призналась.

Бывало, нам говорили, что когда человек умирает, душа его вылетает в образе голубя. И я в ужасе не отрывала глаз от Юркиной постели — вдруг увижу его душу!

В ответ на Беткины слова, мама приложила палец к губам — не шуметь, мол. После подошла к нам и шепотом сказала, что братик заснул.

— Компресс помог ему, — добавила она.

Мы заметили, что ее измученное лицо чуть-чуть прояснилось. В наступившей тишине мама прикрутила лампу, в которой горел керосин, припасенный на черный день. От пламени осталась только тоненькая ясная полосочка света, защищенная стеклянным колпаком. В комнате стало темно.

Тетка Гелена примостилась у стола, пытаюсь уснуть.

Мама подремывала рядом с Юрко, подперев голову руками.

Что происходило дальше, мы уже не знали. От усталости наконец и нас сморил сон.

Но братик не выздоровел. Мама решила, что у него наверняка воспаление легких, и послала за доктором в город.

Он приехал на санях — высокий, степенный, с продолговатым лицом. На носу у него были очки без оправы, и он припадал на одну ногу. В горницу доктор вошел с улыбкой и сразу же с порога ласково подбодрил маму. С нами он тоже приветливо поздоровался, а меня взял за подбородок и сказал:

— Ну и глазищи!

Потом отослал нас в кухню и подошел к больному братику. Осматривал его недолго и сразу же определил воспаление легких.

— Что, дров нет? — сказал он маме, прописывая лекарство.

— Да, доктор.

— Не вы одна в таком положении. Повсюду люди страдают. У меня полно таких случаев, можно сказать, каждый день. Муж, конечно, на фронте?

— Да, доктор.

— Уж пора бы покончить с этой бойней. Сыты ею по горло.

— И вправду, доктор, — кивает мама, — и дети, и дом, и хозяйство — все свалилось на одни плечи. А уж эта болезнь совсем ни к чему, и без нее страданий хватает.

Меж тем доктор, опустив голову, о чем-то раздумывал. Вдруг он резко выпрямился, снял очки и, держа их в руке, улыбнулся маме.

— А знаете, вы спасли ребенка. Вы умная женщина. Кто же вам посоветовал этот компресс?

— Да сама я решила.



— Разумно, ничего не скажешь.— Он огляделся, будто кого-то искал.— Мог бы кто-нибудь съездить со мной за лекарствами? Чтоб не идти вам пешком в оба конца. Хотя этим помогу вам. Проклятая война...

Тетка Гелена тут же собралась и села с доктором в сани. На обратном пути ей тоже посчастливилось: до самого холма подвезли ее селяне из Дубовой.

В лекарстве видели мы спасение. Когда мама давала его из ложечки Юрко, нам приходилось поддерживать мальчика за спинку, он был совсем слабенький, и глаза у него то и дело закатывались.

Дядя Данё ходил к нам теперь каждый день и утешал братика:

— Погоди, каким еще богатырем к весне станешь.

У мамы порой душа замирала: что будет, когда растает снег, запестреет земля, отправятся люди в поле, а среди них и дядя Ондруш. Этот-то уж сразу приметит своим ястребиным оком, что кто-то зимой срубил у него вербу на полянке. А не сыщет ее, будет всю честить вора. Он не из тех, кто с легким сердцем расстается с чем-либо.

Но в конце зимы нашу и все соседние деревни взбудоражило одно неожиданное событие, и о старой вербе забылось.

В комитатский город пригнали целую толпу русских и итальянских пленных. Власти определили их по окрестным селам на полевые работы. Казалось, приспела помощь, но людей она не обрадовала: пленных надо было кормить. Взрослым прибавилось хлопот, зато детям все было в новинку.

Мы как раз возвращались с уроков, когда пленных привели в нашу деревню. Сгорая от любопытства, мы кинулись прямо с заплечными сумками во двор к старосте, где они остановились. Разглядывали их со всех сторон.

Липничанов Яник вытащил из кармана два яблочка, протянул пленным. Одно яблоко взял старый, добродушного вида человек в длиннополой солдатской шинели. Лицо у него было заросшее, по косматой бороде стекала струйка воды — на дворе накрапывал дождь. Из-под густых бровей в умилении глядели на нас покойные, серые, подернутые влагой глаза.

Второе яблочко разделили меж собой два итальянца. Улыбаясь, они что-то лопотали на своем языке. Наверное, благодарили, но мы так ничего и не поняли.

По пристенью сновал взад-вперед староста и о чем-то на ходу советовался с писарем. Пленные, видать, и им наделали много хлопот. Наконец староста выбрал самого старшего школьника и послал его за барабанщиком Шимоном Яворкой в нижний конец деревни. Надобно было объявить людям о пленных, чтобы они откликнулись, кому нужна помощь в хозяйстве.

Дождь усилился. Пленные с тоской глядели на затянутое тучами небо, на грязный двор. Кто ругался, кто в изнеможении опирался о стену амбара, безучастно, будто в дреме, вперив взгляд в одну точку. Обтрепанные, ветхие шинели промокли насквозь, у большинства башмаки были без подошв, либо с такими дырявыми, что и на подошвы-то не походили.

Сначала пленных определили на старостино гумно. Но староста испугался, что у него там сопреет солома, и постарался поскорее от них избавиться.

Итальянцев взяли на работу в замок. Разместили их на хуторе в просторном помещении. По вечерам было слышно, как они играли на гитарах.

Что касается русских, то вскоре пришло распоряжение распределить их по хозяйствам. Они только ночевали все вместе в пустом, издавна заброшенном домике у ручья. Вместо постелей кинули им на пол несколько охапок соломы. Правда, добрые люди подбросили им старенькие одеяла.

Мы, дети, часто заглядывали с моста в окна этой ветхой халупы. По вечерам там теплился огонек и на прочахлой соломе ежилась гряда тел.

Но, однако, что-то привлекало людей к этому домику — они стояли на дороге против окон и слушали. Перед сном пленные всегда затягивали русские песни. Люди говорили, что от этих песен сжимается сердце. А бывало, пленные пели и веселые песни. В воскресенье пополудни они откидывали солому с середины комнаты и отплясывали казачка. А мы под окнами в такт хлопали им в ладоши.

Когда наш братик совсем поправился, дядя Данё взял и его поглядеть на русских. Они как раз плясали в своем домике, и Юрко глаз не мог от них оторвать. Данё держал его на руках против окон, чтобы ему было лучше видно. Подражая русским, мальчик бойко перебирал ногами, а в глазах вспыхивали веселые искорки.

Дома братик все допытывался, был ли и у русских такой молодец, который научил их плясать среди грома и молний.

Данё хитро улыбнулся:

— А мы их спросим, малец. Лихая у них пляска. Я только глядел на нее и то запыхался. А попробуй мы так сплясать, из нас, верно, всю душу бы вытрясло.

У нашего дедушки с нижнего конца хозяйство было убогое, и люди дивились, почему именно он попросил пленного себе в помощь. Но у него были на то свои причины. Ему прислали рослого парня со светло-каштановыми волосами и сероглубыми глазами. Лет ему было, пожалуй, под тридцать.

У нашего дедушки, как и у каждого, были свои причуды. Он любил посмеяться, но и поворчать был великий охотник.

Когда сыновья были еще дома, порой он весь день журил их за все, что бы они ни делали. Послушать его, так они только и сидели да глазами хлопали. В чужой работе дед видел одни огрехи. Этот, мол, делает все прытко, да жидко, а тот через пень колоду валит. Всегда находился повод у него побурчать. То он, бывало, сыновей есть силком заставляет, то за малейший проступок даже кладовку запирает от них. А потом ни с того ни с сего отойдет сердцем и вытаскивает оттуда всякую всячину: хлеб, сало, колбасу, и снова пичкает их. А иной раз и выпороть их грозился, да сыновья были рослые, сильные — так бы легко не дались. Но буйная душа его только тогда успокаивалась, когда ему казалось, что его боятся и слушаются. Такие сцены случались обычно днем. А ночью он часто вставал, зажигал свечку и сновал от постели к постели. Наглядеться не мог, какие сыновья пригожие, статные. Его захлестывала радость, что на старости лет у него такая надежная опора и помощь. И грело его, что в сыновьях текла здоровая кровь — она продолжит их род.

Но война нарушила жизнь. Сыновей угнали на фронт, и он остался один-одинешенек. Он даже прихварывал от тоски: никак не мог привыкнуть к своему одиночеству.

Только в тот вечер, когда вошел к нему русский, в нем что-то дрогнуло, и мысли потекли совсем в другую сторону. Он как раз сидел на кухне и попыхивал запекачкой<sup>1</sup>. Волосы у него до времени побелели, лицо не по годам покрылось морщинами.

Русский скромно положил узелок в угол за дверь и сказал: — Звать меня Федором.

Дедушка, улыбнувшись, протянул ему руку. Они поглядели друг на друга, освещенные печным пламенем.

— Федором звать? — повторяет дедушка. — Непривычное имя, трудно мне будет запомнить. Уж позволь мне иной раз называть тебя Андреем, либо Штефаном, либо Матушем. Так звали моих сыновей. — Он разглядывает его на свету. — Но ты больше всего походишь на Ондру. Ну, — тянет он его к теплой печи, — давай садись сюда, здесь теплее.

Пленный послушно садится рядом на табурет и протягивает руку к печным створкам. Потом снимает с себя разбитые башмаки и ставит их на припечье. Башмаки насквозь мокрые, да еще обуты на босые озябшие ноги.

Дед дает ему онучи, с чердака приносит теплые капцы Ондreja. Из буфета вынимает деревянную ложку, сует Федору в руку, а с плиты пододвигает ему прямо под нос горшок с капустной похлебкой. Отламывает еще кусок лепешки и кладет ему на колени.

---

<sup>1</sup> Запекачка — трубка, которую кладут перед курением на угли, чтобы табак подпалился.

Из горшка подымается пар, лицо Федора покрывается крупинками пота, поблескивавшими в бликах огня. Видно, здорово у него живот подвело — он доедает до дна похлебку, а потом еще и горшок подносит ко рту, допивая последние капли. Обирает и крошки хлеба с колен. Тепло и еда разморили парня, он сидит и осовело покачивается на табурете.

Но деду хочется поговорить, и он тормозит Федора:

— Всех моих сыновей угнали на войну, Ондreja убили. Его уже нет. Будешь спать на его постели. Штефан и Матуш, может, еще воротятся. Штефан холостой, а у Матуша жена, четверо ребятшек. Пятак, когда пришел с войны, сказал, что наткнулся на него мертвого. Тогда-то он наврал, но ведь и такое может случиться. Либо покалечат его, как Пятака. А после домой отошлют — кому такой нужен? Одна бедолага жена и будет с ним маяться. Со мной только Штефан остался. А потеряю его, и вовсе буду жить как затворник. Я уже и в бога не верю, молиться не могу. Что праздники, что воскресенья мне теперь опостытели. Будни мне гораздо милей. На рождество я едва удержался, чтоб не работать. Да и на новый год еле-еле уговорили меня. А на крещение разложил я снопы на гумне и давай молотить. Прибежали внучата и кричат: «Дедушка, да ведь нынче крещение». Я осердился и этак из-за плеча обронил: «Какое мне до этого дело, когда бог у меня Ондreo отнял». Теперь его постель навечно опустела. Хорошо, что ты пришел, тебя на ней положу. — Заметив, что пленный не слушает, дедушка снова тянет его за рукав: — Что, спать охота?

Федор только кивает, даже не открывая глаз.

— Ну, ступай спать.

Постель дяди Ондreja стояла сразу же за дверью в углу горницы. Над ней его фотография. Федор не заметил ее в тот вечер: в горнице было темно, керосин у дедушки кончился. Лишь слабый свет из-за печных створок пробивался через кухонный порог. У задней спинки кровати отражался квадрат окна, но и оно было затянуто тьмой предвесеннего вечера, заглядывавшей со двора.

Дедушка, пересев в горницу, слушал, как Федор измученно дышит на постели. Но вскоре по его размеренному глубокому дыханию понял, что он уснул. Дедушка вытащил изо рта трубку и подошел поближе. И вдруг ему показалось, что перед ним один из его сыновей. Все они были рослые парни, и Федор смело мог бы сойти за их брата.

Спозаранку дедушка постучался к нам в дверь. Мама вскопчила с постели, засветила фонарь и босая кинулась ему открывать.

Данё Павков, заслышав стук, тоже приотворил дверь в



сенцах и выглянул во двор: не приключилось ли что? Но дедушка тут же успокоил его.

Улыбаясь, вошел он к нам в горницу и заговорил вдруг таким чистым, звучным голосом, что мы даже проснулись. Сели в своих постелях, трем заспанные глаза, и только братик повернулся на другой бок и натянул по самый подбородок перину. Но чуть погода и он очнулся и стал сонно озираться.

Мама беспокойно спрашивает дедушку:

— Уж не случилось ли что с вами?

— Случилось, то-то и оно,— кивает он.— Ондро ко мне воротился.

Мама просто онемела. Ведь пришло же извещение о его смерти. Она потирает ладонью лоб и недоуменно вертит головой.

Дедушка садится на табуретку и лукаво прищуривается.

— Пленного мне дали. Как две капли воды похож на Ондрея.

— А, вот оно что,— успокаивается мама,— пленного, значит.

— Угу. Видать, парень надежный.

Тут в горницу входит и Данё Павков, очень уж наспех одетый. По всей видимости, ранний приход дедушки озадачил его. Еще с порога Данё спрашивает, в чем дело.

Мама надевает жакетку и говорит:

— Ничего плохого. Татеньке русского пленного приписали. Радует, что теперь он не один.

— Угу,— добавляет старый,— всю ночь заснуть даже не мог, вдруг стало так хорошо на душе.

— Понятное дело,— Данё притворил за собой дверь,— ведь мы же привыкли жить среди людей.

— Право,— поддакивает мама,— грех-то какой, ни за что ни про что убивать людей на войне. Скотину и то жалко.

— Да уж, жить без людей, хуже не придумаешь,— заключает Данё.

— Найдутся и такие, которым это по сердцу.

— Хотят, чтоб им больше досталось,— вдруг вмешивается в разговор Бетка.

— Есть, конечно, такие, как Ондруш, Ливоры, Петрани или корчмарь. Им всего мало. Эти-то запросто согласятся, ради богатства людей убивать, а порядочному человеку такое и вымолвить страшно.

Не успела мама договорить, как вдруг послышался стук в окно, а следом чьи-то торопливые шаги. Запыхавшаяся тетка Липничаниха, отворив дверь, стала просить мужчин помочь ей — она видела, как дедушка направлялся к нам.

— Да ведь ты вроде просила русского себе в помощь,— говорит ей в ответ Данё Павков,— стало быть, у тебя уже есть мужские руки в хозяйстве.

— Есть-то есть, да что толку: ты ему вдоль, а он поперек. На фабрике рабочим был, вот он все и твердит: «Ра-бо-тал, ра-бо-тал». Да провались эта работа, когда он и знать не знает, как корова телится. И к чему мне только дали такого!

— Ничего, пообвыкнет,— успокаивает ее мама.

— Да вот только корова ждать не станет, пока он пообвыкнет. К чему мне дали такого! Даром только хлеб ест.

— Привыкнет,— подбадривает ее и наш дедушка.

— Наберись терпения! — советует ей Данё Павков и натягивает баранью шапку низко на лоб, чтобы не озябнуть по дороге — он собирается помочь тетке Липничанихе.

— Я тоже пойду,— решает дедушка.

Мы пососкакивали с постелей. И даже не унываем, что вынырнули из-под перины в холодную горницу. Уж очень хотелось нам поглядеть на пленного, которого определили в хозяйство к Липничанам. Накинули мы наспех одежду и побежали в соседний двор. Мама кричала вслед, что нам там нечего делать, но мы и слушать ничего не хотели. Она только успела подхватить братика и втащить его назад в кухню, потому что беспокоилась за его здоровье: еще недавно он был на волоске от смерти.

— Что в нем особенного! — сердилась мама, растапливая плитку.— Человек как человек этот русский.

Но мама была совсем не права.

В стойле у Липничанов мы просто глаз не могли отвести от этого пленного.

Был он, что называется, широк в кости, плечист, но худой и плоский. Голова большая, глаза умные, какого-то неопределенного цвета. Ноги хотя и короткие, но крепкие, сильные, а обувь удивительно большая для его низкорослой фигуры. По рукам было видно, что с малолетства он привык к тяжелой работе.

Когда мы подошли, он гладил корову по спине. И все о чем-то рассказывал ей. Корова мычала и прижималась головой к его коленям.

Дедушка, войдя в стойло, посмеялся над ним, но дядя Данё серьезно оглядел парня и сказал, что это, конечно, добрый человек, животные это особенно чувствуют. Потом он потянул его за рукав гимнастерки и показал, как нужно обрывать корову и теленка.

Пленного звали Михаилом. Учеником он оказался понятным: понял все с первого раза, повторять ему не понадобилось.

Когда появился теленок на свет, Михаил радовался как ребенок. Прыгал вокруг, оглядывал его, гладил, разговаривал с ним. Корова мычала, все тревожилась за своего теленочка. Лизала его длинным языком, потому что был он весь скользкий. А когда он попытался встать на ноги, Михаил под-

хватил его обеими руками и поднял. Видимо, он был очень сильный, хотя худой и невысокий.

Наш дедушка смеялся:

— Да он и вола одолел бы!

А тетка все сокрушалась, что ей такого неумеху прислали:

— Да с таким-то я и вовсе без теленка останусь. На руках его вздумал таскать, будто отродясь скотину не видел. Куда мне такого дурня?

Данё Павков потешался над теткиними страхами, потому как сразу же понял, что Михаил парень толковый, только поучить его надо. И теленка он подымал не от дурости, а лишь от доброго чувства к животинке. Да к тому же нарадоваться, должно быть, не мог, что наконец из пушечного пекла попал под крышу, где живут мирные люди. Вот оттого и дурачился.

— Он еще и тебя будет носить на руках, — нарочно дразнит Данё тетку Липничаниху, — сил у него хватит. Ты будешь только сидеть да приказывать. И пальцем шевелить тебе не понадобится — все для тебя сделает.

Дядя Данё не перестает улыбаться и тянет нас за накладки: пора, мол, выбираться из стойла и отправляться домой. Тетка Липничаниха уж больно не любила, если кто без дела путался у нее под ногами. Еще когда мы только примчались, ее сразу же покорило: вот поглазеть примчались. Да, лучше будет не мозолить ей глаза.

Но нам жалеть не пришлось. Дедушка попал в самую точку, сказав, что и на его Федора стоило бы нам пойти поглядеть. И мы, сгорая от нетерпения, потащили его за руку вниз по дороге.

Федор...

Пять простых букв, и, когда мы собирались их выговорить, губы наши округлялись. Округлялись и наши лица, когда мы смотрели на Федора, потому что он всегда улыбался нам, а мы ему.

Мы были маленькими, а он высоченным парнем. Лицо у него было на редкость красивое и спокойное. Его светло-каштановые волосы, густые как трава, сверкали на солнце, словно облитые золотом. А глаза серо-голубые, умные, ласковые.

Он заглядывал к нам почти каждый день, так как у дедушки для него не всегда находилась работа. Ранней весной он вместе с нами вышел в поле. Знал толк в любом крестьянском труде и работал с охотой. Мама тут же заметила, что, видать, с малолетства руки его привыкли к мотыге.

А уж как Бетка радовалась, что Федор будет косить наши луга! Она с нетерпением ждала лета и все вспоминала, как в прошлом году мы сушили сено.



— У нас сено сушат все вместе,— сказала она однажды при мне Федору и как-то мечтательно добавила: — Вы себе и представить не можете, Федор, до чего это красиво... Наши луга по соседству с лугами Осадских.

Федор выстрегивал из деревяшки коня для моего братика, а мы смотрели. Кто знает, какие воспоминания вызвали у него Беткины слова — ведь ему уже давно было известно, что тетка Осадская с радостью возьмет Бетку в невестки, как только она подрастет. Федор срéзал стружку и так и застыл задумавшись. Может быть, он вспомнил, что у него дома тоже сушили сено всем миром, и он так же ждал встречи с кем-то, как и моя сестра ждала встречи с Миланом.

Только до лета было еще далеко. Видно, поэтому так огорчалась сестра. Она знала, что сперва придет весна с пахотой на ветру под скупыми лучами выглядывавшего из-за гор солнышка. Бывали годы, что и в мае еще выпадал снег. Тогда травы росли плохо и работы на лугах откладывались. Да и почки на деревьях распускались позднее, и цветы расцветали медленнее. Бетка всем сердцем боялась такой весны, и, пожалуй, недаром — зима в этом году затянулась.

Даже меня это волновало. И вовсе не из-за сестры. Во мне самой рождались какие-то смутные настроения. Никто не считался с ними, все твердили только одно: я еще очень, очень маленькая. Но я-то сама хоть и неясно, а понимала, какие чувства охватывали меня, когда Бетка, прислонившись головой к оконному косяку, ждала, не пройдет ли мимо нашего дома Милан Осадский.

Бетка ласково улыбнулась нам обоим, доверительно наклонилась ко мне и в основном для Федора сказала:

— Ведь ты небось видела, как Милан бросил в меня снежком, когда мы зимой расчищали дорогу.

Я киваю, и сестра с нежностью привлекает меня к себе.

Федор пробуждается от своих дум, смотрит на нас, и лицо его освещается радостью. Ничего не говоря, он снова принимается за работу. Сперва, когда мы вошли к нему в сарай, он насивистывал, теперь он начинает тихонько напевать. Он и нас учил русским песням, и особенно Бетка любила их петь.

Она как раз подпевала ему, когда во двор вбежала Людка, пряча что-то за спиной. Людка пыталась незаметно прошмыгнуть на задворье и все посматривала на двери сеней, не заметит ли ее мама.

Людку уже перестали занимать мои и Юркины игрушки, равнодушной она была и к радостям старшей сестры. Теперь она часто убегала с другими детьми. Уже не такая чувствительная, как прежде, она все больше любила озорные игры. В конце концов все стали замечать, что она целыми днями гоняет с мальчишками. Людка лазала по деревьям, ловко

подтягивалась на ветках, и мама не раз говорила, что у нее стал меняться характер.

— Опять она набедокурила,— предположила Бетка, увидев, как Людка вбежала во двор и с опаской оглядывалась.

Мама, точно почувствовав, появилась в дверях. Людка вздрогнула — в руках у нее был еще неоперившийся птеник.

Мама стала бранить ее. Откуда только берется такая жестокость? Ведь всех нас она воспитывала одинаково, всем старалась привить только хорошее. А вот Людка, еще недавно нежная, как одуванчик, теперь безжалостно вытаскивает птенца из гнезда.

— Я его выхожу дома,— жестко сказала она.

— Да он у тебя погибнет,— сердилась мама.

— У Мишо Кубачки такой же, а не погиб,— возражала Людка.

— Такой, да не такой, этот-то еще совсем голенький.

— Ничего, оперится,— упрямилась Людка.

— Ты Мишо Кубачку в пример не бери,— наставляла ее мама,— от него только дурного наберешься. Вот и давеча он изрезал деревья в питомнике. Староста как следует ему всыпал.

Сестра покраснела и опустила голову.

У мамы сердце оборвалось. Она горько всплеснула руками, поняв, что Людка покраснела не зря.

— Ты тоже там была? — спросила она строго.

Сестра упрямо молчит, мама и слова не может вытянуть из нее.

Так и не докончив коня, Федор кладет его на бревно и пытается помочь маме, видя, как ей трудно приходится. Он ласково обращается к Людке и полушутя журит ее. Она отвечает не сразу, но постепенно ему удастся разговорить ее.

— Я только у забора сторожила, не идет ли кто, когда ребята резали.

Федор втолковывает ей, что фруктовые деревья нужно беречь, что от них огромная польза. При этом он помогает себе руками: ведь он еще не умеет хорошо говорить по-словацки, знает всего несколько слов. Но куда больше слов говорят его добрые глаза, что светятся, как прекрасные синие цветы ломоноса. Под их взглядом детское упрямство смиряется.

Людка и соглашается с ним, и все еще немного упорствует.

— Это же Ливоровы саженцы.

Мама опешила:

— А что, из Ливоровых саженцев деревья не вырастут?

— Конечно, вырастут,— надув губы, огрызнулась Людка.

— А на этих деревьях такие же яблоки, как и повсюду? — продолжала мама.

— Чего бы им не вырасти! — повела сестра плечом. — А вот в прошлом году Ливора чуть было руку Мишо не

сломал, когда он хотел сорвать яблоко с ветки, что через забор свесилась над дорогой. За это разве надо детям руки ломать? Был бы у Кубачков собственный сад, Мишо не зарился бы на чужое.

Мама смешалась, она вдруг поняла: это же была месть! Мечь Ливоре за его жадность — вот чем привлекал детей да и мою сестру Людку Мишо Кубачка. Только дети при этом не поняли, какое зло они причиняют.

И все-таки маме не хотелось, чтобы дочка ее так озорничала и люди указывали бы на нее пальцем. Мама отобрала птенчика у Людки и наказала ее, поставив на колени.

Покалеченный, он лежал на боку и едва дышал. Мы хотели напоить его молоком, но у него уже не было сил даже раскрыть клювик. А чуть погодя он испустил дух.

Мама показала птенчика Людке — пусть знает, что натворила. И мы увидели, как у нее по щекам скатились две слезы. Ведь птенец погиб по ее вине.

— Помни об этом, — сказала ей мама и пошла заниматься делами.

Людка посмотрела ей вслед, передернулась и осталась стоять на коленях возле стола, понутив голову.

— Ну вот, — говорю я ей, — зачем мучаешь птичек? Может, мама еще заставит тебя стоять на коленях всю ночь. Нечего тебе было связываться с Мишо Кубачкой. Это самый негодный мальчишка в нашей деревне.

Я вспомнила, как наша учительница поставила меня на колени рядом с ним у классной доски. Во мне снова вспыхнуло то чувство, которое мучило меня тогда. Мне было неприятно, что я стою рядом с этим шугаем<sup>1</sup>, разбойником, как называли Мишо.

— Ну тебя, — грубо отрезала сестра, словно и говорить-то со мной не стоило, — сейчас он негодный, а когда учительница вместо тебя ударила его десять раз линейкой по рукам, тогда он был для тебя хорош. Никто из ребят, кроме него, не согласился бы на это.

Среди других детей в школе, помимо Мишо Кубачки, мне видится высокий парнишка. Его светлый чуб торчит над головами остальных, у него смелые, сверкающие глаза. Но ведь в самом деле, даже Милан Осадский никогда не согласился бы, чтоб его выпороли вместо другого. Напротив, сколько раз, бывало, учительница приказывала ему нарезать прутьев, чтобы наказывать других детей. Однажды она велела ему высечь Мишо Кубачку — кто-то из деревенских наябедничал на него. Милан послушно выполнил приказание, может быть, бил только немного слабее и два раза нарочно стегнул по стене, когда учительница отвернулась. Возможно, подумала я, Милан вы-

---

<sup>1</sup> Ш у г а й (словацк.) — добрый молодец.

порол бы и меня, если бы ему приказали. И все-таки в своих детских мечтах я устремляюсь к нему, а не к Мишо Кубачке.

— Вы все выдумываете,— обрывает меня Людка,— ну и пожалуйста, только от меня отстаньте.

Она бьется головой о стол и выгоняет меня из горницы.

Я иду к маме на кухню. Присаживаюсь на табуретку возле двери. Меня все еще тревожит разговор с Людкой. Я слышу, как она головой бьется о стол и что-то нашептывает. А вид у нее, как у прямого теленка.

Мама готовит еду для Федора — после обеда он пойдет чинить крышу в доме дедушки с нижнего конца. Нужно залатать дыры, пока погода, а не дожидаться осеннего ненастья.

Федор, склонившись над тарелкой, как-то по-своему улыбается. В одной руке держит ложку, а другой время от времени поглаживает заросший подбородок. По лицу его видно: он погружен в какие-то свои думы. И вроде бы чему-то про себя радуется. Отложив ложку, Федор широко улыбается и говорит маме, что ему по душе такие дети, хоть в этой истории с питомником они и не правы.

— Они ищут правду по-своему,— заключает он.

— Но приструнить их не мешает,— защищается мама,— не то, глядишь, разбойниками вырастут.

Федор не возражает. Что говорить, детей надо воспитывать. Он кивает, но по улыбке видно, что он на их стороне. Наверное, по себе знает: тот, кто не чувствует кривды, не отыщет и правды.

Вот так с первого же дня Федор стал сживаться со всем, что нас окружало, со всеми нашими радостями и печальями.

Но, кроме того общего, чем жили все, мы, дети, отыскивали какие-то особые, только свои радости. Я тоже что ни день бродила по Грунику, блуждала в высокой траве. Лето манило меня на простор. Всем нам казался уже тесным наш двор меж двумя ручьями. Скоро для нас станет тесной и наша узкая долина, окруженная высоченными горными кряжами. Часто, глядя на них, я мечтала, чтобы они превратились, как в сказках, в стеклянные, и я смогла бы увидеть то, что за ними. Иногда мне хотелось стать великаном, чтобы перешагнуть через скалистые вершины и очутиться на другой стороне. Мне хотелось увидеть хотя бы Липтов, Турец и ту дорогу на север, по которой наши земляки ходили торговать с поляками. Только горы вокруг были спаяны, точно звенья цепи, и нельзя было даже взглядом проникнуть меж ними. Чтобы лучше разглядеть окрестности, я взбиралась почти каждый день на Груник. По долине вилась дорога. К ней сбегали крутые полевые стежки со всей округи. Я любила следить за людьми, бредущими по дорогам.



С тех пор как появились у нас русские пленные и подсохла весенняя грязь, я каждый день видела с Груника или из нашего двора какого-то русского из соседней деревни, шагавшего в город. На руках его белели перчатки, по камням дороги позвякивала серебряная трость. Походка у него была легкой, и держался он с достоинством. Поговаривали, что русские из нашей деревни его ненавидят. Они думали, что он приходит выслеживать их. Он приходил каждый день в один и тот же час, и люди, работавшие в поле, узнавали по нему время.

Они кричали друг другу:

— Уже десять, вон идет этот русский в белых перчатках!

И вдруг русский перестал постукивать серебряной тростью о камни дороги. Говорили, что он исчез, будто сквозь землю провалился. В замке, где он работал на ферме, твердили то же самое. Слухи ходили что ни на есть разные, и все, связанное с ним, казалось каким-то загадочным.

— Как исчез, так и объявится,— говорили люди.

Напрасно я то и дело выглядывала с самого гробня Груника, не покажется ли тонкая, статная фигура чужака. Но мало-помалу меня и других детей, да и большинство взрослых, перестала занимать судьба русского в белых перчатках.

У каждого и своих забот было по горло.

А выдавалось хоть немного времени, свободного от домашних хлопот, я мигом бежала на Груник, чтобы полюбоваться на луга и цветы. Всякий раз я набирала букет лютиков, ромашек и полевых колокольчиков. Из болота у ручья я добавляла к ним еще калужницу и незабудки. По веточкам калужницы ползет божья коровка. Я пересчитываю пятнышки на ее крылышках и жду, когда она улетит. Она устремляется над лугами в горы. Пожалуй, я завидую ей — ведь у нее крылья. Когда-нибудь она перелетит через Хоч в Липтов, между утесами Кралёвьянской долины проберется в Турец и навстречу быстрой реке взойдется до самой Бабьей горы, где наши земляки ловко обмениваются запретным товаром с поляками.

Когда божья коровка теряется из виду, меня увлекает другое. У моих ног журчит ручей. Его называют Теплицей — он не замерзает даже зимой. Я вынимаю из букета зеленую веточку и бросаю ее в поток. Он уносит ее в долину, а я берегом догоняю ее. Плывет, плывет по ручью моя зеленая веточка. Куда же она уплывет? Знаю. Наш ручей принесет ее в город и там отдаст реке. А куда же река ее унесет? Знаю. В море. А вот одно ли единственное море на свете? Только ли то, по которому моя мама, мой отец, дядя Данё и многие-многие из нашей деревни да и со всего края уезжали и уезжают на заработки в далекие страны? Вот этого я не знаю, и додумать мне не дает зеленая веточка, она спешит

обогнать меня. Я перепрыгиваю с камня на камень следом за ней, по босым ногам хлещут метелки травы. Я добегаю вместе с ручьем до излучины у корчмы. Там моя веточка ныряет под мостик. Где же она остановится? И это я знаю. В глубокой запруде у нашего дома.

Там сейчас стоит дядя Данё Павков и греется на солнышке, опершись о плетень нашего сада. Он улыбается, увидев, как я забавляюсь.

Запруда преградила дорогу веточке. Кинула ее в водоворот и вертит. Я пытаюсь вынуть камень из запруды, чтобы освободить ей дорогу. Но камень тяжелый, и я зову на подмогу дядю.

— Ну помогите же мне, дядечка,— прошу я его.

— А что ты делаешь? — интересуется он.

— Провожая цветы в путь-дорогу.

Данё не хочется лишать меня радости, и он помогает поднять камень. Ручей бурлит, подхватывает веточку и уносит ее в долину.

— Она доплывет до моря? — спрашиваю я и тут же задаю новый вопрос: — А в море правда полным-полно воды?

— Полным-полно,— подтверждает он,— а за морем огромные страны.

— Вы уже плавали по морю?

— Плавал. Когда ты вырастешь, и ты поплывешь. Поедешь на заработки. А почему бы тебе не поехать? Только сейчас ты еще маленькая, нечего тебе думать об этом. Сбегай-ка лучше к тетке Ондрушихе, она недавно тебя здесь искала, думала, мешки ей поддержишь, хотела их чем-то наполнить. Повела к себе Юрко, да разве это помощник?

Я тотчас собираюсь идти — тетку я очень люблю.

— Эти цветы ей отнесу.— Я смотрю на дядю сияющими глазами.

— Неси, да поживей,— подталкивает он меня почерневшими от сапожного вара руками.

Я бегу к верхнему ручью. Но на задворках что-то внезапно меня останавливает. Пожалуй, это камни на берегу, по которым проходит тропинка к Ондрушам. Они напоминают мне то росистое утро, когда я шла просить лошадь. Я вижу Ондруша, как он хватает палку и замахивается на меня. Нет, ни за что на свете я и шагу не сделаю. Да и по тропке видно, что я уже не так часто бегаю тут. Она зарастает мхом и малинником.

Я возвращаюсь к Данё.

— В чем дело? — удивляется он.

— Я боюсь дядю Ондруша.

— Да не век же тебе его бояться. Он уж и позабыл об этом давно. А нынче он вообще косит на Чертяже, его и дома-то нет.

— А вы меня не обманываете, дядечка? Ведь вы любите пошутить.

Данё улыбается в усы и весело смотрит на меня поверх очков.

— Не бойся, ступай смело. Нынче и Ондруш стал покладистей. Думается, ему не больно охота с Федором связываться.

Дядя берет меня за руку и тащит через задворки по дорожке. Мы еще и войти-то к Ондрушам в дом не успели, как из-за поворота с улочки услышали ржание Ондрушовых лошадей. Ондруш неожиданно возвращался домой с пустой телегой. Лошади были в одной упряжи, а на дне телеги — мокрая доска. Похоже, до этого на ней лежал вымокший человек. Ондруш шагал, недовольно поморщиваясь. У него был такой вид, будто он с отвращением думал о чем-то недавно пережитом и пытался отогнать от себя неприятные мысли.

— Что опять случилось? — тотчас вскинулась тетка Ондрушиха.

Прижимаясь к ней, я ищу защиты от дяди — взгляд его не сулит ничего хорошего. Тетка обнимает меня и отводит в сторону. Невыразимый страх душит меня. Но дядя Ондруш вроде бы ничего не замечает вокруг.

Он останавливает лошадей на дворе и подзывает Данё — просит помочь ему выбросить доску из телеги в ручей.

— Век на нее глядеть не смогу, лучше-ка ее изрублю и сожгу, — решает вдруг дядя Ондруш, и они тащат доску уже не к ручью, а к амбару, кладут ее на травянистый берег и прикрывают хвоей. — Глаза б мои на нее не глядели. Я как знал, что с ними чума придет к нам.

Он передергивается, вытирает уголки губ и поторапливает жену, чтобы дала ему выпить чего-нибудь крепкого. Разом опрокидывает в себя паленку, полощет рот, словно выполаскивает гадкий привкус, а потом выплевывает ее.

— Паленка и то не идет...

— Ну скажи наконец, что стряслось? — тербит его тетка Ондрушиха; она стоит, расставив для надежности ноги: а вдруг что-либо свалится, как снег на голову?

— Ох, и говорить тяжело! — Его так колотит дрожь, что зуб на зуб не попадает. — Докосил это я лужок и думаю: съезжу-ка с телегой сено забрать, как мы условились. Да не тут-то было. Не идут лошади через брод, и все тут. Упираются, взбрыкивают, чудом меня не зашибли. Оглядываю я ручей: что же им ходу там не дает? И кнутом я их вытягивал, а они ни тпру, ни ну. Тут, случись, неподалеку Ливоров батрак, Пятак, с косьбы шел. Стали мы вместе смотреть. Вдруг Пятак как закричит: «Боже милостивый, хозяин! Из-под коряги чья-то голова торчит. Пошли спасать бедолагу».

Ондруш отвел лошадей на межу и пошел за Пятаком. Наклонились они оба с берега к коряге и видят: в корнях вербы запутался утопленник. Лежал он ничком, вода прилизывала ему на макушке волосы.

— Я кричать: «Люди, люди!» — продолжает Ондруш. — Первым прибежал этот русский, Федор. За ним еще двое, что работают у корчмаря. Потом еще и еще, уж и не знаю кто. На Багниске людей — туча. А как вытащили беднягу из-под корней, первым делом бросились мне в глаза белые перчатки. Кто-то убил того русского и бросил в ручей.

— Батюшки светы! — вскричал дядя Данё, застыв от изумления.

Тетка Ондрушиха и слова не вымолвила, только прижимает меня локтем к себе, того и гляди, раздавит. Другой рукой она обнимает Юрко и, точно наседка, охраняет нас от неведомой угрозы.

— Как на грех, оказалась там моя телега с лошадьми, — понижает Ондруш голос, — не спросясь даже, взяли они труп, кинули в телегу. Вот оттого доска на дне такая мокрая — на моих лошадях его перевезли в морг. Ни в жизнь ее назад не положу, изрублю и сожгу.

Но дядя Ондруш доску не изрубил и не сжег, так и осталась она гнить на берегу.

Весть об убитом русском в белых перчатках разнеслась по всей округе. Нам она испортила лето, оно не было уже таким прекрасным. Дрожавшие над водой вербы напоминали нам о недавнем печальном событии. Бурлящий поток, казалось, был осквернен утопленником.

Подозрение пало на Михаила. Несколько раз являлись жандармы, допрашивали его. Он ни перед кем не утаивал своей ненависти к убитому. И объявил, что если бы кто-то не опередил его, он своими руками сделал бы то же самое. Из-за недостатка улик все так и осталось невыясненным.

С каждым днем жизнь становилась все более бурной. Одно событие сменялось другим. Когда было вспоминать об убитом? Лето промелькнуло в работе и всяческих хлопотах.

Осенью стали доходить слухи, что солдаты бегут с фронтов и возвращаются домой.

У всех хороших людей светлели лица, прояснялись они и у русских пленных, живших у нас. С этой поры они с нетерпением ждали чего-то. А Михаил особенно оживился.

Теперь он часто заходил посидеть к Данё Павкову и ему первому признался, что хочет вернуться в Россию. Тайком он собирался в дорогу. На заработанные деньги Михаил купил себе два полотняных мешка и начал собирать хлеб: надо было запастись сухари в дальний путь.

О своем возвращении в Россию как-то раз Михаил с Федором толковали у нас на пристенье. Потом поднялись и пошли в горницу к Данё Павкову, где сидел и наш дедушка по отцу. Данё рассказывал, как он работал на чикагских бойнях, а после в Германии. Оттуда вернулся гол как сокол, потому что кончились на фабриках заработки.

Прежде чем войти в горницу, Федор и Михаил вытерли ноги.

Мы с братиком прошмыгнули в дверь следом за ними. В горнице они сели на лавку у печи. Мы ждали, о чем у них пойдет речь.

Федор был человеком немногословным. Всегда говорил только самое необходимое. Но его повадки, сноровка в работе, расположение к людям были красноречивее слов. Нас, детей, он очень любил. Мы это чувствовали и всякий раз, когда он приходил к нам, радостно обступали его. Особенно притягивали нас мягкие, светлые глаза.

У Данё Павкова Федор посадил Юрко на колени и стал подкидывать его, языком подражая цокоту копыт. Мальчик визжал от восторга, даже задыхался.

Мы заметили, что Михаил снова, после долгого перерыва, улыбается. Своей большой костистой рукой он взял Юркин кулачок и прижал к губам. Я смотрела, как нежно целовал он эту детскую ручку. Когда он обернулся к свету, глаза его как-то странно увлажнились. Мне казалось, что он вот-вот заплачет. Но он не плакал, только долго глядел куда-то в сторону.

Данё, Федор и дедушка, так же как и я, не сводили с него глаз, но никто ни о чем не спросил его. Эти трое взрослых людей, должно быть, хорошо понимали его.

Меня это очень растрожило. Я выбралась из комнаты и пошла к маме рассказать, что Михаил поцеловал руку братика.

Мама готовила ужин, помешивала что-то на плите и, не отрываясь от работы, сказала:

— Должно быть, у него дома остались дети. Тяжело ему стало. Думаешь, отец не вспоминает вас всякий раз, когда видит какого-нибудь ребенка?

Она глубоко вздохнула, как бы входя в положение Михаила и всех отцов на земле.

Но я не успокаиваюсь — мне хочется узнать больше.

— Мам... — Минуту спустя я начинаю снова: — Мам, вы думаете это правда, что Михаил... — я чувствую, как слова застревают у меня в горле, — убил того русского в белых перчатках?

Сначала она молчала, как бы раздумывая. Сняла горшок с конфорки и поставила на край плиты. Потом подняла другой к огню и подложила еще несколько полешек.

— Мама, — не отстаю я, — мог он его...

Я не хочу этому верить, оттого и спрашиваю так настойчиво. Но мама, к моему великому удивлению, кивает утвердительно: — Мог.

И мне тотчас снова видится Михаил в горнице дяди Данё, как он подносит ручку брата к губам, сперва только дышит на нее, а потом целует.

Мама не чувствует, что происходит во мне, и продолжает:

— Конечно, мог. Тебе этого не понять, ты еще очень маленькая.

Но я не была уж такой маленькой. В войну и мне прибавилось лет. Шел девятый. Мне было почти столько, сколько моей старшей сестре Бетке, когда отец уезжал на лошадях Порубьяка с черным чемоданчиком в город, откуда поезд увез его на фронт. Я уже не так часто играла возле ручья на задворках. Только все еще удивлялась тому, что камни и вправду похожи на людей, а люди — на камни, которые я окрестила их именами. Люди старели, седели, гуще становились морщины на лицах. И у нашей мамы прибавилось седины на висках, серебрившейся на свету. Старшей сестре Бетке было почти тринадцать, и она делалась такой же красивой, как мама. Средней сестре Людке шел одиннадцатый год, и ее характер доставлял тогда всем немало хлопот. Брат тоже уже ходил в школу. Учился писать и читать. Время и заботы изменили нас всех.

Но мама все еще говорила нам, что мы маленькие и многого не понимаем. Однако жизнь и нас научила задумываться. Ну хотя бы к примеру: почему людям приходится есть хлеб, словно грязное месиво? Почему холод постоянно чередуется с голодом, а жестокость с ненавистью? Почему женщины точно скот впрягаются в плуг и пахут на себе, а четверики господских коней проносятся по дороге только ради забавы? Почему у нас, как и у сотен тысяч детей, война забрала отца и бросила нас на произвол судьбы? Почему русские и итальянские пленные не могут воротиться домой, если мечтают об этом?

А когда мама сказала, что Михаил мог убить русского в белых перчатках, в моих мыслях пронеслась бесконечная вереница новых вопросов, с которыми я не могла справиться.

Видно было, что и маму что-то гнетет.

Я вспомнила, как недавно, когда Федор у нас прибывал на сапожной лапе каблук к башмаку, она сказала:

— Я вот все думаю не надумаю: как бы это сделать, чтобы людям было лучше на свете? У меня сердце разрывается, когда гляжу на своих и чужих детей, они ровно сломленные веточки. Жизни нету, Федор...

— В самом деле нету, — согласился он после минутного молчания, — но будет все по-другому. Конец этому аду — солдаты бросают винтовки, домой возвращаются.

— Вот, вот,— кивнула мама, радуясь при мысли, что и отец, может, вернется.

— Фронт в России стал похож на решето,— засмеялся Федор, но вдруг умолк и добавил серьезно: — Михаил принес эти вести из замка, в газетах пишут.

Федор снова ударил по гвоздю, снял башмак с лапы, оглядел его. Вдруг почему-то встревожился и посмотрел на маму.

— Может, вы и не верите, но я-то верю, я русский, в России много таких, как Михаил.

— Не знаю,— покачала головой мама,— ведь я не знаю России, только наши холстяники рассказывали о ней, когда возвращались с деньгами. Говорили, там живут хорошие люди.

У Федора загорелись глаза. Что-то в маминых словах возмутило его.

Он пробормотал про себя:

— Хорошие...

Потом схватил лапу и так вцепился в нее руками — вот-вот сломает. Таким мы никогда не видели Федора. Хоть он и умел владеть собой, но тут что-то в нем взорвалось. Он сердито вышел вон и оставил нас одних.

— Вот и я иной раз все разнесла бы вокруг, когда сил нет терпеть.— Мама как бы извиняла его.— Да лучше всего уйти, когда на тебя такое находит. Только себе же сделаешь хуже. Федор знает небось, что такое к добру не приводит.— Она встала и поверх герани, стоявшей на окне, поглядела вдаль.— Иное дело, когда солдаты на фронте все вместе кинут винтовки либо вовсе их поломают. Кто тогда будет стрелять? Я бы наверняка так поступила, будь я там с ними.

Глаза у нее горят, как у Федора минуту назад. Она дышит, словно только что бежала под гору. Лицо ее взволновано от мысли, что и она, конечно, набралась бы мужества и поступила бы так же.

Она говорила это, заплетая мне косы, и я чувствовала, как у нее прибавляется силы в руках. Сама того не сознавая, она плела их так туго, что, казалось, вот-вот вырвет все волосы. Потом она зачерпнула в горшок воды, и мы вместе вышли на пристенья сполоснуть руки.

Федор разбирал у гумна телегу и по частям раскладывал ее под навесом, чтобы она не намокла зимой и сохранилась до прихода весны. Мама только мельком взглянула на него и, не сдержавшись, крикнула:

— Мой муж теперь уж вернется! Чего ему там делать, раз фронта нет?

Она вытерла руки о фартук, и мы пошли опять в кухню.

Мама сняла горшок с плиты и стала сливать картошку. Пар клубился у ее лица. Она даже отвернулась, чтобы не

обжечься. Но и сквозь пелену пара я заметила, как у нее вдруг отяжелел взгляд. Она снова о чем-то думала.

— Чудно как-то бывает, — размышляла она, — тот русский в белых перчатках больше якшался с нашими господами, чем с пленными, с земляками своими. Говорят даже, что он за ними шпионил и доносил нашим властям, кто из них что думает. Да он и сам был паном, судя по виду. Иначе не ходил бы с серебряной тростью и в белых перчатках. Да и до работы не больно охоч был. Такие-то скорей подговором занимаются. Неудивительно, что он так кончил.

Все это припомнилось мне, когда я прибежала к маме рассказать ей, как Михаил поцеловал Юркину ручку.

От дяди Данё дедушка заглянул и к нам. Он сообщил маме, что Федор с Михаилом тайком собираются уходить.

Дедушка, понизив голос, со вздохом сказал:

— Горько за моего Ондreja, уж он-то никогда не воротится. А Штефан и Матуш, ежели живы, придут обязательно.

Матушем звали нашего отца, и при звуке этого имени мама глубоко и громко вздохнула. Она не могла скрыть охватившую ее радость.

В этот же вечер случилось еще кое-что неожиданное: наша мама вдруг запела. Она тихонько напевала песенку, которой научил нас Федор, когда мы еще летом работали в поле.

В эти дни не только наша мама, многие переменились. Старая Верона, тетка Порубячиха, Матько Феранец, Милан Осадский да и тетка Ондрушиха — все они, казалось, светились. А поглядишь на Ливоров, дядю Ондруша или Петра-ней — лица их были словно бы затянуты тучами.

С каждым днем мир становился запутанней, а жизнь тяжелее. Но это не отнимало веры у хороших людей. И в сырую осень, когда ветер мел сухие листья по земле, они надеялись, что солнце выглянет из-за туч, предвещая конец проклятой войне.

Повсюду говорили, что вот-вот наступят другие времена.

Диво дивное, и господа из замков вдруг стали приветливей к людям. Проезжая в колясках из окрестных деревень в город, они кивками головы приветствовали работавших в поле.

А как-то даже тетку Осадскую вместе с мотыгой и узелком на спине посадили в коляску. Довезли ее прямо до дому, помогли выйти, а барин на прощание еще и руку ей протянул. Люди смотрели большими глазами. В деревне только и толковали об этом. Вот, говорили одни, господа, верно, поняли, что господь бог сотворил всех по своему подобию и что все равны. Другие считали, что господа уже сами почуяли, что земля горит у них под ногами.

Милан Осадский зубами скрипел от злости:



— Я бы не сел к ним в коляску, даже если бы ноги до крови сбил от ходьбы.

Как раз в тот день пришел из Еловой дядя Яно Дюрчак и стал еще подзадоривать Милана:

— Надо же, в колясках захотели нас покатасть. Плевали мы на их коляски, парень. Землю надо у них отобрать — вот что, пусть наш хороший, работающий народ на ней пашет, сеет, косит да свозит урожай в амбары. А коляски пусть оставляют себе. Им они пригодятся, когда мы их пошлем в преисподнюю. Да и улыбки их ни в грош не ставь. Твоего деда истязали они на кобыле<sup>1</sup>. Отца твоего послали на фронт, чтобы голову там положил. Тебя, не задумываясь, впрягли бы в коляску вместо коня и погоняли, если б могли... Но война эта для них добром не кончится. Ох, парень, нынче такое творится за Карпатами...

Милан ловит каждое Дюрчаково слово. Под навесом точит топор и пальцем пробует лезвие. Таким можно волос рассечь, точно бритва. Такой топор в нужную минуту с успехом заменит винтовку.

— Если бы только за Карпатами,— продолжает Дюрчак.— А сходи-ка к русским, что живут в халупе у реки, или к итальянцам на хутор. Недавно я рассказал им о том парне из-под Монте-Граппо. Я видел, как у них надувались жилы. Ты небось знаешь тех двух рыбаков — Франческо и Джанино. Запомни их, сынок. Начнись что, от них будет толк.

Еще на прошлой неделе эти парни танцевали с деревенскими девушками под гитары. А понадобится, так и на другое развлечение отважатся. Но это будет не так просто. Милан-то это знает и потому спокойнее пробует лезвие топора. Пробует спокойнее еще и потому, что знает: куда лучше танцевать, чем драться и проливать кровь. Танцевать, например, с Беткой, любоваться вблизи ее красивым лицом, обдавать горячим дыханием молодости пряди ее черных, как уголь, волос и обнимать тонкую, стройную, как весенний побег, талию. Только мама не пускает Бетку на хутор танцевать с солдатами. И Милану надеяться не на что: ведь пока война, другой музыки в деревне не будет.

Иной раз он завидовал итальянцам, когда они танцевали с девушками. Франческо выбрал Петранёву Юлиану. Он прокружил с ней вокруг всех кленов в аллее, ведущей к замку. Юлиана хотя и отшучивается, но глаза выдают ее: ради Франческо она пойдет в огонь и в воду.

Тетка Петраниха следит за каждым Юлианиным шагом. Глаза б ее на это все не глядели. Матери и во сне не снилось, что такой позор падет на их голову. В костеле ей даже первой

<sup>1</sup> Кобыла — скамья для порки.

скамьи было мало, она рассаживалась с дочерьми на господских. И все похвалялась, что за каждой в приданое даст по сундуку золота. Самую старшую ранней осенью она выдала за богатого холстяника из Верхней Оравы. К Юлиане сватался его брат, но она о нем не захотела и слышать. Из-за свадебного сестриного стола убежала к Франческо. Тайком вынесла ему угощение и, пока ночной сторож не протрубил десять, не вернулась.

Милан понимает, что такая девчонка пошла бы и против господ. Наверняка бы пошла. На сей раз яблоко далеко откатилось от яблони. Юлиане ни к чему материнское золото, сидеть бы ей лучше на берегу итальянского залива и закидывать сети вместе с Франческо.

Милан улыбаясь усаживается на бревно против Яна Дюрчака.

— Как бы это нам, дядечка, все толком устроить, ежели и у нас что случится.

— Вот то-то и оно, парень. Надо все хорошенько обдумать,— говорит Дюрчак и плотнее стягивает ворот пиджака — студёный осенний ветер пронизывает насквозь.

Ветер гонит по двору сухие листья и вместе с ними кружит все, что подхватывает. Стебли сена заносит прямо на крыши и крошит ветки старой груши над криницей.

Небо уже не бывает такое голубое, как летом. Оно посерело и низко висит над землей. По нему часто плывут почти черные тучи.

С приближением зимы люди становятся серьезнее, словно вместе с летом их покидает веселость.

Федор тоже выглядит озабоченным. У него нет ни минуты покоя. Он ходит от деда к нам и от нас к деду. За ним, словно тень, тащится бездомная собака. Федор засовывает руки в карманы штанов и выше подымает воротник пиджака — тоже начинает мерзнуть.

Он приходит наколоть дров, наносить воды и ждет не дождется, когда начнется молотьба. Он тоскует по настоящей работе.

А когда наступают первые морозы и выпадает снег, он частенько засиживается у нас на кухне. Чинит, что попадается под руку. А то взялся вырезать для Бетки стиральный валец. На нем цветы, а меж ними две птички. Братик пристает к нему, чтобы он и ему вырезал лошадь с цветами и птицами. Федор посмеивается над такой чудной просьбой, но нас это радует — у него хоть на минуту повеселели глаза. Вместо лошадки однажды он принес братику красивое резное кнутовище.

Мама взяла его в руки и удивилась:

— Ловко это у вас получилось, Федор.

Федор кивнул головой и чуть приметно улыбнулся.

— Только уж больно вы грустный. Что-то вас вдруг так опечалило. Уж, никак, дедушка вас допекает? — нерешительно предположила она.

Федор не отвечает, только глядит, как Юрко крутит в руках кнутовище и как бесконечной радостью светится его лицо. Братик с благодарностью обнимает Федора. У обоих глаза горят, как волшебные фонарики.

— Вы хотите есть, Федор? — спрашивает мама.

Он кивает и присаживается на табуретку возле двери.

Мы хорошо знали, что ему не часто выпадает досыта поесть. Наш дедушка с нижнего конца снова стал проявлять свой характер. Уже затянулась рана, которую постоянно бедредило чувство одиночества. Пришли русские пленные и хоть немного заменили людям их близких, которым пришлось уйти на войну. Дед перестал зажигать по ночам каганец и глядеть на мирно спящего Федора. С каждым днем давал ему меньше еды. Как в иное время своих сыновей, он невесть за что решил наказывать и его. Дед уже привык к тому, что он не одинок, и стал равнодушным. Кто знает, может, это было от старости. За последние годы он совсем поседел, складки у рта углубились, лицо покрылось морщинами, точно кто долотом оставил на нем засечки. Может, Федор так и не смог заменить ему родных сыновей. Дед все чаще вспоминал их и роптал на войну.

Устало прикрыв глаза, он теперь часто сидел у нас на табуретке. Дыхание его раз от разу становилось короче и натужнее. Ясно было, что силы оставляют его. Он редко чему радовался и все скупее улыбался. Говорил маме, что, пожалуй, не худо бы ему сделать завешание. Иной раз подсаживался к нам, детям, и рассказывал, что хранится у него в амбаре. Вспоминал бабушкины шелковые юбки и кофты, цветастые кашемировые шали, суконные жакетки, скатерти и полотна тетки, уехавшей в Америку. Мы уже видели себя разодетыми в красивые платья и шелка. Больше всех радовалась Бетка. Ей хотелось нравиться Милану Осадскому, и она представляла себе, как будет красоваться перед ним, шурша шелком. Но дед долго кормил нас обещаниями, долго волновал наши мечты, а дальше разговоров дело не шло.

Федор был прямой, открытый человек и, конечно, с трудом выносил дедушкины причуды. Но замыкался и грустил он в основном не поэтому.

Когда мама подала ему миску с едой, он на минуту оживился и снова ушел в свои думы.

Он ел, то и дело поглядывая на свои дырявые башмаки. Починить бы их, да нет кожи. Чтобы не промочить ноги, он прикрепил к подошвам тонкие досочки. Работать в деревне

в такой обуви еще куда ни шло, но он готовился к дальней дороге в Россию.

Мама сразу поняла, что его беспокоит, и сказала:

— Федор, обождите, у меня от мужа остались хорошие башмаки. Я их дам вам, а уж потом как-нибудь утрясется.

Она тут же поднялась на чердак и вытащила из сундука башмаки — там они дожидались, когда отец вернется с войны.

— Уж как-нибудь утрясется,— повторила мама, ставя башмаки перед Федором,— вот, обувайтесь, и доброго вам пути.

Каждый понемногу припасал для себя и обувь и одежду потеплее — время шло к зиме, ручей у берегов уже оброс бахромчатой кромкой льда. За ночь она разрасталась по всей поверхности, а днем ее еще порой растапливало солнце, и над водой оставался только зубчатый навес.

Мы, дети, бросали в лед камешки и проверяли, какую тяжесть он выдержит. Лед был еще слабый, непрочный, и при каждом броске нам удавалось отбить от него кусочек. И мы с нетерпением ждали сильных морозов, чтобы лед окреп и мы смогли бы устроить на нем каток.

По голым деревьям у реки порхали воробьи. Они уныло чирикали — ведь им все труднее становилось добывать пищу. Повеселели они только тогда, когда на гумнах началась молотба. Уж тут и на их долю перепало кой-какое зернышко.

Молотили и на нашем гумне. В эту зиму у нас работал Федор. Часто на подмогу ему приходил Михаил, а Федор своим чередом помогал Михаилу у Липничанов.

Деревня оживилась. Почти в каждом доме цепи затягивали одну и ту же песню. Когда молотил один человек, то с гумна раздавалось тят-тят, тят-тят... Когда молотили двое, шум был резче и на иной лад: цупи-лупи, цупи-лупи, цупи-лупи... А когда за цепи брались трое, казалось, что отплясывают одземок: так-так-так, так-так-так... В раскиданных снопах шелестела солома и зерно фыркало трескучим и тонким голоском, отскакивая от тока.

Мы возились рядом, отыскивая в зерне горошины. С нами вместе хлопотали и воробьи, которые чуть поодаль украдкой склевывали зерно, отскакивавшее во двор.

Федор, бывало, набирал нам целую горсть гороха, а потом обычно посылал нас за Михаилом.

Но однажды мы не нашли его ни у Липничанов, ни в деревянном домике у ручья. Тетка Липничаниха заверила нас, что он пошел в замок. В последнее время он очень подружился с рыбаком Франческо. Его занимали новости, какие господам приносила почта. Итальянские пленные от прислуги узнавали о том, что творится на свете. Вот и хаживал к ним Михаил за новостями.

В этот день Федор молотил один.

Вечером после работы он умылся теплой водой и присел вместе с нами, ожидая ужина. Был у нас и дедушка по отцу.

Мама подкладывала поленья в печь, подливала воду в горшки, собирала на стол тарелки и ложки. Позвякивала посудой и тихонько напевала.

Все эти звуки проникали из кухни к нам в горницу через приотворенную дверь. И Федора они как-то особенно волновали.

Вдруг он улыбнулся и невзначай заметил:

— Вот вернусь в Россию, обязательно женюсь на своей Марусе. До войны у нас не получилось, она побогаче была, нежели мы. Теперь, может, будет все по-другому.

Он погладил край стола с такой нежностью, словно видел за ним свою будущую жену.

Конечно, многое изменится. Об этом поговаривали и в нашей деревне.

Поэтому пела и наша мама, в особенности когда думала, что ее никто не слышит. И становилась все более смелой. Она и сейчас вошла, напевая, в горницу и продолжала петь, пока расставляла на столе тарелки.

За ужином она казалась нам такой же красивой, как прежде, когда отец еще не ушел на войну. Ласково улыбаясь, она подавала нам всем еду, а дедушке с Федором потом еще и добавку. Вдруг распахнулись двери и появился Михаил. Он, видно, так бежал, что едва переводил дух.

Шапки на нем не было, пиджак и рубашка расстегнуты на груди. Глаза его сияли. Обычно резкий, суровый, сейчас он весь преобразился. Запыхавшись, он не мог совладать со своим голосом и громко с порога окликнул Федора.

Федор поднялся из-за стола и ждал. Он понял, что произошло что-то необычное, и его глаза, всегда такие кроткие, тоже загорелись. Он почувствовал, что речь идет о России. Они молча, в упор глядели друг на друга, а мы едва дышали от волнения. В горнице застыла такая тишина, словно кто-то заколдовал нас.

Только на стене зашумели ходики, отбивая семь ударов. Семь часов вечера.

Федор размеренным шагом подошел к Михаилу, и они заговорили по-русски. В их стране вспыхнула революция.

У нас тогда еще никто и понятия не имел, какой разгорелся пожар. Мы только заметили, что у Федора, обернувшегося к нам, глаза засветились такой синевой, словно в них распустились сразу все цветы наших лугов.

Михаил притворил дверь, пламя в керосиновой лампе металось, будто желтоватая бабочка.

Мама не могла сразу понять всего, что происходит. Одной

рукой она гладила братика по голове, а другой наугад складывала в стопку тарелки. Помню, как с одной тарелки соскользнула и упала на пол ложка, звякнув чисто и ясно.

Дедушка поднял ее и положил на стол. Рука у него тряслась, будто он чувствовал, что теперь уже ничто не удержит Федора в его доме.

Так оно и случилось. К исходу зимы Михаил с Федором собрали два полных мешка сухарей.

А однажды, когда снег уже стоял и земля в долинах подернулась паром, к нам в дом пришли Михаил и Федор. Пришли попрощаться. Они тайком возвращались в Россию.

Федор был обут в хорошие, крепкие отцовы башмаки, те, что ему подарила мама. У Михаила через плечо — мешки с хлебом. Мама отдала им все, что наскоро смогла собрать в доме.

И Данё Павков добавил кусок сала, который он получил от Ондрушей как плату за сшитые капцы. Расставаясь с русскими, он едва сдерживал слезы. Уходили хорошие друзья. Уже не с кем будет ему сидеть вечерами в каморке, некому будет рассказывать о своих скитаниях по свету. Чего только не вспоминал он: и голод, и забастовки, и работу на фабриках Будапешта, Гамбурга, Ливерпуля, и чикагские скотобойни. А сколько при этом было выкурено дикого табака, что растет на полянах близ перелесков! Лишь бы дым шел, утешали они себя и довольно перемигивались.

Данё был готов душу за них положить. Ведь это ради Михаила обманул он Ливоров, залатав их кожей его дырявые башмаки — только бы ему легче шагалось в Россию. Ливора велел вызвать Данё к старосте, пусть, дескать, признается. Но Данё все время твердил, что кожу у него кто-то украл. А теперь в наказание придется ему целый год чинить Ливорам капцы задаром. Но он на все согласился, главное, что у Михаила башмаки не худые.

Когда он подбивал подошвы, он все еще сомневался: неужто и впрямь отправится Михаил в такой дальний путь пешком через горы, не боясь ни голода, ни жажды? А тут, выходит, и сомневаться не стоило: Михаил и Федор стояли у нас в горнице и прощались.

Протягивая всем нам руки, они уверяли маму, что ее муж скоро вернется, что наступит конец мучениям.

Темными сенями мы проводили их во двор. Они пошли по дороге через Груник, потом загуменьем, чтобы не встретиться на проселочной дороге с жандармским патрулем.

Дедушка держал меня за руку. Его рука дрожала так же, как и тогда, когда он клал упавшую ложку на стол. Он снова оставался один в опустелом доме.

Федора и Михаила мы различали еще на холме у самого

леса. Они двигались у подножия горы навстречу ненастному небу.

Они возвращались домой, а наш отец, кто знает, где он?

Они возвращались домой, и мама сказала:

— Какие счастливые!

Тетка Липничаниха то и дело прибегала к нашей матери и причитала, испуганно теребя конец фартука в руках:

— А если об этом узнают? А если нас будут допрашивать? А если нас из-за этих русских посадят?

И каждый раз она пугливо озиралась по сторонам, не подслушивает ли кто в уголке, не донесет ли кто старосте, писарю или жандармам.

Мама занималась хозяйством, и ей недосуг было выслушивать тетку. Когда двери открылись, она уж не глядя знала, что это идет Липничаниха со своими охами да вздохами. Тетка сновала по кухне, тряслась как осиновый лист и заламывала руки. Присела на миг, поплакалась и отправилась восвояси. А минуту спустя снова открылись двери, а в них тетка Липничаниха со своими напастями. И опять твердит то же, что мама сто раз уже слышала.

— Что мы скажем, куда они подевались? — шептала она надломленным голосом.

— Да что говорить? — пыталась образумить ее мама. — Скажешь, что знать ничего не знаешь, и дело с концом.

— Погоди, — она чуть успокоилась, — а ну как нас станут пытать, чтобы мы признались, тогда что?

— Что делать, придется терпеть. Коли признаешься, пытки тебе еще горше покажутся.

— О господи, царица небесная! — причитает тетка. — И за какие такие грехи свалилось это на нас. Знала бы, не просила бы пленного себе в помощь. Уж лучше бы сама надрывалась в работе. А ведь какой он неумеха был, сколько я с ним намаялась, покуда он кой-чему научился. Я не то чтоб ругаю его, нет, он и впрямь научился — старательный был, только заботы эти нам ни к чему.

— Тут уж ничего не попишешь, — говорит мама, — зря-то ты не распускайся, тебе еще понадобятся силенки на пахоте.

— И то, — потирает тетка руки и шепчет — громко говорить уже и голоса не хватает: — Ну пошла, чего зря время у тебя отнимать. Что бог даст...

Она прошла мимо нас вдоль дома, словно мученица со сложными для молитвы руками.

Мы играли в камешки. Подбрасывая их вверх, ловили, кто больше. Братик с Липничановым Яником рыли под навесом сарая ямку — там сильнее всего припекало солнышко — и собирались играть в шарики.

У дома стоял дядя Данё и глубоко втягивал в себя воздух. На дворе уже явно тянуло весной.

Земля набухла, взрыхлилась, вспучилась. Корни растений набирали силу. На пригорках проклевывалась первая зелень.

Данё уже не сидел у печи, как в зимнюю пору. Теперь он выходил на завалянку и там чинил обувь. И мы часто видели, как он, задумавшись, смотрит на лес, куда ушли Михаил и Федор. Блуждая взглядом, он как бы шел их дорогой. Ведь то, что связывало его с ними, не могла оборвать никакая сила.

Немного погодя Данё взял топор и отправился в лес. Он шел по той самой тропе, по которой уходили пленные. У самого леса он остановился, отыскивая их следы.

Воротившись с вязанкой хвороста за спиной, он сказал маме:

— Ни следа от них не осталось, все растаяло вместе со снегом.

Мама шла от колодца. Она остановилась, поставила ведра на землю и улыбнулась тихо и серьезно, как умела только она:

— А ведь мысли остались. Их снегу не растопить.

— В самом деле, остались.— Данё касается рукой лба, потом груди, как бы связывая мысль с чувством.— И шагу не ступишь, чтоб их не вспомнить. Вот и когда эти сучья рубил, мне почудилось, будто Федор стоит возле меня и повторяет, что обронил однажды зимой: «После войны леса будут принадлежать всем». И так хорошо вдруг у меня стало на сердце: не придется мне, значит, больше таскать дрова из чужого леса. Михаил с Федором потому и торопились домой — порядки у себя наводить.

— У нас бы тоже не мешало кое-что исправить,— размышляет мама.— Вот вернутся мужчины с войны, и если дураками не будут, то прихватят с собой винтовки. Уж они-то смекнут, что с ними делать.

Мама подняла ведра и вошла в сени. С тех пор как Федор ушел, она едва управлялась с работой. Повсюду не доставало рук, а работы было невпроворот.

Дедушка с нижнего конца часто теперь приходил к нам пожаловаться. Оставшись один, он приуныл. Прибавилось работы по дому, а главное, его съедала тоска. Он нигде не находил себе места. То у нас посидит, то у дяди Данё. Вспоминая Федора, он всегда с грустью потирал ладонями колени.

Данё, склонившись над сапожной лапой, с молотком в руке, иной раз говорил:

— Только бы они выдержали, перевороты — дело нелегкое.

— А чего ж им не выдержать! — сердился дедушка на Данё, что он посмел усомниться в таких парнях, как Федор.



А когда Матько бывал при их разговоре, у него сияли глаза и он глотал каждое слово. Его не надо было учить ненавидеть. Он и так ненавидел тех, кому должен был почти что задаром пилить и колоть дрова. Они сидят в тепле, а он без передышки — стужа ли, дождь ли, ветер ли — работает на дворе, трясется от холода или мокнет в своей рваной одежде. Еду бросают ему, как собаке. Колода, на которой он колет дрова, и то им дороже. Он хорошо знает, что они его и человеком-то не считают.

Старая Верона тоже ожила с приходом весны. Прихрамывая, разносит она по деревне почту. Рассказывает людям, что делается на свете. Верона острая на язык, толковая женщина. Много не говорит, но скажет слово — сразу возьмет за живое. А в замке ее особенно ждут. Верона и там улыбается, но все, что она говорит, хоть и с улыбкой, не нравится господам. Она в свое время тоже натерпелась от них и насмотрелась на мучения бедных в деревне. Ей бы тоже пришлось по душе, если бы мужики, воротившись с винтовками, малость и припугнули панов.

А однажды с криком через задворки прибежала к нам тетка Порубячиха.

— Люди добрые, — кричала она, по своему обыкновению, — какой-то дьявол подсунул мне записку, чтобы я остерегалась! Ну чего мне остерегаться, скажите? Разве я кого ограбила или в могилу свела?

— Но ведь это кто-то над тобой подшутил, Мара, — смеется над ней наш дедушка с нижнего конца, выколачивая трубку о приступок пристенья.

— Ясное дело, это только шутка, — поддакивает дядя Данё с еще большей уверенностью.

— Я ему покажу шутки! — трясла кулаками разъяренная и красная, как индюк, тетка. — Я ему посмеюсь!

Продолжая кричать, она врывается в кухню прямо к маме:

— Я знаю, чьих рук это дело! Не мудрено догадаться, кто завидует моим несчастным грошам, что я на ярмарках заработала. Не кто иной, как этот старый сыч, этот выжига жадный, скупердый скаредный, эти глаза завидующие. Раз зимой я застала его под нашим окном. Могу побожиться, он подглядывал, не раскладываю ли я денежки на столе. Вот бы кипятком плеснуть ему прямо в глаза! На, получи по заслугам! Гляди сколько хочешь. Ох, меня чуть удар не хватил от злости!

Мама послушала ее, послушала, а потом ласково и говорит:

— Ладно тебе сердчать, Марка. Совесть у тебя чиста, успокойся и берись за работу.

— Да разве тут до работы, душенька ты моя? — еще пуще кипит тетка. — Ведь он готов человека обобрать до последнего, вспомни, как он зарился на твою землицу!

Мама наливала воду в бидон, собираясь мыть в бочке капусту. От удивления она застыла с горшком в руке и поглядела на тетку.

— Это ты про Ондруша? — спросила она.

— А про кого же, дорогая моя, про кого же еще? Он не только ко мне подбирается, но и к тебе. Мне грозитя записками, а о тебе бог весть что болтает. Распускает по деревне слухи, будто тебе известно, куда русские подевались.

— Мне? — притворно удивилась мама.

— Тебе. Что и тебе, мол, известно. Не иначе, как на тебя беду хочет накликать. Должно быть, думает, что потом ему легче будет прибрать к рукам твою землицу. Уж если он на что позарится, то прощай — кошке игрушки, а мышке слезки.

— Пускай себе зарится да болтает, — повела плечом мама и вылила воду в бидон, — скоро война кончится.

Порубячиха с опаской огляделась, нет ли кого непрошеного в кухне, и, нагнувшись к маме, зашептала ей в ухо:

— Ничего не бойся. Тут коса на камень нашла. Пускай только попробует. Я-то о нем куда больше знаю. Однажды ночью застучала его, как он копал яму под домом, там слева, со стороны сада, где та кривуля яблонька стоит. Если бы только яму копали, а то ведь они туда денежки прятали. Полным-полнешенек железный горшок. Золотые наполовину с серебряными. Я собственными глазами видела, как они туда их ссыпали. Совесть меня не мучает, не думай. Ты, чертяка, под моими окнами караулишь, сказала я себе, ну погоди, и я тебя подстерегу. Оказалось, бог ко мне милостив. Я видела то, что не полагалось мне видеть. Полный горшок денежек под домом. Старый каркун трясется, как бы и у нас не случилось то, что в России.

Она отскочила от мамы, топнула об пол сапогом и погрозила пальцем:

— Пусть только потягается с нами, мы ему... А пока никому ни звука! Знай да помалкивай.

Я завозилась на пороге и обернулась к ним как раз тогда, когда мама сказала:

— Этот и впрямь поживился, ему война в помощь.

— Кому? — насторожившись, спросила я.

— Да это так, к слову пришлось, — быстро ответила мама и подхватила полный бидон, — пойдем-ка промоем капусту, пока еще не стемнело.

Тетка Порубячиха тоже собралась — нечего, мол, мешать нам. Повернулась, точно молодлица, и припустилась из кухни.

Мама сунула мне в руки жестяную миску, и мы пошли в погреб. Она выбрала из бочки с капустой яблоки. Желтые, сочные, с приятной кислинкой, до чего хороши они были на вкус!

Мама тоже похвалила их:

— Чисто вино...

И нам, детям, сразу же вспомнился Федор. Всякий раз, когда мы ели эти яблоки, мы думали о нем. Он принес их в корзине от бабушки с бабушкой с холма, когда мы осенью рубили капусту и укладывали ее в кадку. И нам всегда виделись его синие-синие глаза, а братик каждый раз вытаскивал припрятанное в углу за шкафом деревянное кнутовище.

Весна заявляла о себе все смелее. От снега в деревне не осталось и следа. Он лежал еще только в складках на вершинах гор, но и там солнышко не щадило его. В долинах журчали ручьи, а над ними, на вербах, распевали птицы. В прибрежной топи распустилась ярко-желтая калужница. По склонам зеленела молодая трава. И в ней кое-где мелькали белые и голубые цветы.

По деревне тащился старьевщик рядом с тощей лошадежкой, впряженной в небольшую повозку. Быстро перебирая пальцами, он играл на дудочке.

Через каждые десять домов он останавливался и кричал:  
— Старье берем! Старье берем!

Редко какая хозяйка выносила истрепанную одежду и меняла ее на жестяной горшок или фарфоровые чашки. Не было даже лишнего тряпья — в войну и оно сгодилось. Все шло в дело.

Старьевщик остановился перед корчмой и долго тянул на дудочке свою песню, стараясь привлечь внимание женщин.

Но вместо женщин у корчмы стали собираться русские и итальянские пленные. Все они были с сумками и узелками. Говорили, что пришел приказ от властей сгонять их из деревень. Все это делалось в спешке, люди едва успевали подать уходившим кусок хлеба на дорогу. Увозили их на поездах.

Прошел слух, что, верно, кончилась война, и только до деревень, затерянных в горах, еще не докатилось это известие. А некоторые поговаривали, что власти переселяют пленных из страха, как бы чего не вышло.

Дудочку старьевщика мы услышали в школе. Сначала нам показалось, что это отбивают полдень: у нас окончился последний урок и мы собирались домой. Дудочка — великая приманка для детей — звала нас на улицу. С веселым гоном мы высыпали во двор, а оттуда вразбег на дорогу.

Там толпился народ. Тетка Мацухова, приложив палец к губам, велела нам помолчать. Рядом с ней стояла ее дочь Тера, она тоже делала нам какие-то знаки глазами. Мы притихли. В первую минуту нам подумалось, что кого-то хоронят. Мы увидели понурого Матько Феранца и барабанщика Шимо Яворку, тупо глядевшего перед собой. Дядя Данё Павков за руку прощался с пленными.

Недалеко от поворота через закрытое окно слышались рыдания, крики. Петраниха заперла двери, чтобы Юлиана не могла выйти к Франческо. Думала спастись хоть от этого позора. Но Юлиана звала на помощь и силой хотела отворить окно, хотя отец и держал ее за руки.

Рядом с Франческо стоял жандарм со штыком, и парень даже шелохнуться не мог.

Когда шеренга пленных двинулась по дороге, из окна Петраней посыпались цветочные горшки, а потом свесились две обессилевшие девичьи руки.

Юлиана уже не могла кричать, она только шептала:

— Франческо, Франческо...

Петраниха трясла ее за плечи и вопила:

— Какой срам! Какой срам, люди добрые!

Нестройными рядами зашагали пленные вниз по дороге. Точно стая диких гусей, бросающихся навстречу буре. А где-то по бескрайним просторам наших лесов в это время брели Федор и Михаил. Их и не очень-то искали. Кому теперь дело до этих двух бедолаг? Они меньше всего заботили власти.

За пленными, вытянувшимися извилистой лентой, отправились школьники с белыми полотняными сумками за спиной. Словно стайка молоденьких ласточек.

Рядом с ними шагали Данё Павков и Матько Феранец. С другой стороныковыляла старая Верона с палкой и почтовой сумкой. Они провожали пленных до конца деревни.

Народ от корчмы стал расходиться. Там остались только тетка Мацухова и ее дочка Тера, что пришла этими днями из Микулаша помочь матери с пахотой. Ведь пленных согнали с полей в самую весеннюю страду.

Мы, дети, жившие от школы вверх по дороге, окружили лошадь старьевщика, стоявшую перед корчмой. Она была такой тощей, что ребра можно было пересчитать, они резко выступали под тонкой шкурой. Старьевщик зашел в корчму на стопку жженки.

Ливоров Адам вдруг заявил:

— Хорошо, что эти пленные уши.

— Нет, плохо,— смело ввернул Янко Одбочный, крестник барабанщика Шимо Яворки.

— Нет, хорошо,— повторяет Адам и для вящей убедительности кивает на родителей,— мой отец сказал, что они только народ баламутили.

— И правильно делали,— не уступает Янко и тоже кивает на свою мать: он знает, что слово старших куда больше значит.— Мама сказала, что вам после войны несдобровать.

Адам вспыхивает и бросается на Янко, точно молодой петушок. Он толкает его кулаком в грудь и с презрением оглядывает всех нас. Ему ничего не стоит избить любого: ведь



Ливоры самые богатые в деревне. Но Янко не уступает и отвечает на удар. Они дубасят друг друга изо всей мочи. Давно ребятам не приходилось видеть такой драки.

Остальные мальчишки складывают полотняные сумки с книгами к оштукатуренным белым столбам корчмы и тоже кидаются в драку. Среди них есть и такие, что помогают Адаму. Кто на кого набросился первый, понять невозможно, только вдруг у наших ног оказался клубок дерущихся тел.

Из домов выскочили собаки и принялись лаять.

Тера Кресачкова с башмаком в руке — она принесла его дяде Данё в починку — разгоняла мальчишек и кричала:

— Вы вконец изуродуетесь! Где это видано — так драться!

Но слова ее потонули в реве и гаме детей.

А дядя Павков, вернувшись с нижнего конца деревни, стал их даже подзадоривать, хоть и слышал, как на них рубахи трещат. Пускай, мол, дерутся, пускай мужаают.

В конце концов из дома выбежала Ливориха и спустила собаку, наводившую страх на всю деревню.

Дети так и замерли. Свалка тут же прекратилась, а мы, девочки, начали плакать.

У Янко Одбочного руки были исцарапаны в кровь, а у Адама рубаха порвана на груди.

— погоди, я тебе покажу, — не зная точно, кого винить, тетка Ливориха погрозила всем сразу.

Но заметив Теру Кресачкову и тетку Мацухову, она притихла. Должно быть, вспомнила, что Тера, как говорили в деревне, очень изменилась среди микулашских кожевенников и уже не была такой робкой. Пожалуй, не стоит при ней ругать крестьянских детей, ведь и Тера из таких же бедных крестьян, у которых земли всего ничего. Но Ливориха не смогла до конца унять свою злобу и уже молча трясла кулаками в воздухе. Потом как бы невзначай взглянула на Матько, стоявшего чуть поодаль с Данё Павковым.

Может, ей пришлось в голову свалить вину на него. У Матько все перевернулось внутри, но вдруг какая-то грусть сжала ему горло. Он всегда испытывал это, когда обижали его понапрасну.

— У вас ко мне дело, хозяйка? — спросил он.

— Какое у меня может быть к тебе дело, побирушка!

Она презрительно оборвала его, взяла Адама за руку, кликнула собаку и вошла во двор.

Матько она ни в грош не ставила. Захоти, она смогла бы отыграться на нем, но уж, во всяком случае, не на глазах у Теры Кресачковой. Поэтому она отступилась и пошла восвояси.

Дядя Данё заметил Матько:

— Нечего быть тяпой-растяпой, надо быть крепче. После войны у таких, как Ливоры, заберут хозяйство и отдадут

таким, как мы с тобой. Сам для себя вырастишь хлеб, не придется тебе больше просить у чужих.

Матько только вздохнул.

Ребята, стоявшие у корчмы, стали расходиться.

Мы с братом, взявшись за руки, тоже двинулись в путь. За спиной у нас болтались полотняные сумки.

В последнюю минуту старьевщик вышел из корчмы, отирая рот костлявой рукой и чуть покачиваясь. Верно, он хлебнул лишнего. На ступеньках он вытащил дудочку и попытался заиграть. Но песенка звучала отрывисто и невесело. В руках подвыпившего старьевщика дудочка уже не издавала радостных звуков, как поначалу, а только всхлипывала.

Дядя Данё повернулся к нему и махнул рукой: зря, мол, он пытается играть в подпитии.

— Горемыка,— вздохнул он,— в беде кто хочешь смешным покажется. После войны и ему будет лучше.

— Вы всех только утешаете, дядя Данё,— хоть и неохотно, но Матько все же сомневается.— Говорите так, словно вы сами будете делить и раздавать по справедливости.

— Не мои это выдумки, парень. Глянь-ка, что творится на свете. Недавно двое воротились в Княжую с войны, и один из них с винтовкой. Вчера по дороге через Дикий лаз шел тайком двоюродный брат Порубячихи из Дубравы. Не везде такие тихони, как в нашей деревне. Может, в других местах нищета еще и побольше, а чем нищета больше, тем быстрее глаза у людей открываются. Когда-нибудь это и сюда дойдет, и тут все вихрем сметет.

Тера Кресачкова взяла мать под руку и вмешалась в разговор.

— Только хватит ли нашим смелости?

— А то нет! — живо подхватила тетка Мацухова, но тут же осеклась:— Нам из-за гор не видать.

— Да ведь унижают нас как, а униженному труднее,— печально размышляет Матько.— Я по себе знаю. В душе злюсь, а тело точно в оковах. Вот тут недавно налоговый инспектор не доплатил мне, когда я дрова пилил у него. Сначала у меня слезы выступили, а потом кулаки сжались. Я едва не бросился на него. Но дальше слез дело не пошло. Духу не хватило.

Тера хлопнула Матько по плечу:

— Одному тебе не под силу, парень. Так ты только в тюрьму угодишь. Известно, что творится среди кожевенников в Микулаше<sup>1</sup>, а в поместьях в округе и того хуже...

Она не договорила, оглянувшись на стайку детишек, следо-

---

<sup>1</sup> Рабочие Микулаша одни из первых откликнулись на Великую Октябрьскую революцию.

вавших за ними, и многозначительно подмигнула Данё. Глаза у нее были живые, выразительные и светились, словно крохотные оконца нашей деревни по вечерам. На ее лице было какое-то гордое выражение. Но это была скорее уверенность, чем гордость.

Мы подошли к нашим мосткам над нижним ручьем, а остальные дети побрели дальше. Матько напрямик через Груник заторопился в город.

Мы с братиком отправились следом за дядей Данё и Терой. Тера огляделась вокруг и сунула Данё башмак. На дворе, где было светлее, Данё рассматривал распоровшийся шов. Потом они вместе вошли в лачугу, где дядя жил и работал. Понизив голос, они доверительно о чем-то шептались. А чтоб мы ничего не слышали, Тера даже захлопнула дверь.

Мама дома не было. Мы уселись на пороге и смотрели, как по двору бежит вода, омывая остатки льда. Солнышко растопило его, и теперь по тонкому слою расползались извилистые ручейки, пролагая бороздки.

От корчмы к нам долетали прерывистые звуки дудочки.

Вдруг мне почему-то стало грустно. В голове моей сменялись печальные, недетские картины. Сначала я мысленно шла за звуками дудочки. Я воображала себе, как ее держат костлявые руки пьяного старьевщика. Неподалеку от него виделась мне тощая лошадь. Ноги у нее были словно прутики вербы. Она стояла, свесив голову, равнодушная ко всему.

Снова раздались звуки дудочки, и новая картина представилась мне. На дорожной грязи отпечаталась бесконечная вереница следов. Они остались там после того, как пленные в последний раз прошли по нашей деревне.

— Куда их увели? — спрашиваю я братика.

Юрко дергает плечом.

— А если бы нас забрали у мамы и увели куда-то... — И такая мысль приходит мне в голову.

Братик сердится:

— Не говори так!

Я не сказала больше ни слова, но чувствовала, как сильно колотится сердце и как мне снова хочется плакать.

Все, что происходило, никого не оставляло безучастным, даже детей. Господа в замках и те всполошились, заметно меняя свое отношение к деревне: то они были суровы, то смягчались, смотря по обстоятельствам. Только народ не забывал старой премудрости: если злая собака и ластится, то это не значит, что она разучилась кусаться.

Действительно, господа очень редко шли людям навстречу. После ухода итальянских и русских пленных они снова ожесточились, словно хотели выместить весь свой гнев на народе. Господские коляски непрерывно проносились взад и вперед по



дороге. Господа сидели в них надутые, спесивые, а работать на баршине заставляли до седьмого пота.

— Видать, дела у них на фронте лучше пошли,— сказал дядя Данё Яну Дюрчаку, беседуя с ним на пороге сеней. Яно, чтобы потолковать с дядей, притащился из самой Еловой.

— Даже если это и так, то ненадолго. Это уж точно.

Дюрчак в одной руке мял на колене баранью шапку, другой почесывал вспотевшую голову.

Мы смотрели на него во все глаза. Любая неожиданность притягивала нас и волновала. Даже если человек приходил всего лишь из соседней деревни, и то нам казалось, что он явился невесть откуда. Детей набежало полон двор. Одни стояли поодаль и внимательно вслушивались, другие шлепали по весенним лужам и озорничали.

— Не все коту масленица,— продолжает Дюрчак разговор о господах,— век их прошел. Хотя норовистая лошадь лягается, пока не издохнет.

Тут вышла мама и мельком оглядела двор. В руках у нее был острый кухонный нож и полотенце. Собираясь щепать лучины для растопки, она присела на пороге и обернулась к мужчинам.

— Это вы, Дюрчак? С добрыми ли вестями пожаловали?

Дюрчак кривым, изуродованным на войне пальцем указал на Данё:

— Да вот принес капцы подлатать, моей-то культяпкой не наработаешь.

Мама улыбнулась ему, а нам сказала:

— Дети, этот дядя прислал вам зимой те красивые красные яблоки. Поблагодарите его!

Я осторожно приблизилась к нему первой. Не дожидаясь, пока я подойду совсем вплотную, он привлек меня к себе и посадил на колени. Сначала поправил мне волосы, выбившиеся из-под платка, потом погладил по лицу. У него были шершавые, мозолистые ладони, и мне стало как-то не по себе. Но я сдержалась и не подала виду.

Он снял меня с колен и внимательно оглядел.

— Щечки-то у тебя не больно румяные, кровинки в лице нет,— и прижал меня к своему простреленному плечу.

— Ясное дело, бледненькая,— кивнула мама,— а с чего ей румяной быть? Небось не на сливках растет, как господские дети. А гляньте-ка на всех других детей во дворе! Хоть и бегают, а все равно бледные. Хилые все, малокровные. В мое время, когда мы, бывало, разыграемся, щеки у нас как маков цвет горят, а ведь и тогда жизнь нас не баловала. Но война кого хочешь изморит, разве только этим толстопузым она на руку.

Только мама это сказала, как неподалеку на повороте загремела коляска.

Наш двор стоял неогороженный, ни забора, ни ворот у нас не было. И с дороги просматривалось все, что в нем происходило.

Коляска остановилась прямо перед нами. Господский кучер, натягивая вожжи, гордо восседал на козлах, будто аршин проглотил. На груди кафтана восьмерками была нашита широкая шнуровка. Кучер оглядывался по сторонам и был похож на изваяние.

В коляске развалился сидел барин, одетый в добротную шубу — весна хотя и пришла, а с гор еще дул холодный ветер. Барин поставил было ногу на подножку, чтобы встать, но потом, должно быть, раздумал и остался в коляске.

— Ей! — крикнул он во двор, прищулив глаз и ухмыляясь.

Дети сразу же притихли, а взрослые повернули к нему головы.

Сначала он злобно выбранился, потом продолжал:

— Слякоть по уши, того и гляди, утонешь, а тут столько бездельников! А ну-ка мотыги в руки да всю эту грязь убирать! Коляска вся замарана, как свинья в хлеву, а я доехал-то всего до соседней деревни. А ну-ка живей за дело!

Дядя Дюрчак громко рассмеялся, а за ним кое-кто из ребят. А уж мальчишки портного Сливки гоготали пуще всех. Всю зиму, даже в самую жестокую стужу, они ходили босые. Как же тут не призадуматься и не сделаться более дерзким к тем, кому и зима нипочем, — ведь с головы до пят укутаны в шубы. Но портновы ребята даже и в нужде вон как вытянулись: хоть и худущие, а высокие. А главное, смелые. Только подзадорь их, они и господскую коляску перевернут. Рядом с ними стоял Мишо Кубачка, в глазах нашей Людки — герой всей деревни. Он лепил из грязного снега большой ком и передразнивал ухмылку вельможного пана.

А вельможный пан рвал и метал, сидя в коляске. Он что-то ворчал себе под нос, потом снял ногу с подножки и, запахнувшись в шубу, приказал кучеру трогать.

Кони вздрогнули, слегка потянули коляску и умеренной рысью припустили вниз по топкой деревенской дороге. Колеса катили по лужам, разбрызгивая вязкую грязь во все стороны.

— Что и говорить, дороги плохие, — согласился Данё, — да разве нельзя вымостить их за государственный счет? Ведь дороги нужней, чем война. На войну у них денег хватает.

— Вот из-за нее, проклятой, и на дороги недостает! — ворчал Дюрчак.

— Да и когда войны не было, — отозвалась мама с порога, — кто занимался дорогами? Вот из-за этих-то ненасытных утроб и денег нет на дороги. Им куда дешевле, чтобы мы гнули спину. Да чего там дешевле, — поправляет она себя, — это им вообще задаром обходится, за здорово живешь.

— Не дороже, чем блоха собаке.

Мужчины на завалинке смеются.

Вдруг на нижнем конце деревьев раздались удары Шимонова барабана. Дядя Дюрчак с Данё Павковым, умолкнув, быстро переглянулись.

Мама схватила наколотые щепки и вошла в дом. Потом, снова появившись на пороге, хмуро сказала:

— Им как бельмо на глазу, если наши дети и порезвятся малость на улице. Воздуха им и то для них жалко. Вот увидите, они еще погонят их сгребать грязь на дороге. Хлеба у них не допросишься, а работу всегда найдут. Не иначе, как вельможный пан прямо от нас полетел в канцелярию. Писарь о них похлопочет. А за нас кто заступится? Видать, потому Шимо и спешит так со своим барабаном.

Мама как в воду глядела. Шимо созывал народ на работу. Берись за мотыги, лопаты, ведра, лоханки и ступай грязь разгребать на дорогах. Сельский писарь приказал Шимо точно-точно повторять слова вельможного пана, что, дескать, господские коляски замараны, как свињи в хлеву, так народу будет понятнее. Шимо едва языком ворочал, когда произносил «господские коляски» и «свињи в хлеву». Он хитро подмигивал людям и нарочно переставлял слова. Одни сердились, другие понимали как надо. Посмеиваясь, они кивали друг другу. Хоть это было каким-то утешением.

Когда Шимон Яворка подошел к нам, Мишо Кубачка тут же заявил, что он и пальцем не двинет. А взглядами через двор он сговаривался с моей сестрой Людкой. Хорошо еще, что мама ничего не заметила. Ребята портного уже давно мечтали стать такими, как Яношик, и сказали, что скорее убегут в горы, чем позволят погонять себя господским кнутом.

Яно Дюрчак понимал, конечно, что ребята пока только храбрятся, а сами все еще держатся за материнскую юбку, но их смелость и упрямство были ему по душе.

Он весело ухмылялся с завалинки, а потом вместе с Данё вошел к нему в дом: зачем зря мозолить глаза. Они и двери закрыли за собой на крючок. И долго о чем-то шептались.

Мне все это было непонятно, и я думала про себя:

«Лучше бы дядя рассказал нам что-нибудь занятное. Так давно мы не слыхали от него никакой сказки».

Вскоре мама прервала мои мысли. Она шла на задворки посмотреть, что там происходит, оттуда доносились шум и ругань. Из любопытства мы отправились следом за ней.

Верхний ручей нес вниз свои бурные мутные воды, в излучине они бились о камни и рычали точно звери.

Женщины стояли по обеим сторонам ручья и глядели на быстрый поток.

— Что ж это, снова выходи на дорогу! А кто же будет землю пахать? — кричала тетка Порубячиха.

Она пыталась перекричать шум воды, и при каждом слове жилы на шее у нее натягивались, как веревки.

— Пленных угнали, работать некому, а теперь еще и грязь иди разгребай! — возмущалась она. — Хорошо еще, что не приказывают вылизывать ее языком. Ну да ладно, времена-то меняются, глядишь, мы будем ездить в колясках, а они вкалывать на дорогах! Чтоб им, этим иродам!

Она топнула ногой и погрозила кулаком замку.

Тетка Липничаниха от страха вся сжалась, скрестила на груди руки и украдкой заозиралась вокруг: нет ли кого чужого поблизости. Она пуще огня боялась всяких неприятностей. Уж лучше взять мотыгу да пойти кое-как потрудиться на дорогах. Криком не поможешь, только себе навредишь, дело известное. Она потихоньку отошла от ручья и мелкими шажками понуро засемила по пустошинке вдоль конюшни, откуда был проход к их подворью.

Порубячиха кивнула в ее сторону и махнула обеими руками:

— Уж эта теперь страху натерпится! Корова у нее телится — страшно. Половодье начинается — страшно. Пахать надо — страшно. Барин сапогом скрипнет — страшно. Что с нее взять?

— В страхе и впрямь хорошего мало, — подтвердила наша мама, — а кричать попусту еще хуже. Криком делу не поможешь, моя милая. Лучше бы нам сговориться всей деревней да и объявить, что на работу не выйдем. Только деревню объединить трудно. У каждого свое понятие. Тут каждый о своем хозяйстве печется, а здравый смысл — дело десятое. Прав мой свекор: ни дать ни взять стадо баранов.

— Так что ж делать-то?

— Не нам с тобой это решать, Марка, — призадумалась мама, но потом, набравшись мужества, так же громко крикнула над гулким потоком: — Попробуем разок не пойти!

Эти слова Порубячихе будто маслом по сердцу. Она широко улыбнулась, свободно и глубоко вздохнула и так это хитро подмигнула. Ничего другого ей и не надо было: повернувшись, она пошла во двор готовиться к пахоте.

Мама еще с минуту смотрела, прибывает ли вода. Ручьи весной несут много бед. Они не только разрушают берега, но и подмывают дворы, уносят картошку из подвалов, а бывает, при паводке затопляют даже скотину в хлеву. До тех пор пока снег совсем не исчезнет с гор, всегда остается эта угроза.

Мама стояла на огромных валунах, укреплявших берег. У ног ее бурно катил замутненный поток. Волны, словно огромные бочки, обрушивались на берег, налетали одна на другую, ревели, стонали, вой их поднимался из самых глубин.

Одна волна ударила о камни, будто хотела скинуть с них маму. Мама отпрянула и крепко ухватилась за поперечину гумна. Зачем судьбу испытывать? Год назад большой водой принесло сюда женщину с верхнего конца деревни. Она хотела уберечь от накатившей волны кувшин из-под молока, надетый на плетень, да поток подхватил ее и понес вниз по течению. К счастью, юбки у нее надулись как паруса, и она удержалась на поверхности. Когда ее мчало мимо нашего гумна, она ухватилась за мостки и позвала на помощь. С большим трудом мужикам удалось вызволить ее из беды. Мама вспомнила об этом и быстро отступила к пристенью. Войдя во двор, она тыльной стороной руки отерла лоб и глаза, словно хотела отогнать ужасные мысли.

Мы с братиком бросились к ней. Она обеими руками притянула нас к себе и с какой-то особой порывистостью прижалась к нам. Должно быть, ее напугал привидевшийся призрак беды.

Мы так и стояли обнявшись, когда от кузнеца воротилась Бетка. Мама посылала ее к нему, чтобы запаять цепь. Бетка не любила нежностей и нарочно за нашей спиной загромычала цепью. Мы вздрогнули от неожиданности. Юрко это развеселило, а мама отругала Бетку: ей, мол, и без того каждый день страхов хватает. Бетка протянула цепь матери:

— Держите, а я пошла чистить дорогу.

— Никуда мы не пойдем,— пыталась остановить ее мама.

— С нижнего конца люди уже вышли с мотыгами.

Мама ушам своим не поверила.

— С нижнего конца? — повторила она, удивившись, что на работу собираются крестьянки, да к тому же еще самые бедные.

Им бы не нужно идти. Отказались бы, так же как они с Порубячихой. В согласном стаде и волк не страшен.

Тут она в самом деле увидела на повороте людей с мотыгами, лопатами, топорами и кольями. Впереди шел Милан Осадский с Мишо Кубачкой. Кроме женщин, были ребята портного Сливки и пожилые мужчины. Тащился с мотыгой и дед Яворка, припадая на одну ногу.

Мама в беспокойстве сказала:

— Не жди добра, когда человек только сам себе голова. Одному в самом деле ничего не под силу,— и снова как-то смиренно поглядела перед собой.

Бетка пробежала мимо нас с мотыгой и присоединилась к толпе.

Милан бросил в ее сторону камешек и сверкнул веселыми глазами. Потом обратился и к нашей маме:

— А вы разве не идете?

Мама тревожно сжимала мое плечо. Кто знает, о чем она думала?

— Пошли, тетушка,— улыбается Милан,— покажем им, на что мы годимся. Уж коль велят дороги ровнять, вот мы и идем ровнять, только наши проселочные.

Мама от неожиданной радости погладила Юрко по голове и крикнула:

— Подождите меня!

Она сбежала за мотыгой. Заглянула в хлев, второпях прикрыла сарай, чтобы мы не смогли добраться до топора, и попросила дядю Данё приглядеть за нами.

Едва люди миновали Багниско, как услышали крики.

На обратном пути с пахоты коровы тетки Мацуховой увязли в трясине. Одна, правда, прочно держалась на камне, но другая провалилась по самое брюхо. Казалось, живыми им оттуда не выбраться. Люди долго возились с ними. Наконец удалось подсунуть под них палки и с большим трудом вытащить. Одну тотчас пришлось отправить к мяснику Смоляру на убой — у нее были помяты внутренности. Тетка Мацухова плакала над ней, точно над ребенком.

Вот так появилась еще одна причина срочно идти расчищать дорогу за Багниском. И пусть только господа попробуют слово сказать!

Кое-кто повернул к Чертяжу. Там водой размыло такую яму, что только одно колесо телеги могло проехать по дороге, а другое висело в воздухе. У Петраней завалилась телега, и старого так прижало к склону, что он и пошевелиться не мог. Не окажись случайных прохожих, ноги бы ему совсем отдавило. На его крик прибежали люди с главной дороги на выручку.

С Откоса тоже нельзя будет скоро дров привезти. Лавина с гор нанесла туда жирной глины. Достаточно небольшого дождя, и дорога становится чисто каток. Человеку по ней не пройти, будь он хоть семи пядей во лбу, а уж несмысленной скотинке подавно.

Все дороги на полях вконец разворочены, и это очень мешает работать. Их бы надо исправить, но на это нет ни сил, ни времени, все, что для этого требуется, забрала война.

А господа заняты только собой. Они знай себе развлекаются, катят в комитатский город, живут в свое удовольствие, пьют, веселятся, танцуют, а тем временем на полях за тяжелой работой и на фронте с винтовкой в руках народ отдает им последние силы и проливает за них свою кровь.

— Только нечего так бояться,— подбадривали люди сами себя.— И господам полезно бы знать, что в коляске хлеб не родится. Когда наши вернутся с войны, они по праву могут спросить, почему мы больше заботились о господских колясках, чем о наших дорогах.

В эти дни господские коляски уминали дорожную грязь.

В рытвинах на дороге стояли мутные, топкие лужи. Когда колеса погружались в них, брызги разлетались во все стороны. Точно метлами на колясках были размалеваны грязные полосы попеременно с россыпью капель величиной с булавочную головку. Доставалось и господскому платью.

Люди тайком выглядывали из окон и смеялись. Брюха лошадей были залеплены грязью: уж не воробьи ли свили там свои гнезда?

Когда коляски останавливались у почты или перед домом сельского писаря, барабанщик Шимон подходил и, притворяясь человеком жалостливым, заботливым и добродушным, сокрушался при виде замызганных господских колясок и лошадей.

Однако писарь не поленился и тут же сообщил в комитатский город о подобной «старательности и благонамеренности» всей деревни. Было ясно, что последует расплата.

Я повзрослела, а из-за своего высокого роста выглядела еще старше и все-таки во многом оставалась ребенком. Главное, я никак не могла понять, как возникают в голове человека жестокие решения. Но даже ребенком я почувствовала, что в тот день случилась самая большая жестокость: из комитатского города пришел приказ о мобилизации мужчин моложе двадцати лет.

Я втихомолку горевала о Милане, о его желтом хохолке надо лбом, подрагивавшем при ходьбе. Мне вовсе не было дела до того, что летом, когда мы сушили сено, Милан принес Бетке букетик земляники, а она в благодарность заткнула за ленту его шляпы перо сойки. Может, это и странно, но я без капли зависти радовалась вместе с ними. Я верила, что Милан принадлежит и мне, но только иначе. Он принадлежал мне, как картина, как чувство, которое способно чем-то прекрасным наполнить жизнь. Это была моя глубокая тайна, и о ней так никто и не догадался.

И когда повсюду в деревне женщины стали ломать в отчаянии руки и причитать, мое сердце сжалось и на глазах выступили слезы. Я слышала, как матери оплакивают своих сыновей:

— Какие же это мужчины! Это ведь дети. Хорошо еще, что младенцев не отрывают от материнской груди.

А кое-кто рассудил так:

— Из-за дорог небось все и вышло. Господа знают, что молодые шли с лопатами впереди. Вот они в отместку и посылают их на фронт.

Плача навзрыд, прибежала к нам тетка Осадская.

— Ясное дело, кто-то из деревенских живоглотов наябедничал в замке. Подлился, доложил, что мой Милан с Мишо Кубачкой подбили народ на это. Ну погодите!

Она вдруг затихла, и только беззвучно вздрагивали у нее губы. Стиснув руки, она обливалась слезами. Тетка присела на камень у ручья, обеими руками прижала к лицу передник и безудержно рыдала.

Мы обступили ее, слушая, как она причитает:

— Почему его у меня отнимают? Это же еще ребенок, ему ведь только шестнадцать минуло.

Наша мама пыталась ее успокоить. Из ближайших домов стали подходить женщины.

Остановилась и тетка Петраниха. Она несла в узелке еду для мужа, работавшего в поле. С тех пор как ее Юлиана связалась с итальянским рыбаком, тетка стала совсем невыносима. Она ненавидела людей за то, что они разносили сплетни о ее доме. А еще больше за то, что они жалели Юлиану и осуждали ее, бессердечную мать. Она никак не могла с этим смириться. И где только могла, старалась людей поддеть, сорвать на них свою злобу.

Подойдя к тетке Осадской, она сказала:

— Чего ж ты теперь хнычешь да порядочных людей оговариваешь, будто они наядбедничали. Ведь это тебя с поклажей господа подвезли в коляске. Это ты подхалимничала. Думала, бог весть чего добьешься. Ну вот и добилась!

Сломленная и убитая горем, тетка Осадская и сквозь боль почувствовала, как закипает в ней ярость. Слегка отняв передник от заплаканных глаз и чуть приподняв веки, она посмотрела на Петраниху. У Осадских в жилах текла горячая кровь, лучше было с ними не связываться.

Петраниха тут же отскочила от нее. Очень надо, чтобы Осадская повторила ей то, что всякий раз выкрикивала в запальчивости: пиявки, мол, ненасытные, процентщики, такие же как лихоимец корчмарь и все прочие живоглоты в округе. Однако Петраниха давно убедилась, что надо быть жадным, если хочешь выгодно пристроить своих дочерей да грозишься поставить напротив господского замка хоромы, какие во сне только могут присниться. Каждый при случае может сколотить состояние. Петраням в войну повезло, стало быть, война ей не помеха. Она даже не очень скрывает, что не станет горевать, если война и затянется. Ведь Петрань же молится каждое воскресенье за тех, кого взяли на фронт. Что ж, молитвой все искупится. А что теперь таких молодых забирают, так разве она виновата? Не она это придумала, так отчего бы ее мучила совесть?

Осадская опустила передник и сказала:

— Погоди, бывало, и коза волка съедала. Как миленькая вернешь цепочки, кольца да серьги. Ух, процентщица проклятая!

У обеих от ярости даже горечь подступила ко рту.



Но тут явилась наша бабушка с холма. Она несла корзинку, прикрытую чистой салфеткой.

Добрый словом она успокоила распалившихся женщин:

— Да будет вам, милые мои, в такое-то тяжкое время. Нынче о детях надо думать.

Бабушка ставит корзинку перед теткой Осадской:

— Тут кое-что для Милана на дорогу. Самый пустяк... да от души...

Тетка Осадская растроганно смотрит на бабушку. Она опускает передник и протягивает руку к корзинке. Глаза ее становятся кроткими, гнев покидает ее. Резким вздохом она как бы сметает все злое, что стоит между ней и Петранихой. В такую горькую минуту действительно надо думать только о детях. Смягчившись, она глядит на нас, как мы бродим по берегу ручья. Мы все еще маленькие по сравнению с Миланом. Но именно мы, дети, живо напоминаем ей о нем. От ее недавнего гнева остался чуть заметный след, словно легкий туман, что плывет на рассвете по долинам. Сердце судорожно сжимается от неумного горя. Огромная слеза стекает вдоль носа ко рту. Тетка, шевельнув губами, проглатывает ее. За ней по щеке катится другая, еще больше, точно крупная капля воды.

— Ну не плачь,— утешает ее бабушка,— будь в наших силах, мы помогли бы тебе.

— О-оох... — мучительные стоны срываются с теткиных губ.— Чего только не выпадает на женскую долю. Мужа забрали, теперь сына.

Все вокруг начинают плакать вместе с ней. Женщины концами платков утирают слезы. Почти у каждой кто-нибудь из близких ушел на войну. Каждая и днем и ночью решает один наболевший вопрос: зачем столько страданий, зачем столько крови. Каждая из них мысленно уже миллион раз бросалась на чудовище, в мозгу которого родилось подобное жестокое решение.

Мы все стоим, словно хороним кого-то.

Вдруг тетка Осадская выкрикивает в тишину:

— Люди!..

Слезы ручьем текут по ее лицу. Может быть, она хочет сказать: «Люди, не отдадим своих детей!» Может быть, подумалось ей, что она не одна, что таких несчастных матерей миллионы, великая армия любящих женщин, которые не хотят отдавать под пули своих детей и мужей. А что, если бы им всем вместе встать против тех, кто приказывает человеку убивать человека? Великая армия женщин против лютых зверей! Что тогда бы случилось на свете?

— Люди добрые! — снова восклицает тетка Осадская.— Люди!..

Моя бабушка погладила ее мозолистой рукой и сказала:

— Успокойся, мы тебя в беде не оставим.

— Конечно, не оставим,— утешает ее и моя мама.

Тетка Осадская бессильно никнет, грудью наваливаясь на ручку корзины. Она корчится, точно от боли. Губы ее плотно сжаты, веки прикрыты. Сгорбившись на камне, она похожа на увядший лист, из которого уходит жизнь.

Мы все вокруг нее молчим, негодую в душе.

Только тетка Петраниха равнодушно поводит плечом и направляется вверх по дороге.

Однако так не бывает, чтобы горе окончательно сокрушило человека. Тысячу раз оно сгибает его, и тысячу раз он вновь выпрямляется. Я поняла это совсем еще маленькой, когда стояла на берегу ручья и вместе со всеми нашими смотрела на тетку Осадскую.

Внезапно она выпрямилась, вытерла слезы и решительно поглядела вперед.

Вокруг стояла такая тишина, что мы явственно различали шелест каждой струи в ручье и журчание воды среди камней.

Она смотрела перед собой и что-то обдумывала. Потом обвела взглядом стоявших рядом и сказала не очень громко:

— Я понимаю. Что толку от моих причитаний, слезами горю не поможешь. Как же я, бывало, сердилась, что к нам ходит Яно Дюрчак из Еловой. Хорошо, что он приходил. По крайней мере, открыл Милану глаза. Мальчик сообразит, в кого надо стрелять.

Она повесила на руку корзину, прикрытую белой салфеткой, встала и тихо отправилась вниз по дороге.

Моя мама пошла с ней. Ей не хотелось отпускать ее одну в таком горе.

Мы остались на дворе с бабушкой и ждали маму. Со двора, вдоль которого пенился бурный горный ручей, мы видели в окне горницы за чахлыми листьями герани Бетку. Она сидела в изголовье кушетки, и голова ее с черными косами клонилась к самым коленям. Она брала ранние весенние цветы, лежавшие в подоле, и заботливо собирала их в букетик.

Поля, правда, не расцвели еще в полную силу. Только на лугах под утесами, покрытыми орешником, и у темного ельника пестрели на коротких ножках безвременники. Во время их цветения наш каменистый суровый край становился каким-то ласковым, хотя именно в это время земля жестоко боролась за жизнь — ведь в ней всходило неисчислимое множество семян, проклевывались миллионы зеленых листочков и трав.

Когда вблизи я посмотрела на Бетку, лицо у нее было такое же яркое, как и луга на подгорьях в разливе расцветших безвременников. Лицо ее горело от мыслей, которые не оставляли ее. Она плела венок, и любой мог легко догадаться, кому он был предназначен. Милан Осадский уходил на войну, надо



было проститься с ним по-девичьи нежно. Цветы, когда их дарят молодые, куда красноречивее слов. Это стародавний обычай, и сестра держалась его.

Когда мы с мамой и бабушкой вошли в горницу, Бетка вспыхнула и чуть прикрыла букет краем передника.

Я всегда любила цветы. И теперь подбежала взглянуть на них. Из чисто детского любопытства спросила:

— А где ты нашла их, такие красивые?

Я потихоньку беру цветов и верчу в пальцах.

— Я собрала их у Теплицы,— застенчиво, но как-то любовно говорит сестра.— Если хочешь, там еще есть, на берегу возле излучины. Я сорвала всего несколько, на букетик для одного человека.— Бетка запнулась и виновато посмотрела на меня. Она выдала свою тайну. Но мы и без того знали, что речь идет о Милане.

А мама сделала вид, что ничего не видит, не слышит. В свое время и она была молодой, и у нее точно так же пылали щеки, когда она держала в руках первые цветики, которыми собиралась украсить шляпу нашего отца.

Подавленная другими заботами, она тихо сказала, выдвигая из-за стола табуретку для бабушки:

— Садитесь, мама. От таких новостей изведешься больше, чем от тяжелой работы. Я устала, будто колола дрова.— Она глубоко вздохнула, как бы набираясь сил. Потом, расхаживая по горнице, рассуждала: — К чему им на войне такие мальцы? Ведь они и винтовки-то в руках не удержат. Семнадцать, восемнадцать лет! Ведь это — чисто молодняк в лесу. Разразится буря, и поминай как звали.

Мама, верно, хотела продолжить, но кто-то взялся за щеколду двери, и она замолчала. Ждала, кто войдет.

Появился дядя Данё Павков. Сначала поверх очков заглянул из сеней — так смотрел он на нас, когда рассказывал сказки.

— Ну входи уж, входи,— подбадривала его бабушка.

— Иду, иду,— говорил он через порог, стряхивая ошметки сукна и ниток со своего передника,— как бы вам тут не намусорить.

— Ну что вы, не бойтесь, ведь не в барские хоромы заходите,— сказала мама.

Он вошел и тут же без дальних слов спросил, не найдется ли у мамы старых отцовских башмаков на заплатки.

— Мать Мишо Кубачки прибежала,— объясняет Данё,— и сказала, что ему не в чем идти. Принесла башмаки вот с такой дырой.— Он показывает на ладонь.— Какие там башмаки,— он забавно поводит плечами,— так башмачонки, да еще с такой дырой, что руку просунуть можно. Я и решил к вам наведаться, может, найдется какая дранина на латку.

Мама раздумывает, кивает головой. Все, что было пригод-  
но, уже истрепалось. Она хранила в ящике комода под про-  
стынями старую-старую кожу: а вдруг срочно понадобится ко-  
му из детей? Да и кожи-то было всего с вершок. Сколько раз  
мама уже отказывалась от нее. А ну как и вовсе нужда  
придавит.

Мама обдумывает и так и эдак. Жалко ей парня. И в самом  
деле: негоже в такой обуви идти на войну. Но она помнит  
и о наших дырявых башмаках.

В конце концов она решительно заявляет:

— Нет, Данё. К сожалению, нет у меня ничего. Ведь их  
вроде там обувают.

Данё растерянно пожимает плечами:

— Но в этой обуви он и до города не дойдет, не то  
что до Тренчина. Хоть бы посуше было да потеплее.

Мамин взгляд блуждает по комнате. Наконец останавли-  
вается на лице Юрко. Он улыбается, но мама делается еще  
задумчивее. О чем она подумала? Мы видим только, как она  
сжимает руки и кусает губы.

— Обождите-ка, Данё,— неожиданно решает она.

Она идет к комоду. Выдвигает нижний ящик и засовывает  
руку под стопку льняного белья. Вынимает спрятанный кусок  
и подает его Данё. Данё довольно кивает:

— Вот это то, что надо.

Мама тоже улыбается с облегчением. Она рада, что пре-  
возмогла себя и поступила по-людски. И тут же горестно  
посмотрела на нашу обувь.

— Да как-нибудь утрясется,— сказала она наконец.

Обычно она говорила это, словно ставила точку после  
каждого принятого решения.

— Раньше утрясалось и теперь как-нибудь утрясется,—  
поддержал ее дядя Данё и еще минуту помедлил в дверях.

Через сени прошла Людка. Она что-то прятала в руке  
за спиной.

Мама всегда все замечала и сразу же спросила ее:

— Ты опять что-то тащишь?

— Нет! — сказала Людка упрямо и опустила глаза.

Данё усмехнулся:

— На нет и суда нет,— и вышел из дома.

Мама, едва сдерживаясь, подошла к Людке.

В последнее время она много раз заставляла Людку, когда  
та выносила ребятам из дома разные вещи отца.

— Покажи, что у тебя! — приказала она ей.

Людка не шевельнулась, и видно было, что маму это  
сердит.

— Покажи, что у тебя! — закричала мама на Людку.

Она с силой разжала руку дочери.

В ладони лежал карманный отцовский нож, который мама очень берегла.

— Зачем он тебе? Куда ты его несешь?

Людка вспыхнула от гнева и бросила нож об пол так, что он зазвенел.

— Вот вам!

Мама стукнула ее по спине и вся передернулась. Каждый день приносил столько хлопот, столько мучений. А тут еще собственные дети терзают ее. Все это переполнило чашу терпения.

Бабушка поднялась из-за стола и направилась в сени. Мы с братиком жались у нее за спиной. Только Бетка продолжала плести венок, поглядывая в окно.

Бабушка ласково сказала:

— Ты вся извелась, девонька моя, иди-ка займись своими делами.

Людка догадывалась, что сейчас бабушка начнет ее спрашивать, кому она несла нож. Так и случилось.

Только бабушка начала издалека:

— Может, ни о чем худом ты и не думала. Дети — народ неразумный, не всегда еще могут разобраться, что к чему. — Она взяла сестру за подбородок и, подняв голову, заставила посмотреть ей прямо в глаза. — Ведь ничего дурного и в мыслях у тебя не было, правда? Вот и потолкуем об этом. Ты еще мала, совсем кутенок. Ума у тебя с ноготок, а понятия и того меньше. Все мы, молодые, были такими. И нас старые поучали. Так уж заведено в жизни. Потому нужны и старые и молодые. Молодым расти, а старым за ними присматривать. На ус себе намотай: у молодых ума на грош, а у старых на два — их не проведешь. Маму не обманешь, она обо всем догадается. Поэтому куда бы лучше тебе загодя с ней посоветоваться. Ведь, может, и она с ножом поступила бы по-твоему, а ты только сердись ее, выносишь вещи тайком, точно вор. Воры-то люди лихие, а ты мне как-то сказала, что потому дружишь с Мишо Кубачкой, что он человек справедливый. Как же одно с другим увязать?

Людка сглотнула слюну. Потом глотнула еще раз и призналась:

— Ведь нож я и хотела отдать ему. Когда мы те сажены у Ливоры резали, я видела, какой у него никудышный. У настоящего парня и нож должен быть настоящий, так дедушка говорит. Поэтому я и хотела отдать его Мишо.

У бабушки дрогнули губы. Она не была так измучена заботами, как наша мама. Она еще могла быть терпеливой.

— Мишо Кубачка идет на войну, а там наверняка ему понадобится хороший нож. Я хотела передать его с теткой. Она ждет у дяди Данё, когда башмаки будут готовы.

— Знаешь что,— рассудила бабушка и провела рукой по лицу,— этот мы оставим на память о папе— что-то давно от него нету писем. А сейчас пойдем к нам, я дам тебе дедушкин ножик. Он ходил с ним на охоту. Тот нож еще лучше, настоящий охотничий. Только обещай мне, что будешь слушаться.

Людка кивнула, глаза ее засияли, и она тотчас взяла бабушку за руку.

— На-ка, держи,— протянула бабушка нож своей дочери, заглядывая через порог в горницу.

У всех отлегло от сердца. Мы с братиком подбежали к окну посмотреть, как бабушка ведет по дороге укрощенную внучку и как та обещает ей вести себя хорошо.

Бетка меж тем доплела венки.

Вдруг она отскочила от окна. Остатки цветов, листиков и веточек высыпались из передника на пол. Она была очень взволнована, и я чувствовала, что она пытается скрыть это в какой-то непонятной мне девичьей робости.

Милан Осадский пробежал по мосткам через ручей и в два прыжка оказался у нас в горнице.

Звонким, смелым голосом он окликнул маму:

— Где же вы, тетушка? Я пришел попрощаться.

Мама возилась в кухне. Она вышла оттуда, вытирая руки о полотенце. Она попыталась было улыбнуться, но не смогла. Ей тоже хотелось что-то сказать таким же звонким, смелым голосом, чтобы ему легче было уходить, но и это ей не удалось. Она обняла Милана и прижала к сердцу, как своего собственного ребенка.

И с трудом выговорила:

— А если встретишь там нашего отца-горемыку, скажи ему, чтоб домой поторапливался. И тебе счастливого возвращения.

Бетка тихонько подошла сзади, выхватила из рук у Милана шляпу и засунула за ленту букетик первых весенних цветов, что выросли у ручья Теплицы, незамерзавшего даже зимой.

— Ну,— засмеялся Милан,— пока они не увянут, я буду носить их на шляпе. А потом положу на сердце.

Всем нам стало весело от его голоса и смеха. Я смотрела на него из уголка за комодом, где стоял мамин розмарин — с приходом весны он источал густой запах. Я подкралась к зеленой веточке и хотела было ее отломить. Может, Милан будет носить ее вместе с Беткиным букетиком? Но пока я раздумывала, он повернулся, поглядел на меня, стал серьезней и тихо обратился ко мне.

— Ну, фасолинка ты моя,— сказал он ласково, и глаза его в эту минуту стали мечтательнее и голубее.

Я испугалась, что у меня остановится сердце. Растревол-

женная, я отступила к стене. Хорошо, что мама снова заговорила.

Она улыбнулась и сказала удивленно:

— Милан, да ты парень хоть куда. А я еще говорю, что детей забирают на войну. Какие там дети! Парняга ты, хоть сейчас под венец!

— Это когда ворочусь! — Он подмигнул и многозначительно поглядел на Бетку.

Сестра нежно смотрела ему в глаза. И тоже сказала какие-то слова, но у меня в памяти остался только ее взгляд. В нем сквозило великое ожидание, весь трепет ее юного сердца.

— Я еще забегу к Липничанам, — сказал он, протягивая нам руку, и бодрым шагом заспешил к дому, стоявшему выше нашего.

— Хорошо, что он такой веселый, — похвалила его наша мама, когда мы, проводив его, возвращались с мостков домой.

Мы разбрелись по дому, только Бетка осталась у окна. Ей еще раз хотелось увидеть Милана, когда он пойдет от тетки Липничанихи. И она ждала не напрасно — он помахал ей рукой и шляпой, на которой мелькнул пестрый букетик.

Чуть погодя я забежала в горницу за мячом, который тетка Верона сшила мне из тряпочек. Мы с братиком хотели поиграть во дворе еще до уроков. Я застала Бетку плачущей. Ее руки лежали на столе, а голова покоилась на них, словно она спала. Сначала я и впрямь подумала, что она спит, но потом услышала рыдания. Я поспешила поделиться об этом с мамой.

И была очень удивлена, что мама совсем не испугалась. Она отнеслась к этому совершенно спокойно: выплачется, мол, легче станет.

Она гладила Бетку по голове и утешала:

— Ну не плачь...

Сестра немного успокоилась и заговорила срывающимся голосом:

— Я бы не плакала, только мне грустно.

— Конечно, грустно, — согласилась мама, не переставая гладить ее черные блестящие волосы.

— Грустно, что я тогда пожаловалась на него тетке Осадской.

Я с любопытством поглядела на них обеих, потому как тоже знала историю с вербовым прутиком. Случилось это недавно, когда нас погнали чистить дороги.

Весна в наших краях заявляет о себе пушистыми вербами. Первые веточки еще тонкие, чахлые и молочно-зеленые. Листочки на них хрупкие и тоже как бы молочные. Но они означают приход весны и солнышка в наш гористый край, и мы радуемся этим первым вестникам. Такую веточку Милан срезал и отхлестал ею Бетку. Она совестилась перед людьми



из-за такого внимания Милана и в растерянности не знала, что делать. И сделала то, что делают девчонки в том возрасте, когда перестают быть детьми, но еще не стали взрослыми девушками,— она побежала жаловаться его матери.

Тетка Осадская все принимала всерьез, она подошла к Милану и пригрозила ему:

— Зачем ты отстегал ее этой веткой?

— А если я ее люблю,— сказал Милан, и голос его зажурчал, словно чистые, зеркальные воды в наших горах, прозрачные до самого дна. Таким же чистым было и признание Милана. Он открыто смотрел в глаза матери и улыбался. Никому на свете не отдал бы он эту радость, которая переполняла его.

Однако и для Милана кто-то придумал жестокую участь. Он должен был подставить свое сердце под пули на фронте. И чем смелей и веселей он пытался казаться, тем острее мы чувствовали эту жестокость — ведь сердце его было молодым и невинным, словно птенец в гнезде перед отлетом.

Наш дедушка по отцу утешал осиротелых матерей:

— Они и до Тренчина не дойдут, а война кончится.

Конец действительно был не за горами, и я только и думала о том, чтобы Милана не убили, чтобы он вернулся здоровый и невредимый вместе с нашим отцом.

Всех хороших людей охватила безмерная надежда. Каждый жил ожиданием, что наступит конец, что не сегодня-завтра с жестокой войны домой вернутся его близкие. Женщины и в пахоту то и дело поглядывали на дорогу, не видать ли на ней человека, не узнают ли они его по походке. И мама, бывало, нам тоже наказывала, когда мы оставались дома, чтобы тотчас сообщили ей в поле, если вернется отец. Только отец уже давно ничего не писал и не возвращался.

— Кто знает, воротится ли,— порой сокрушалась мама.

И смотрела на нас таким удивительно печальным взглядом. Конечно, она страшилась горя, одиночества и нужды.

Это было еще тем тяжелей, что теперь тетка Осадская приходила к нам погоревать о Милане.

Обычно при этом она била себя кулаком в грудь.

— Душу, душу свою я отдала бы господу богу, если бы могла спасти его от смерти. Дом, поле, ничегошеньки бы не пожалела. Стала бы ходить христарadniчать, только бы он остался в живых, сыночек мой!

Но однажды она вдруг просветлела. Пришла к нам повеселевшей и на радостях принесла нам брынзы, сама порезала ее кружочками и с хлебом дала нам.

— Ешьте, детки,— угощала она,— мне кажется, будто это Милан ест. И порадитесь вместе со мной.

Потом притянула нашу маму к себе и начала шепотом:

— Писарь мне обещал, что признает его негодным. Клялся всеми святыми, что через месяц Милан вернется домой. Ничего я не пожалею, — повысила она голос, — все подчистую отдам. Целый кусок полотна ему отнесла и последнее сало с чердака. Себе оставила самую малость. Я готова на все, лишь бы Милан воротился. Стоит курице снести яйцо, а я уж бегу с ним к жене писаря. Только вытащу масло из маслобойки, как оно тут же у него на столе. Брынза у меня продержалась всю зиму лучше некуда — свеженькая, не заплесневела ничуть. Почти всю отнесла в канцелярию. В последний раз там был служный<sup>1</sup>. Они с писарем сидели за столом и покуривали. Когда я уходила, писарь вышел и шепнул мне, что от служного многое зависит, и не худо было бы наперед отблагодарить его. А то как же, ответила я, отблагодарю, ясное дело. Я сердце из груди вынуть готова. И тут же кинулась в комитатский город с полной сумкой. И там снова мне выпала удача. У него сидел жупан<sup>2</sup>. И служный мне шепнул, что жупан всем головам голова и его стоило бы тоже умаслить какой-нибудь пустяковиной. Но разве жупану поднесешь пустяковину?! Я из дома перетаскала все, что могла. Ума не приложу, чем еще жупана умаслить.

Пока тетка говорила, наша мама сидела как на иголках. Она хорошо слышала, как в кухне пар хлопает крышкой, как клокочет вода в кастрюле и, переливаясь через край, шипит на раскаленной плите, но не это ее волновало. Она дивилась тетке Осадской, которая так доверяла каждому слову писаря.

— Милая ты моя, — с укоризной сказала мать, — скольких людей писарь с панами обвели таким-то манером, облапошили, общипали как липку, а с войны еще никто, кроме панов, не вернулся. Зря ты съешь все в эту ненасытную глотку. Только вот намедни всплыло, сколько денег вытянул писарь за зятя у Кривоша. Кривош хотел, чтобы тот после побывки остался дома. Писарь сулил, покуда сосал, как пиявка. А как напился, сразу же Кривошова зятя угнали на фронт. Вроде бы такой приказ вышел. Всех, мол, кто возвратился или возвращается из России, снова гонят на фронт.

Тетка Осадская на миг растерялась, ей страшно было утратить надежду, что Милан вернется.

— Тут наверняка что-то не то, — возражает она, — поверь мне, тут что-то другое. Почему бы именно тех, кто возвращается из России?

<sup>1</sup> С л у ж н ы й — начальник политического управления в бывшей Австро-Венгрии.

<sup>2</sup> Ж у п а н — глава комитата; то же, что губернатор в дореволюционной России.

— Должно быть, из-за этого переворота,— говорит наша мама,— мы разве что знаем? Утешаемся тем, что все от бога. Но Тера Кресачкова, когда недавно была тут, рассказывала, что среди кожевников недовольство: народ повсюду разут-раздет, а какую прорву кожи пожирает это чудище война. Я уж давно тебе говорила, соседushка милая, что у людей открываются глаза. Душегубством ничего не добьешься. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять это. Нам труднее, конечно. Мы заперты здесь среди гор, но рабочий люд ездит туда-сюда, знает больше. Ну надо ли тебе совать писарю из последнего? Ничегошеньки не давай ему больше. На этом деле заранее поставь крест.

Тетку Осадскую убедить не удалось. Она знала только один путь, как вырвать свое дитя из когтей войны. И не считала это особой для себя жертвой: ведь она не раз говорила, что за Милана готова жизнь положить.

И несмотря на все мамины уговоры, она твердила свое:

— Разве стала бы я подарки носить, моя милая, если б хоть капельку надеялась на то, что говорит твой свекор: они, мол, и до Тренчина не дойдут, как война кончится. Вижу, плохой из него пророк. Дни идут, а от Милана ничего. Кто знает, где он пропадает, бедняжка. Зря ты его нахваливаешь, что он парень хоть куда. Чего там, сломанная веточка вербы! Ведь ему едва шестнадцать минуло.

Солнышко с каждым днем пригревало сильнее. Уже не надо было с трудом отыскивать цветы по берегам Теплицы. Цветами были усеяны все луга, все берега и межи. Деревья оделись ярко-зеленой листвой. Даже наша яблонька у гумна как-то до времени однажды утром зарозовела бутонами.

В этот день мама воротилась с поля, чтобы приготовить обед. На поле остался только Матько Феранец. Еще поутру мама велела нам около двенадцати затопить печь, чтобы не пришлось ей долго задерживаться. Огонь горел вовсю, когда она вошла в дом. Но, к нашему удивлению, мама прошла через кухню и позвала всех нас в горницу.

Она присела на стул возле окна, заставленного геранью. Ее трудно было узнать. Утром уходила она от нас озабоченной, а теперь ее лицо светилось радостью. И глаза, всегда такие темные, глубокие и темневшие от горя порой еще больше, просветлели, пронизанные этим сиянием. Да и голос ее зазвучал вдруг более громко и звонко.

Улыбаясь, она сказала Бетке, как старшей из нас:

— Ну-ка, принеси песенник.

Бетка вскочила и вытащила из ящика старый, потрепанный песенник, который мне подарила тетка Верона.

Мама даже не листала его, а словно по памяти нашла

нужную страницу. И положила книгу нам на колени. Потом снова как-то по-особому улыбнулась и сказала:

— Дети, давайте споем.

Мы давно не слышали, чтобы мама пела. В последний раз она напевала, когда в нашей деревне еще стояли пленные. В тот день она готовила обед, а Федор уверял нас, что война скоро кончится, и что потом уже не будет столько страданий, и что люди будут жить по-другому.

Пока мы читали слова в песеннике, мама начала петь, и нам показалось, что голос ее звучит необыкновенно красиво:

Край привольный под Криванем,  
Парни там — что цвет герани,  
Небо ясное струится,  
Как же там не веселиться,  
Под Криванем, под Криванем!

Мы запели и второй куплет. У Бетки голос тоже был удивительно сочный. Иногда он звенел, иногда становился грудным. Мы диву давались, как у них с мамой ладно получается. Людка, Юрко и я только еще попискивали. Наши детские тоненькие голоса, конечно, отличались от их, но все вместе сливались в красивое многоголосье. И весь наш дом наполнялся этими звуками.

У мамы были глаза человека, чьи мечты сбываются. Они светились затаенной радостью, светились, как яркое полуденное солнце.

Что же могло случиться? О чем мама могла узнать, когда была в поле? Конец войне? Конец этому ужасу?

Мы просто не могли выдержать от любопытства.

Особенно Бетка была как на иголках. Она гораздо лучше нас все понимала. Я видела, как она в перерывах между куплетами пыталась задать маме вопрос. Всегда смелая и решительная; на этот раз она не отваживалась нарушить мамину радость. С тех пор как Милан Осадский ушел на войну, сестра стала более чуткой. Она решила выждать, но ожидание явно давалось ей с трудом.

Это были удивительные минуты, после стольких тяжелых дней вдруг это пение в нашем доме.

Я сидела на скамеечке у мамы в ногах и не спускала с нее глаз. Вдруг в порыве огромной любви я потянулась к ней и, опершись подбородком о ее колени, спросила:

— А что случилось, мама?

Не проронив ни звука, она рукой взъерошила мне волосы, вложив в это движение какую-то небывалую дотоле нежность.

Другой рукой она привлекла к себе братика и безгранично ласково взглянула на Людку и Бтку.

— Так вот, дети, и в самом деле приходит конец нашим

страданиям, а может, они и вовсе уже кончились. Сегодня мы с Матько повстречали четырех солдат в Брежном поле. Там, где Ливориха у вас шишки высыпала. Они сидели под деревьями с подветренной стороны в том самом месте, где когда-то Людка выдернула мой первый седой волос.— Мама говорила все громче.— Я даже тихо говорить не могу. Четверо дубравчан в военных мундирах, оборванные и заросшие, отдыхали на пеньках, а мы с Матько потихоньку подошли к ним. Они сняли обувь и на солнышке сушили портянки. Один резал краюху черствого хлеба и делил ее между всеми. Тут я и говорю им: потерпите, мол, малость. Развязываю узелок, предлагаю отведать нашего. Они все до крошки подмели. Мы-то с Матько решили, что выдержим полдня и не евши. Мне даже и голод не в голод, когда они стали рассказывать, какой ералаш на фронте и как солдаты бросают винтовки. Не говорила ли я, дети, что люди когда-нибудь поймут, что к чему? Дубравчане с собой прихватили винтовки — авось и тут пригодятся...

— Уж не хотят ли они нас перестрелять? — всполошилась Людка.

— Еще чего — нас,— усмехается мама.— Нет уж, придется тем пригрозить, кто не дает нам жить по-людски и так, как хотим мы, словаки. Пора уж и вам заняться в школе родным языком. Они обо всем этом помнили, вот и прихватили винтовки. Должно быть, тоже тайком пробираются, как Федор и Михаил, раз не по большой дороге идут.— И с облегчением добавила: — Верно, предупредили их, что таких, как они, снова гонят на фронт. Осторожность никогда не помешает.

Я живо представила себе четырех солдат, как они сидят на пеньках на опушке в Брежном поле. Возле них шумят ели, а в ручье журчит вода, в которую тетка Ливориха когда-то высыпала наши шишки. Теперь, когда мужики возвращаются с винтовками, она бы уже не сделала этого. Хоть я и не знала их, но подумала, что они защитили бы меня от тетки Ливорихи. Ведь я знала тетку Порубячиху, а мама всегда говорила, что все дубравчане похожи один на другого как две капли воды. И вдруг мне так захотелось помчаться на Брежное поле, собрать все шишки, какие там были, и показать тетке Ливорихе, что я больше уже ее не боюсь.

Вот так я про себя храбрилась, а мама неожиданно обняла нас двоих, маленьких, и сказала:

— Дети, может быть, и наш отец уже едет домой...

Радостная, она взглянула на дорогу, уходящую вверх на Груник, по которой в долгий путь отправились Федор и Михаил. Должно быть, в эту минуту она думала о них.

— Они — в Россию,— подтвердила она наши мысли,— а ваш отец — из России домой.

Легкая улыбка оживила и Беткино лицо. Еще бы, ведь это наш отец, которого мы не видели вот уже долгих четыре года, вернется домой. Но сквозь эту улыбку и нежный девичий взгляд, устремленный в угол горницы, я уловила еще и мысль о ком-то другом. Эта мысль была о Милане Осадском, который признался ей в любви, отстегав ее прутиком вербы. Вернется и он. Вернется! От волнения у Бетки задрожали веки.

Тишину нарушила Людка:

— Значит, от того охотничьего ножа Мишо Кубачке никакого проку не будет, раз война так быстро кончится.

Мама чуть усмехнулась и посмотрела на часы.

— Ну, мне уже стряпать пора. У Матько, верно, в пустом желудке урчит. Я пообещала галушки с брынзой сварить. Раз он о нас не забывает, то и мы постараемся ему угодить. Он только пальчики оближет. Пусть поест всласть, ему, бедняге, это полезно. — И приказала мне: — Сбегай к бабушке, она обещала мне брынзы.

Но, прежде чем мама произнесла последнее слово, тетка Гелена вошла в сени и закричала:

— Вы дома, мучители?

— Дома, дома, — ответила Бетка.

Вдруг со двора снова донесся шум: это тетка Верона шла, постукивая палкой о каменное пристенье. В последнее время, вконец обессиленная, она ходила, как слепая, проверяя палкой надежность каждого шага. Она присела на пороге сеней и с жадностью глотала прогретый солнышком воздух.

Чуть отдышавшись, она крикнула нам:

— Слыхали, что творится? Мужики толпами возвращаются с фронта. Человек двадцать прошло нынче опушкой в Брежном поле. Яворкуля, Шимонова жена, мне сказывала.

— Не двадцать, а только четверо прошло там. — Мама пытается восстановить правду.

— И у каждого будто по две винтовки было.

— Было, да только по одной. Любят люди делать из мухи слона.

— Ох и болтают! — возмущается тетка Верона, но вдруг в голову ей приходит более веселая мысль: — А было б не худо, кабы и двадцать вернулось, и каждый с двумя винтовками, вот было бы дело!

Последние слова тетки Вероны были приглушены криками, долетавшими от заднего ручья. Тетка Порубячиха, раскинув руки, неслась, словно вихрь. Щеки у нее пылали, платок сполз с головы на плечи, и по пристенью тянулись за ней мокрые следы: второпях она босиком перешла брод за нашим гумном.

— Что же такое творится, люди добрые? Я с поля примчалась, говорят, дубравчане вернулись. Эко! — Она гордо вскинула голову. — Никто не обскочит дубравчан в смелости!

И якобы винтовки при них. Вот увидите, они тут жару дадут! — И Порубячиха грозитя кулаком в сторону домов под Груником: — Пускай теперь Ондруш попробует подсунуть мне записку или подглядывать за мной.

Через сени она прошмыгнула прямо в кухню.

Я посторонилась. Мне показалось, что ей нужно больше места, чем обычно. Она важно вертелась, отряхивая юбку и размахивая руками, словно разгоняла стаю птиц. Я ушла в сени, где было попросторнее и где тетка Верона грелась на пороге, прислонившись головой к дверному косяку.

— Тетка Верона...— окликаю я ее и тихо подхожу.

Но тут с мостков над нижним ручьем послышался кашель тетки Мацуховой. Я выглядываю из дверей и первое, что вижу, это ее беленький полушалок, накинутый на плечи. Она в праздничном платье, волосы под косынкой гладко зачесаны, а лицо чуть побледневшее после утомительного пути.

— Я от Теры иду,— говорит она,— и решила зайти к вам передохнуть малость.

Гелена с Порубячихой, обе раскрасневшиеся от волнения, приветствуют ее.

— Тера велела вам всем кланяться, но прежде всего дайте глоток воды испить.— Она показывает на меня: — Принеси-ка мне хоть каплю в кружке.

— Тут вроде побольше,— говорю я ей, когда она одним духом выпивает все, что я ей принесла.

Она шлепнула меня по спине и попросила еще.

— Так вы целый колодец выпьете, тетечка. Вас не напоишь.

Женщины смеются. Тетка Порубячиха потрепала меня за волосы и отослала поиграть с ее девочками. Я дернула плечом и забралась на деревянную лестницу, ведущую из сеней на чердак. Любопытство удерживало меня дома — ведь не случайно у нас собралось столько женщин.

— Ох и пить хочется,— вытирает тетка Мацухова мокрые губы,— а всего-то и съела кусочек колбасы, купец Смоляр угостил меня по дороге. Я от Кралёвян вместе с ним ехала. Тера купила мне билет на поезд, чтобы я ноги поберегла, а не таскалась бы повсюду пешком. В Кралёвьях посадил меня к себе на телегу усатый купчина. Ох и обвел он меня с той коровой, бесстыдник, а теперь подлизывается ко мне, кусочком колбасы умасливает. Что ж, колбаса была хороша и пришлось как раз кстати — я хоть червячка заморила...

Тетка Порубячиха вся извертелась. Переминаясь, она нетерпеливо ждала, когда ей удастся наконец вставить словечко. И, не выдержав, перебила тетку Мацухову:

— Да вы только послушайте новость! — И она снова выпрямилась.— Дубравчане тайком с войны возвращаются, целыми толпами тянутся вдоль подгорья.

— Не толпами,— кричит наша мама из кухни, раскатывая тесто,— всего четверо прошло, ведь я уж сказала! Но и так ясно, что в мире что-то творится, что-то сдвинулось с места.

— Да какое там в мире! — машет рукой тетка Мацухова.— Тут, за горами, люди поднимают голову. Я не очень-то разбираюсь, будет ли от этого толк или нет, но моя Тера собственными глазами все видела. Микулашские кожевенники поднялись против войны, против властей и потребовали наконец прекратить душегубство. Конечно, каждый судит об этом по-своему, но моя Тера говорит, что у нее с того дня легчало на сердце. И удивляться тут нечего, дорогие мои, она теперь с ними и гордится их смелостью.

— Ишь ты,— бойко огладила юбку тетка Порубячиха.— «Гордится, гордится»... Да и ты гордости от нее набралась, зазнайка. Ты теперь даже газдам не веришь. Так бы всю нашу деревню в узелке и оттащила в Микулаш.

— Да и ты, поди, будешь таскать, когда твои подрастут,— вставила Верона,— ведь не знаешь еще, кто их возьмет. Может быть, те с кожейтати и будут для тебя самые разлюбезные.

— Каков есть, такова и честь...— отрезает Порубячиха.

И тетка Гелена тоже пытается вставить словечко:

— Газда есть все-таки газда, чего тут толковать.

Мама подходит с пустым блюдом и ножом в руке. Приветливо смотрит на женщин и так же мягко вмешивается в разговор:

— Не осудите меня, соседки мои, а я вместе с теткой Мацуховой приму сторону Теры. Я присоединилась бы к каждому, кто против войны, страданий и голода. Кто же еще это чувствует, как не материнское сердце?

— Вот, вот,— кивает Верона.

В это время братик неожиданно всбегает в сени и, удивленный тем, что собралось столько женщин, беспокойно и как-то озорно переводит взгляд с одной на другую.

Тетка Верона, притянув его, обвила руками.

— Поди-ка сюда, малец, скоро отец вернется. Этой весной уже будете вместе пахать. Ты будешь лошадь водить, а он плуг держать.

Братик беспокойно заерзал на руках тетки Вероны.

— Где уж там лошадь,— сказала мама.

— Купите еще лучшую, дай только войне кончиться. Еще какого скакуна себе купите! — Она хочет усмирить расшалившегося Юрко.— Еще какого! Даже тем, сказочным, с ним не сравниться. А ты будешь погонять его взаправдашним кнутом, хлопчик. На кнуте красная кисточка. Ох же, что это будет! — Верона довольна, что ребенок уgomонился у нее на коленях.— Дома у меня есть моток красной шерсти. Ей-богу, мальчонок мой, сделаем из нее эдакую кисточку на кнуте.



Станешь парнем что надо, тебе и кнут подходящий потребуется. Все девчата будут заглядываться на эту кисточку. По кнуту тебя на поле отовсюду увидят. Я на Груник только взойду, огляжусь, и где будет гореть самый красный огонек, там, значит, и мой паренек.

Юрко смеется. Смех переливается в горле, волосики поблескивают у самых корней. Он вспотел — с таким напряжением он ловит каждое слово тетки Вероны.

— Правда, сперва война должна кончиться,— добавила тетка.

— Тут же и кончится,— решительно заявила Порубячиха,— как только наши мужики побросают винтовки. Толстопузым не захочется проливать свою кровь, а винтовки сами стрелять не умеют.

Женщины смеются, у них сегодня как-то полегче на душе, хотя работы в поле непочатый край.

Из кухни доносится треск еловых дров, и запах горячей смолы смешивается с запахом пищи, который вместе с клубами пара подымается из горшка.

Верона глубоко вдыхает все эти запахи. Они напоминают ей родительский дом в Дольняках. Как давно она ушла оттуда! Сколько воды утекло с тех пор. Ей было столько же лет, сколько и братику, когда ее заставили гнуть спину на господ. Ни за что на свете это не должно повториться. Она прижимает к себе Юрко с бесконечной нежностью, как бы защищая ото всего жестокого и бесчеловечного, что довелось пережить ей. Платок соскальзывает на плечи. На голове сверкают серебряные нити. Каждая могла бы многое рассказать о себе.

— Вот оно как,— тихонько соглашается тетка сама с собой, размышляя о чем-то.

Людка подошла к маме и, потянув ее за рукав, показала пустую тарелку. Она больше всех любила галушки с брынзой и удовлетворялась только тогда, когда галушки горкой вывалились на ее тарелке.

И я спустилась с лестницы. Меня тоже привлек запах еды. У моих ног вертелась наша кошка Цилька, белоснежная, с редкими темными пятнами. Она терлась о ноги и, нежно мяукая, пыталась ко мне подольститься. Знала, что я добрая и со мной стоит дружить.

— Ах ты лгунишка,— грожу я ей пальцем,— сейчас ты такая ласковая, а вчера! — Я показываю ей следы когтей на моей руке и пробираю ее: — Ах ты лгунишка-врунишка! У кого ты только этому научилась?

— У людей,— бросает с завалинки тетка Мацухова.

— А у кого же еще, как не у них,— подтверждает Верона и шарит рукой по стене, отыскивая свою палку.

Она тоже еще не обедала и собирается возвращаться домой на Груник.

— Ну, мы, пожалуй, пойдем,— сказали женщины.

Бетка заметила, что тетка Верона ищет палку. Сестра уже с утра сушила на солнышке первые полотенца из приданого, какое мама стала складывать ей в сундук. Она собиралась было снять их с веревки, но, заметив, что палка тетки Вероны скатилась с завалинки, подбежала подать ее.

— Вот она, тетечка.

— За это я принесу тебе письмо от Милана.— Вероне захотелось порадовать Бетку.

Но Бетка вся вспыхнула. От неожиданности она не знала, куда глаза девать. Ведь это так стыдно получить письмо от парня с войны. Первое письмо, в котором разлученное сердце сложило из тайного алфавита слова вроде тех, какие однажды сказала веточка вербы. Отвернувшись от нас, Бетка окинула взглядом окрестные горы. Глаза ее заскользили от подножия до самых верхушек и оттуда вниз по хребту через дикие скалы и высоченные ели. Может, в эту минуту растерянности ей захотелось стать серной или птицей, чтобы скрыть свою юность в тени лиственниц или в гуще ветвей. А уж коль не смогла она стать ни серной, ни птицей, она хотя бы отвернулась от нас, чтобы мы не заметили ее волнения.

И наконец, больше всех я почувствовала, что именно сестре хочется скрыть: ведь и меня занимали мысли о Милане.

Когда ее взгляд соскользнул с вершины горы на луга, она вдруг надолго закрыла глаза. В это время на лугах уже пробивалась густая трава. Среди нее белели ромашки, голубели колокольчики и желтели бутоны одуванчиков. Вместо них, я уверена, Бетка видела фиолетово-розовое раздолье безвременника, который покрывал луга, когда Милан Осадский уходил на войну. Она знала, что безвременники цветут два раза в году. Цветут не только весной, но и осенью. Кто знает, может, Милан вернется, когда по хмурому осеннему небу на юг потянутся табуны диких гусей и вновь зарозовеют скошенные луга.

Мы все скромно и молча стояли около Бетки.

Первой отозвалась тетка Верона. Опираясь на свою палку, она повторила:

— Вот увидишь, сначала придет письмо, а за ним следом и Милан.

— А тебе нечего стыдиться, всякая невеста для своего жениха родится,— сказала тетка Порубячиха, как о деле давно решенном. Потом она зашептала что-то маме на ухо, подмигнула лукаво и сошла с крыльца на пристень. Ей нужно было возвращаться домой, где ее ожидала работа.

— Ну, мальчонок-бесенок,— сказала тетка Верона брати-

ку, взяв его за руку, — пойдем-ка со мной, поищем моток красной шерсти и сделаем тебе кисточку для кнута. Пусть он будет готов к папиному приезду. Ох уж и кисточку сделаем!

Я присоединилась к ним, и мы зашагали вверх по Грунику навстречу расцветшим лугам и сияющим вершинам.

Какие-то смелые ветры явно задули в долинах. И снова по деревням зачастили жандармские патрули. Не знаю, со свежим ли весенним воздухом сквозь открытые окна и в нашу школу ворвалась тревога, только учительница с каждым днем становилась беспокойней. Нередко она оставляла нас под присмотром старших детей и уходила за советом к писарю либо в какой-нибудь из замков. Иной раз возвращалась очень взволнованной. А то и вовсе у нас не бывало занятий. Она подолгу стояла у окна, безмолвно уставившись на газон возле школы, где пробивалась молодая, сочная травка. Учительница уже не соблюдала часы занятий и часто отсылала нас домой.

Однажды мы чуть раньше обычного прибежали к нам во двор с Яником Липничаном и девочками Порубяковыми. Мы хотели показать им наши грядки на пригорке возле сарая. Мы посеяли там семена, и теперь они взошли. Целыми часами мы могли копаться возле нашего маленького огорода и, присев на корточки, разглядывать, как травинки тянутся из земли. Липничанов Яник и девочки Порубяковы тоже хотели вскопать такие же грядки, и мы объясняли им, как надо все сделать.

В это время наша мама вышла из сеней и велела нам с братиком занести сумки с книгами в дом, потому что она собиралась в верхний конец деревни навестить дедушку с бабушкой. Мама несла им на блюде, прикрытом салфеткой, свежеспеченную бидницу<sup>1</sup>. Она дала по куску нам и всем детям.

— Сегодня она удалась мне, пахнет-то как! — радовалась мама.

Бидница в самом деле благоухала, потому как Липничанова собака тут же выскочила из-под ворот. Прыгая вокруг нас и виляя хвостом, она с завистью заглядывала нам в руки.

Я отломил кусочек и приказала ей служить. Собака охотно встала на задние лапки, заскулила и просительно заморгала глазами. Я бросила кусочек прямо ей в пасть. Она схватила его, звонко лязгнув зубами.

Мы с братиком засмеялись, маму это тоже позабавило. Мы все еще улыбались, когда входили в дом дедушки с бабушкой.

Тетка Гелена считала нашу маму всегда в чем-то виноватой, а уж когда видела ее в хорошем настроении, то еще больше раздражалась против нее.

---

<sup>1</sup> Бидница — картофельная запеканка.

Она поздоровалась с нами не очень приветливо.

— Тебе все хиханьки да хаханьки. Давно бы пора перестать смеяться,— добавила она,— либо пахать, либо песни играть. Вот уж весна на дворе, в поле работа ждет.

— С песнями и работа веселей спорится,— возразила мама.

Она повернулась к дедушке, который на свету у окна точил пилу. Каждый зубец он оттачивал в отдельности и пальцем проверял остроту.

— Отведайте-ка нашей бидницы,— от души предложила всем мама. — А ты чего такая хмурая? — обратилась она к Гелене. — Уж не из-за песен ли? Не тревожься попусту. Мы и споем и поработаем. Правда, ребятки? Да ведь ты и сама охотница петь.

— Если бы дело было только в песнях, а то вот, полюбуюсь.

Она взяла с буфета тетрадку и протянула ее маме.

— Ну пристало ли порядочному человеку тратить время на такое?

Мама слегка покраснела, мы с братиком тоже виновато опустили глаза. Только исподлобья посматривали, что будет дальше.

Мама знала, что в тетрадке, и только удивлялась, как это она попала к родителям.

— Ты чего удивляешься? — сказала тетка сурово. — Я недавно нашла это у вас. У тебя под подушкой, когда забежала к вам утром помочь. Когда это ты успеваешь? И не совестно тебе тратить время на такую ерунду? Разве это дело для крестьянки?

Маме не хотелось ни спорить, ни защищаться, она только коротко отрезала:

— Я пишу по утрам. Придет что-нибудь в голову, я и записываю. Кому от этого хуже? А мне легче становится, когда я доверюсь бумаге. — Внезапно ее лицо осветилось улыбкой, и она облегченно вздохнула: — У меня словно гора с плеч. Потом и работается лучше. Не знаю, что в этом дурного? — Она с вызовом посмотрела на тетку Гелену. — Хуже всего, когда думаешь, что на свете только то хорошо, что сам делаешь. А ты как раз такая!

— «Такая, такая!» — зло повторяла тетка. — Не очень-то ты обрадуешься, когда узнаешь, что стало с твоей писаниной.

Бабушка остановила Гелену и тихо, спокойно, словно смазывая рану бальзамом, рассказала, что недавно к ним заходил священник и что тетрадка с маминими стихами случайно оказалась на столе. За разговором он сначала бессознательно ее перелистывал, потом вдруг начал читать. Прочитал все молча. Одно стихотворение переписал и сказал, что пошлет его в церковную газету.

— Срам-то какой! — всплеснула руками Гелена. — Это



только пустобрехи хватаются за перо, а крестьянка должна делать свое дело. Только те, кому неохота работать, отвернулись от деревни и стали писаками в городе. Люди пальцами на тебя будут показывать, когда про это узнают.

Мама, возмущившись, даже прикрикнула на тетку Гелену:

— Никаким писакой я быть не собираюсь! Я крестьянка и от нашей работы не отказываюсь. Не пойму, что ты видишь в этом дурного.

Дедушка быстрее задвигал напильником по зубьям пилы, чтобы заглушить голоса женщин. Он прекрасно знал нрав своих дочерей. Знал: то, что ценит одна, никогда не примет другая. Обе они хорошие дочери да и добрые люди, а вот слабости у каждой свои. Так стоит ли из-за этого ссориться!

— Чего вы грызетесь по всякому поводу? — остановил он их и поднялся со стула.

Дедушка был такой высоченный, почти до потолка. Он поставил пилу концом вверх и слушал, как она звучит. Пила извивалась лентой и пела.

Мы с братиком пошли посмотреть, как ловко это у него получается. Пила пела, точно какой музыкальный инструмент.

— И чего вы только грызетесь,— продолжал он,— сам священник сказал, что среди деревенских бывает много талантов. Вот посмотрите-ка на эту картину.

Мы посмотрели на картину, хотя хорошо знали ее. На ней был нарисован один-единственный желто-зеленый тюльпан. По краям картины светилась какая-то необыкновенная голубизна. Мы знали, что ее написала сестра нашей мамы, умершая совсем молодой. Она нигде не училась и тюльпан нарисовала, как нам говорили, по-своему. Вот оттого священник и сказал, что в народе много талантов, только у него нет возможностей выучиться. Редко кому удается пробиться, подобно заблудшему лучику сквозь чашу молодого ельника.

Конечно, Гелена все это понимала, но как старшая считала своим долгом опекать маму. За землю надо держаться обеими руками. Она родит только тогда, когда человек всем сердцем ей предан. Земля, как ребенок, нуждается в любви и уходе.

Мама с чуть приметной улыбкой возражала. Разве она не ходит за полем, как за собственными детьми? Разве ее поле плохо родит даже в самую лихую годину? Никто, пожалуй, не может ее ни в чем упрекнуть либо отыскать промашку, пусть даже самую малую.

Бабушка спокойно сидела на длинной деревянной резной кушетке под окнами. Она вручную подшивала край полотна, что они наткали за зиму.

— А это, чтоб не обтрепалось,— учила она меня, как будущую хозяйку.— И ежели от полотна отрежешь кусок, так и знай, его снова надо подшить. Никогда не ленись: лень добра не деет. О добре трудиться, есть чем похвалиться. Вот так-то, моя девонька.

Она воткнула иголку с ниткой в полотно, привлекла меня за плечо к себе и погладила, довольная тем, что я расту понятливой.

Тетка Гелена, чуть успокоившись, сказала уже более терпимо:

— И то правда. Труд человека кормит, а лень портит.

Мама так и не успела ответить — под окном промелькнула высокая мужская фигура. Двери в горницу отворились, и на пороге появился священник. Он зашел к бабушке, возвращаясь из города.

Священник немного смутился, увидев нашу маму, но тотчас оправился и подошел к столу. Расстегнув сюртук, подшитый блестящей черной материей, он порылся в нагрудном кармане. Наконец вытащил конверт с письмом и прикрепленный к нему листочек со стихами. Он взглянул на бабушку и обратился к мне так, словно это касалось только их двоих.

— Мне вернули стихи,— он замолчал и слегка приподнял одно плечо, выражая недоумение,— потому что, мол, они о

России. Я пришел рассказать вам об этом.— Только теперь он повернулся к нашей маме и попытался посмотреть на нее приветливо, но во взгляде его сквозило смущение.— Вы, конечно, понимаете, о каких стихах идет речь. Я тут кое-что переписал. Да не все разобрал толком. А сейчас очень тороплюсь, у дома телега ждет. Не хотелось бы идти пешком до соседней деревни.— Он минуту помолчал, а потом протянул нам руку на прощание. И добавил, словно пытаясь оправдать кого-то: — Если бы в стихах не говорилось о России.

Мама, как бы ница объяснения, слегка сморщила лоб и заметила:

— О России... Но почему они так боятся этого слова? Ведь я только упомянула, что мой муж там.

Но священник второпях покинул горницу. Он снова промелькнул мимо окон. Мы смотрели, как он шагал вверх по дороге. Садясь в телегу, он еще раз оглянулся на наш дом. Это было похоже на бегство. Телега двинулась, под колесами затрещали мелкие камешки. Мы смотрели ему вслед сквозь ветви огромной липы, на которой подрагивала листва.

Когда телега со священником скрылась за холмом, мама, прижавшись лбом к оконному стеклу, задумчиво глядела в сад, где на пригорке рядами цвели желтые тюльпаны тетки Гелены. Этот сад был теткой гордостью. Ряды тянулись ровные, как по ниточке, и во всей деревне, верно, не было тюльпанов прекрасней. Нам показалось, что мама радуется, глядя на них. А может, в эту минуту она и не видела их. Думала о чем-то своем.

И скорее для себя, чем для нас, повторила:

— Почему они так боятся этого слова?

После первых цветов наступила пора первых грибов. Люди ходили по грибы с корзинками. Мы тоже собрались.

— Дети! Дети! — услышали мы однажды. Это был голос дяди Данё Павкова.

Мы выбежали в сени.

Мама высунулась во двор и как-то выжидательно поглядела на пристенье. Но, кроме дяди Данё, там никого не было.

— Мне показалось, что муж воротился,— взволнованно сказала она и прижала руку к сердцу.— Такая радость, пожалуй, человеку и не под силу. Я даже представить не могу, что было бы, появись он в дверях.— Она задумалась.— Мы не виделись целых четыре года, и письма от него приходили очень редко. Уму непостижимо, что столько лет прошло в одиночестве и таких страданиях. Но все забылось бы, только бы он воротился. Я ни о чем другом и не думаю. Оттого и смутил меня ваш голос.

— Ну, ну,— кивает головой дядя Данё,— все будет ладно. А сейчас пойдём-ка мы с детьми по грибы. Сколько их вылезло на опушке после дождя, хоть телегу подавай. Сварите хорошей грибной похлебки. Отпусти их со мной, я хочу срезать сушину для посоха.

Мы тотчас повскакивали и кинулись искать подходящую для леса одежду и обувь.

Бетка осталась дома помогать маме.

Людка держала в руках корзину. У меня с братиком за спиной висели полотняные сумки.

Мы неслись вверх по Грунику словно коньки-горбунки. Нас влекла к себе зелень, птичий гомон и запахи хвои. С какой радостью мы сменили наш тесный маленький двор на просторы выгона и лугов! Мы бегали по тропкам, словно всполошённые серны, пробовали плоды терновника и шиповника, так и не тронутые на кустах суровой зимой. В траве мы отыскивали жуков и криками вспугивали птиц. Когда они вылетали из гнезд и нам удавалось хорошенько их рассмотреть, восторгу нашему конца не было. А Людка никогда не упускала случая похвастаться тем, сколько гнезд разорили они с ребятами прошлым летом. Однажды дедушка с верхнего конца поймал для меня перепелку. Он думал, что это доставит мне бог весть какое удовольствие. Но мне не хотелось мучить птичку, и я отпустила её.

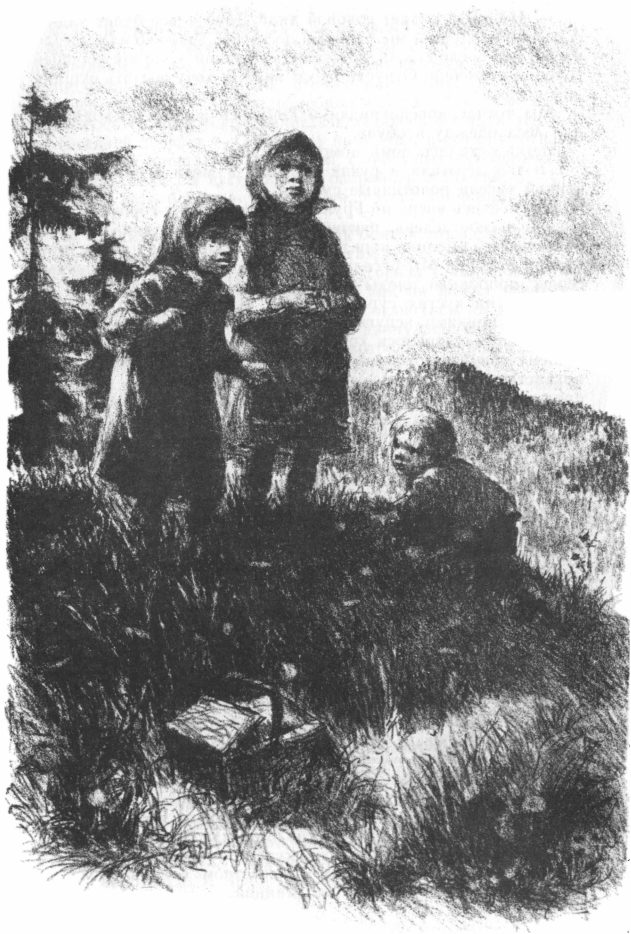
— Пусть живет,— сказала я и тихонько следила за ней — мне хотелось подглядеть, как она радуется.

Людка долго подтрунивала надо мной: раз я отпустила птицу, значит, нет во мне ничего от нашего дедушки, знаменитого охотника.

Когда мы бродили по лугам, она не оставляла в покое ни одного муравейника. В каждый тыкала палку, а иногда и преспокойно разоряла его. Братик с увлечением следил, как муравьи обороняются и быстро переносят в безопасное место белые, похожие на очищенное пшеничное зерно, личинки. Людка не поленилась даже сбегать к ручью и намочить в нем ветку. Потом мокрую сунула муравьям. Взобравшись по ветке, они густо облепили её и сновали вверх-вниз. Потом Людка стряхнула их и дала нам облизать ветку. Она была кислая, словно кто-то смазал её уксусом. Нам очень хотелось знать, что же произошло с веткой. Но Людка сделала вид, будто это необыкновенная тайна. Ей нравилось дразнить наше любопытство: вот, дескать, она могла бы сказать нам, а не сказала.

Наконец мы добрались до леса. Там росли такие высоченные ели, что их верхушки нельзя было даже разглядеть. Над елями кружили ястребы. Тут же журчал ручей. По берегам его было болото с бесчисленным множеством воловьих следов, поросших мохом, травой и калужницей.





У ручья дядя Данё сказал нам:

— Дети, вы останетесь тут на лужайке. Повсюду, где увидите в траве темно-зеленые полукруги, растут опята. Ага, вот в двух шагах от вас первый такой. Ну-ка, живо за дело!

Мы словно козы подскочили к первому полукружью и наперегонки стали собирать грибы в корзинку и сумки.

Данё еще раз крикнул нам с опушки леса:

— Я тут неподалеку. Вот,— показал он рукой,— только этой сушине подрежу жилки.

Мы поглядели на высохшую лиственницу, ее голые ветки краснели среди буйной зелени.

Мы взапуски перебегали с места на место. Сорванные опята благоухали, и наши сердца колотились от радости, словно колокольчики. Нас только чуть огорчил Юрко, который сжал в руке вместе с опенком кустик чертополоха. Колючки поранили палец, и на нем выступили две капельки крови с булавочную головку. Из-за этого он поднял такой крик, что мы не знали, как его успокоить.

На какую-то минуту его отвлек поезд, который громыхал по долине и пронзительно засвистел у излучины реки. Никто из нас не только еще ни разу не ездил на поезде, но даже близко его никогда не видел. Мы разглядывали его лишь с высоких холмов наших полей, когда он отходил от станции комитатского города в мир, как говорила мама. Братик, тот и вовсе глаз не мог оторвать. Хоть разок хотелось ему прокатиться на этом пытящем коне. Но сегодня радость его не была настоящей и полной, уж очень напугала его кровь на пальце. Чуть погодя он снова расплакался.

— Больше не пойдешь с нами по грибы,— пугала его Людка,— где это видано — поднимать такой шум.

— Покажи палец дяде Данё,— посоветовала я.

Братик тут же собрался. Он знал, что лучше дяди Данё никто не поможет.

Мы пошли к дяде Данё через лес, туда, где краснела макушка сушины. По дороге мы заметили, что не слышно ударов топора и высохшее дерево стоит, как стояло. Мы пробирались крадучись, словно чувствовали опасность. Тихонько обходили валежник, чтобы он не хрустнул у нас под ногами. Мы шли только по ровной земле, усыпанной слоем опавшей хвои. Сестра время от времени останавливала нас и указывала, что нам надо делать. Мы во всем должны были ее слушаться. Это было так таинственно, что братик забыл и думать о пальце. Сердца у нас от волнения стучали где-то у самого горла. Мы сами себе придумывали страхи.

Приблизившись к высохшей лиственнице, мы увидели недалеко за скалой дядю Данё, сидевшего еще с одним чело-

веком в военной форме. Оба смотрели сквозь заросли на уходящий поезд.

Солдат сказал:

— Кто-то донес на нас, жандармы выследили нас даже в Дубраве. Теперь отправляют назад и бросают на передовую. Мы вернулись из Галиции, вот они и готовы уничтожить нас, как тараканов.

Данё попыхивал трубкой. Слова солдата словно бы и не волновали его. Он слушал, слушал и только под конец скупой обронил:

— Может, тебе податься к Вероне? — Но тут же махнул рукой: — Хотя погоди. Там всегда детей полным-полно. Это не годится. — Он раздумывал, наморщив лоб. — Погоди, погоди. — Он доверительно наклонился к солдату. — Пожалуй, к Матько-дровосеку лучше всего. Как стемнеет, так и ступай к нему.

Человека мы не знали. Мы никогда его не видели. Он был не из нашей деревни.

Людка крепко схватила меня и братика за руки и глазами приказала нам не шевелиться.

Солдат поднялся и пошел меж деревьев вверх в гору. Дядя Данё даже не оглянулся, а взял топор и только сейчас принялся рубить сухую лиственницу. Удары отдавались в полумертвом дереве и точно такие же вместе с эхом возвращались от Хоча. До Людки вдруг дошло, что дерево может упасть прямо на то место, где мы стояли, и убить нас. Когда она об этом сказала, мы в страхе прижались к ней, как цыплята к наседке. С каждым мгновением страх овладевал нами все сильнее, и мы, будто окаменев, не могли даже шелохнуться.

Дерево уже стало покачиваться, когда Людка вдруг закричала:

— Дядечка!

Глаза Данё молнией полоснули нас. Мы стояли, прикрыв головы руками, и ждали самого страшного, но Данё еще успел навалиться на ствол и чуть сдвинуть его в сторону. Дерево, ухнув, упало совсем рядом с нами.

— Вы в своем уме? — обрушился на нас Данё. — На волосок от смерти были. Не для шапки только голова на плечах. Вы о чем думаете?

Никто из нас ему не ответил. Мы не могли даже губами шевельнуть и тряслись как в лихорадке.

Он перестал нас ругать и попытался успокоить. Улыбнувшись, опустил наши руки и для видимости стал заглядывать нам в сумки, много ли грибов мы уже собрали. Его ласковые слова чуть нас ободрили, но прежняя веселость к нам не вернулась.

Все радостное, что было в этот день, словно улетучилось.

Забыли мы и о солдате в лесу. В нас остался только ужас перед падающим деревом.

Ночью нам это привиделось во сне, и мы даже вскрикивали. Тогда нам казалось, что ни за что на свете мы не пойдем больше в лес, где рубят деревья.

Привольнее всего мы чувствовали себя на луговинах у болот, где над нами шныряли и чиликали стаи ласточек.

На краю болота стоял дом Матько Феранца, окруженный лужами, травой и терновником. У самого дома буйно разросся кипрей с круглыми, как у герани, листьями, все лужайки вокруг покрылись осокой, похожей на щетину, а ближе к высыхающей топи стелился плаун, из которого вытягивались метелки с семенами.

Еще совсем недавно все кусты терновника были обсыпаны белыми цветами. До самой ночи просиживал Матько на пороге дома и не мог налюбоваться на них. Ему чудилось, что кто-то празднует свадьбу, что это белые подружки уселись с нарядной невестой на лужайке и глядят на себя в зеркальную воду. Встать бы, выбрать одну из них, ввести ее в халупу и сказать: ты моя суженая. А лицом и нравом она непременно должна походить на Паулу Петранёву. Чтоб была такого же роста, с такой же каштановой косой вдоль спины, чтоб умела она так же мягко и приветливо говорить, а во взгляде ее была бы такая же ласковость. Только подружки, что сидели во тьме вокруг его дома, не оживали. Они навсегда были обращены в белые цветы, а Паула Петранёва только из жалости, чтобы не видела мать, иной раз улыбалась ему. Будь он стройным и богатым парнем, а не нищим дровосеком, Паулу отдали бы за него. Но он не мог об этом даже мечтать. Ему приходилось скрывать свои мысли: ведь его презрительно прозвали в деревне побирушкой.

Матько как обычно по вечерам сидит на пороге. От деревни его отделяет болото. Он прислушивается к пенью сверчков, провожает взглядом запоздалую птицу, что устало кружит над лесом, отыскивая гнездо. На смену сверчкам прилетят ласточки, чтоб прочирикать «доброй ночи». Они стаями носятся вокруг и ловят мошек, пока кровавый запад не потемнеет и не сольется с горами.

Ласточки заманили сюда и детей. Дети заглядываются на их белые подгрудки, бегают вокруг болота, размахивая руками словно крыльями. А кое-кто прихватил с собою и рогатки — пострелять в птиц. Камни свистят в воздухе, первая птаха падает на траву. Мы урезониваем проказника, да не тут-то было.

С порога дома поднимается Матько. Он берет из сарая палку — знает, как сладить с мальчишками. Сперва он уговаривает их по-хорошему, потом пускает в ход палку.

Ливоров Адам угрожает ему:

— Вот погоди, расскажу отцу, он прикажет тебя выгнать из дома!

Чернянов Ондрей целится из рогатки в Матько. Он меткий стрелок, это он подбил ласточку. Камень летит прямо в голову Матько, но, к счастью, тот успевает увернуться.

— Ребята, стойте! — кричат остальные.

Адамко подтягивает брюки, выпячивает грудь и самодовольно поглядывает на детей. Он всегда кичится тем, что его дядя староста и верховодит всей деревней, захочет — в порошок любого сотрет.

— Только попробуй тронь меня, — продолжает Адам угрозы, — староста пустит тебя по миру, будешь вшей пасти.

Ребята портного Сливки перемигнулись и пошли на Адама. Они пробежали мимо нас, перемахнули через лужи и схватили Адама и Ондрея.

— Теперь ори сколько влезет, поганец ты эдакий, — дубасил Адама старший из них, — жалуйся, я тюрьмы не боюсь. А когда меня выпустят, я из тебя все кишки вымотаю.

— А ты, — кричал другой Ондрею, — попробуй тронь хоть одну ласточку, узнаешь, чем крапива пахнет!

Дети вокруг смеялись и визжали от удовольствия.

Я стояла возле куста, с которого недавно осыпались цветы и вместо них появились зеленые ягодки. Чуть поодаль в кустарнике братик возился с веткой, пытаюсь ее отломить. Но у него не хватало силенок, и он позвал на помощь меня. А я не отрываясь смотрела на свалку: ребята, воспользовавшись случаем, сводили счеты с Адамом, у которого на совести было немало грехов. Адам размахивал кулаками, метался из стороны в сторону и всю работу локтями.

Поднялась ужасная суматоха, даже ласточки испуганно шныряли над ними.

Матько уже было собрался разогнать ребят, чтобы они не покалечились, как вдруг из свалки кто-то крикнул:

— Айда, ребята, староста идет!

Всех как ветром сдуло — кто скрылся в кустарнике, а кто для безопасности кинулся в деревню. Многие на собственной шкуре знали плетку старосты.

Адам помчался прямо к дяде. Он уже на ходу жаловался и всех оговаривал.

Староста, высокий, жилистый мужик, хмурил брови и озирался по сторонам. Он схватил Адама за чуб и потрянул как следует.

— Да и ты не сахар, я уже говорил твоей матери. Я староста, мне надо быть справедливым. А то разве станут меня уважать в деревне? И еще запомни, Адам. Парню не ябедничать пристало, а отвечать ударом на удар. Ты Ливора, ну и утри



нос любому.— Он оттолкнул его концом своей палки, которую таскал повсюду с собой, должно быть, для большей уверенности.— А теперь марш домой. У меня здесь дела поважнее.

Адам насупился, как молодой бычок, опустил голову и, не попрощавшись, побрел домой. А ребята из-за кустов смеялись над ним.

— Я отцу скажу,— пробормотал он под нос, уже не отваживаясь заявить это громко.

Староста отправился к Матько. У него было к нему дело. Степенно, но по его годам довольно бодро, шел он по тропке между болотных топей. На фоне темных берегов издали выделялись белые рукава его полотняной рубахи, поверх которой была надета черная безрукавка. На голове черная поношенная шляпа, на ногах черные сапоги. Он шел и то и дело вытирал потную ладонь о полосатые хлопчатобумажные брюки.

Еще издали он прокричал сильным низким голосом:

— Я к тебе, Матё!

А подойдя, расстегнул безрукавку, воткнул палку в землю и начал:

— Я скажу тебе прямо, Матей, деревня решила забрать у тебя дом, которым ты до сих пор пользовался безо всякого права. Деревне он нужен под почлежку для нищих.

— А как же я, староста? Мне-то что делать? — обеспокоенно спросил Матько.

— Тебе... — почесывал староста сломанным ногтем между бровями. — Мы долго ломали голову, как бы это устроить, чтобы и волки были сыты и овцы целы. В конце концов порешили, что это твоя забота. Радуйся хотя бы, что так долго задаром пользовался этим домом.

— Как же задаром, староста? — Матько чуть осмелел. — Ведь это дом мой, мне его перед смертью отказала Гудецкая.

— А бумага есть у тебя? Нет, Матё. Так чего зря упираешься?

— Бумаги нет, правда. Но вы-то хорошо знаете, староста, и вся деревня знает, что она отдала богу душу, не успев подписать.

— Так-то оно так! — засмеялся староста. — Да ведь надо, чтоб черным по белому, а иначе кто ж тебе поверит.

— Что правда, то правда, бумаги нет, — повторяет Матько, пытаясь найти какой-нибудь выход, — но у меня есть свидетели... двое.

— Вот и добро, Матё, — хлопает его староста по плечу, — приведи-ка их в сельскую управу, и дело с концом. Мы акт составим.

— Но вы-то, староста, знаете, — Матько едва выговаривал слова, он не мог прийти в себя от такой подлости, — что Осадский и Йожо Мацух на войне. Скажите же, ради бога, зачем только все это говорите?

Староста пожимает плечами. Спокойно и холодно застегивает он только что расстегнутые пуговицы на жилете, вытаскивает воткнутую в землю палку и собирается в путь. Он поворачивается спиной к Матько и бросает через плечо:

— Я думал по-доброму дело уладить. Но, видать, тебе не по душе это, что ж, можно поговорить и иначе. Я уже сказал: или бумага, или свидетели! Если до завтра не сделаешь этого, дом тебе придется освободить. Нищих развелось как собак нерезанных, каждую ночь человека по три остаются в деревне. Из дома в дом разносят вшей и заразу. В нашей деревне ведь одни уважаемые газдовские семьи живут. Как тут быть, Матё? Сам подумай. На то меня и выбрали старостой, чтобы я наводил тут порядок. Ничего тебе не поможет, придется из дома уйти. Это мое последнее слово, чего зря толковать.

Староста сказал это и пошел восвояси.

Меж тем на болото опустилась тьма. В траве на лугах стрекотали сверчки, а в какой-то луже противно и уныло

квакала жаба. В небе не осталось ни одной ласточки. Они улетели в гнезда под крыши. Над Хочем дрожали искорки звезд.

Матько медленным шагом вернулся к дому.

Мы видели, как он тяжело опустился на порог и подпер голову руками.

Дети повискакивали из-за кустов. Многие заторопились домой следом за старостой, а мы побежали к Матё. Он молча посмотрел на нас и снова задумался.

Мы с братиком присаживаемся на порог возле Матько. Я вижу, как у него морщится и снова разглаживается лоб. Слышу, как трудно он дышит, как у него перехватывает дыхание, как стучат зубы, как он сглатывает слюну, словно подавился костью.

Потянув его за куртку, я решаюсь заговорить с ним. Но ему не до разговоров. Мальчики переминаются с ноги на ногу. Никто и слова не осмеливается проронить. Да ведь разве найдешь подходящее слово, когда взрослому человеку так тяжело! Мы только понимали, что один человек несправедливо обошелся с другим. И ко мне вновь вернулось то же самое чувство, с которым я провожала молодых ребят на войну. Мне представилось, будто я догоняю старосту, бросаюсь на него и в отместку расцарапываю ему лицо до крови. Но в действительности я не могла этого сделать. Мама говорила правду — я была маленькая.

Матько встал, закрыл двери и, не говоря ни слова, направился в деревню. Должно быть, хотел с кем-то посоветоваться.

Подойдя к деревне, мы услышали, как наша мама зовет нас и выглядывает на дорогу. И она, конечно, отчитала бы нас, если бы не Матько. Он тут же рассказал ей о своих невзгодах. Казалось, в эту минуту ничего не могло бы удивить ее больше. Сначала голос у нее стал тихим, потом окреп. Она говорила скорее сама с собой, чем с нами. Наконец в двух-трех словах она сказала, что надо тут же пойти к старосте и начистоту с ним объясниться.

— Ты обожди,— сказала она Матько и, схватив нас за руки, потащила в верхний конец деревни.

Оставшись с нами, она уже не сдерживала своего возмущения. Спешила как на пожар. Она уже поняла, что надо защищаться: ведь на лихую собаку только намордник да палку.

Мы вошли во двор и ступили на цементное пристенье. На террасе, увитой диким виноградом, пахло парным молоком. В нескольких кринках, стоявших в ряд, шипела и лопалась пышная пена.

Старостиха на кухонном столе готовила кринку и цедилку. Староста в углу на лавке стаскивал сапоги.

— Добрый вечер,— поздоровалась мама.

Старостиха обернулась и улыбнувшись сказала, что при-



шли поистине дорогие гости. Нам с Юрко она налила молока, чтоб мы выпили, пока оно еще теплое. Потом выдвинула скамейки из-за стола и предложила маме пирог с маком.

— Нет, я не угощаться пришла, уж не сердитесь. Дело серьезное.

Староста, подняв брови, перестал разуваться.

— А что случилось? — нетерпеливо спросил он.

— Я скажу прямо, без обиняков, чего мне бояться, — отважилась мама. — Вы сказали Матько Феранцу, что деревня забирает у него дом под ночлежку. — Она не могла усидеть на месте и встала. — Он пришел ко мне жаловаться.

— Ну и сказал, — спокойно подтвердил староста. — Так проголосовали выборные.

— Вы человек разумный, это все знают, — сказала мама прямо. — Да без доброты и разум не впрок. А вы, староста, об этом не думаете. Сколько домов пустует в деревне, где вымерли семьи, а вот только Матько вам понадобилось из дому выгнать. Разве он мало нахлебался горя?

— Да, да... ты права. И это мы обсудили, но выборные сказали, что наши деды перевернулись бы в гробу, если бы мы опустевшие газдовские дома осквернили нищими.

— А Гудецкая пусть в гробу переворачивается, да? Она сделала доброе дело, отдала дом сироте, а вы хотите ее добро во зло обратить. А уж ежели не хотите осквернять дома умерших, постройте на краю деревни пристанище для бродяг. Деревя хватит. Был бы Матё какой разбойник, меня бы это не трогало, да ведь у него сердце добрее, чем у любого из нас.

Старостиха обошла стол с другой стороны и многозначительно посмотрела на мужа.

— То-то и оно, — говорит староста, — я знаю его. Поэтому и пошел сам сказать ему об этом. Мне жалко его, но выборные не уступают. Требуют, чтобы он показал им бумагу либо привел свидетелей.

— Свидетелей? — ахнула мама. — Да ведь они оба на фронте, Осадский и Йожо Мацух. Как же он их приведет? Побойтесь бога! Такое даже сатане на ум не придет! — Она дрожмя дрожала от гнева. — Даже сатана, староста, до такого не додумается. Разве это люди? Только, — она сделала несколько шагов и остановилась, — только я не советую никому из выборных встретиться с Осадским или Мацухом. А ну как вернутся они с войны... Вы ведь знаете, староста, какие это упрямые головы, тем более теперь, когда мир перевернулся.

У старосты на лбу, словно веревка, набрякла красная жила. Так и не обув второго башмака, он беспокойно завертелся, словно что-то искал. Ясное дело: кому охота лезть в петлю. Мужики возвращаются с винтовками, а что если Осадский и Мацух... Он прикрыл ястребиные глаза, пытаясь успокоиться.

— Ты права,— разом сказали староста и старостиха.

— Так, значит, дом остается за Матей? — Маме хочется знать наверняка.

— Надо потолковать с выборными. Может, примут другое решение,— пожал он плечами.— На всякую болезнь лекарство найдется. Что поделаешь, надо помнить, что и от малой искры сыр-бор загорается.

— Я всегда тебе говорила,— старостиха подлила масла в огонь,— не угадаешь, где упадешь, где встанешь. А за Матько-то домик оставьте.

Пришло время косить луга у лесных опушек.

Мы весело бегали под елками, обрывали листочки заячьей капусты, собирали землянику, рыжики и белые.

Лес гудел, как орган, а то как река у мельницы возле нижней плотины.

— Это, наверное, деревья разговаривают между собой,— сказала я братику.— Вон то, посмотри, как похоже на нашего дедушку с верхнего конца.

И вправду, дерево было огромное, стройное и гордо стояло среди остальных, как смелый охотник в засаде.

Братик смотрел на меня широко открытыми глазами. Ему тоже казалось, что деревья разговаривают. Он прислушивался затаив дыхание и, высоко подняв пальчик, делал нам знаки, чтобы мы помолчали, пока не разгадаем, о чем шумят деревья.

Но по лесу неслась только бесконечная, протяжная песня, которая особенно сильно звучала в просеках. Это была песня без слов, и мы напрасно прислушивались. Но все-таки мы верили, что лес разговаривает. Мы знали из сказок, что не каждому дано понять язык деревьев, птиц, рек и лесного зверья. Это умели только особые люди, избранные, как нам говорили взрослые.

Братика занимало, кто же эти особые люди.

— Ну,— размышляю я,— это хорошие люди. Я тоже хочу быть хорошей, чтобы понимать, о чем шумит лес и поют птицы.

— И я хочу,— присоединяется он.— А как это сделать?

— Будем помогать маме и никого не будем обижать,— сказала я.

Радостные, мы принялись с еще бóльшим старанием собирать землянику.

— Выходит, и на червячка нельзя наступить? — спросил он.

— Ни на червячка, ни на цветок.

И мы осторожно ступали, чтобы не мять понапрасну траву.

На луговине мама с Беткой ворошили скошенную траву. От травы шел пар, солнышко пригревало выпавшую за ночь росу. Сначала они ворошили траву у вырубки, куда упали первые лучи. На склоне у ручья трава до сих пор лежала в тени верб.

Мы слышали, как мама сказала:

— Только бы погода была, чтобы сено просохло.

— Не бойтесь,— уверяла ее Бетка.— К вечеру сено будет только похрустывать.

С соседнего луга прокричала тетка Осадская:

— Погодка будет на славу!

Тетка Липничаниха присоединилась с другой стороны:

— Пусть нам хоть солнышко помогает, коли другой помощи нет.

Неподалеку от ложбины сушили сено Ондруши. Они приехали на телеге, чтобы сразу же погрузить просохшее сено и свезти на сеновал. Им нечего было бояться, что оно сгниет от дождя в копнах. Так-то, конечно, можно хозяйствовать, когда лошади и мужские руки в доме. А вот таким, как Осадская, тетка Липничаниха и наша мама, приходилось туго.

В Ущелье был Ливоров сенокос. Сено они давно уже высушили: ведь им помогали люди, батрачившие у них за муку и картошку. Дела у Ливоров шли как нельзя лучше. Свозили сено они целую ночь. А теперь последние стога укладывали на телеги, в которые были впряжены лошади и волю. Скоро примутся и за хлеб. Ливора в воскресенье обходил поля, все высматривал, откуда начинать надо.

— Не жизнь у нас, а мученье,— говорили меж собой женщины и надсаживались еще пуще, чтобы успеть побольше сделать за день.

— Да уж лучше, пожалуй, работать, чем переливать из пустого в порожнее,— заметила Бетка, одетая в голубое, сильно накрахмаленное, набивное платье, шелестевшее при каждом движении, как пересохшее сено.

Тетка Осадская не могла в досталь на нее наглядеться. Теперь хоть она доставляла ей радость, раз Милану пришлось уйти на войну.

И сейчас она, опершись о грабли, позвала Бетку:

— Ты шелестишь, словно шелками.

— Какие там шелка,— улыбнулась мама,— это я второпях крахмалу лишку подсыпала. Но зато чистое.

Наша мама всегда одевала нас опрятно, даже если это и была старенькая одежда. Чистоту она поддерживала и в доме. Мама любила порядок. Люди порой и осуждали ее за это, так как сами не придавали этому такого значения, особенно в ту лихую годину. Но маме было приятно, что ее дети ходят чисто одетыми. Ее огорчала не столько латка на платье, сколько неряшество.

Тетка Осадская, глядя на Бетку, покачивала головой:

— Если Милан бы поглядел на тебя...

У Бетки запяляли щеки, и, засмушавшись, она отвернулась.

Тут мы с братиком выбежали из-за лиственниц и елей.

В руках у нас было по букетику земляники. Мы наперегонки бросились к маме. Я прибежала, конечно, первой. Мама подождала братика и взяла у нас землянику.

— Угостим всех,— сказала она.

Мы отнесли землянику теткам Липничанихе и Осадской, а потом и Бетке дали попробовать.

— Вы и впрямь хорошие дети,— похвалили нас женщины.

Мы с братиком, переглянувшись, обернулись к темнеющему в лесу хвойному молодняку. Оба мы думали об одном и том же. Может, когда-нибудь и мы научимся понимать, о чем говорят птицы, журчит река и шепчет лес.

До полудня было далеко, но мы уже клянчили у мамы что-нибудь перекусить. Узелок с едой лежал у ручья под вербами. Мама спустилась с нами и уже хотела было развязать узелок, как вдруг сквозь ветки вербы мы увидели идущих по дороге мужчин.

— Да ведь это солдаты,— вглядывается в них мама.

Братик бежит к самой воде и кричит:

— Мама, солдаты!

Женщины у леса засновали точно пчелы. Побросали грабли и припустились вниз.

— Да постойте же,— взволнованно останавливает их тетка Осадская громким голосом.

Мама бросает узелок на покос, перепрыгивает через ручей и бежит по капустному полю к солдатам в серо-зеленых мундирах. Бетка переносит нас через ручей, и мы тоже несемся к ним. За нами — кто вброд, кто перескакивая через ручей — все спешат поглазеть на солдат, словно на невиданное чудо. Но людей волнует прежде всего одно: в самом ли деле кончилась война и все ли возвращаются домой?

— Да вроде бы скоро конец,— сказал один из солдат.— Почти в каждую деревню уже кто-нибудь да вернулся.

— А наши? — спрашивает мама.

— Постойте,— вспоминают солдаты,— из ваших двое вернулись. Они пришли вместе с нами. Оба высокие, чернявые. У одного такое продолговатое лицо, у другого круглое. Один пошел к улочке повыше моста, а другой пока остановился умыться и побриться у тетки на нижнем конце,— солдат смеется,— видать, жене хочет понравиться. Имя его я забыл, но он говорил, что живет на повороте у корчмы.

— Ох,— охнула мама и схватилась за плетень капустного поля,— неужто...— Глаза ее, полные слез, улыбались.— Неужто...— повторяет она увереннее и оглядывается на женщин.

Бетка отпускает руку братика и кричит от радости:

— Неужели наш отец?

Мама враз перепрыгивает через плетень и припускается

вниз по дороге. Она летит словно птица. Бежит то посередине дороги, то по обочине, по траве. Из-под юбки мелькают ноги, обутое в мягкие сукожные туфли. Только поравнявшись с мельницей, она, верно, вспоминает о нас. Замедляет шаг и оглядывается. Бетка тянет нас за руки и злится на Юрко, что он не поспевает за нами.

— Ведь твой отец вернулся,— подбадривает она его,— а ты ползешь как черепаха. Ну-ка, давай поживее.

Я боюсь, что она будет ругать и меня, и несусь, не чуя под собой ног. В деревне я даже обгоняю Бетку с братиком и вихрем мчусь впереди них.

У нашего дома на мостках стоит Людка. Она не ходила сушить с нами сено, а оставалась дома с теленком, который только недавно родился. Я подбегаю к ней, высунув язык. Оказывается, она ни о чем не слыхала и даже не была уверена, что это мама бежала вниз по дороге.

— Конечно, мама,— говорю ей,— наш отец вернулся. Остановился на нижнем конце у тетки.

Людка заперла дверь и снова подошла ко мне с тяжелым ключом в руке, который мы обычно прятали в окне за геранью.

От Данё Павкова вышла тетка Ондрушиха с уздечкой. Она приносила ее починить. Все знали, что дядя Ондруш в таких делах, как говорится, ни в дудочку, ни в сопелочку. Он любил хозяйствовать на земле. А ко всему, что касалось домашней работы, почти не притрагивался. И тетка вынуждена была бегать по деревне с каждой чепуховинкой.

Увидев нас, раскрасневшихся и взбудораженных, она спросила:

— Что случилось, дети?

Мы торопились в нижний конец деревни и потому коротко ответили ей:

— Отец вернулся.

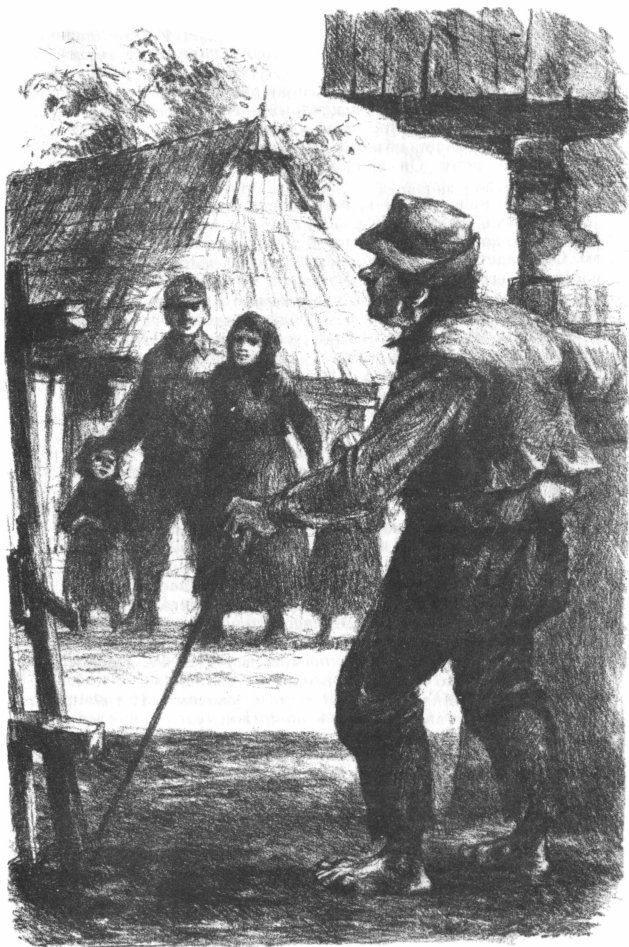
Тетка заглядывает в сени и кричит Данё:

— Их отец вернулся!

Что там было дальше, нас уже не заботило. Мы припустились вниз по дороге вдоль плетней и заборов, увертываясь от телег.

У самого парка перед замком, где раскидистые клены окаймляли аллею и цвело множество диких кустов, вверх по дороге шла наша мама с высоким человеком в военной накидке. За спиной у него болтался рюкзак. Левой рукой он придерживал под мышкой ремень, чтобы не резал, а правой обнимал маму за плечи и улыбался.

Мы останавливаемся у самой обочины канавы. Ноги дальше не двигаются. Отец не отец... Нас смущает не только военный мундир, но и строгое лицо, смелый орлиный взгляд. Мы привыкли к мягким глазам нашей мамы, к ее бесконечной



нежности. Мама издали кивает нам и улыбается. Она двигается легким, мелким шагом. Она точно парит над землей. И вся какая-то другая.

— Они не узнают тебя,— говорит она отцу.

— Да, четыре года срок немалый,— соглашается он.

Сердечки стучат у нас часто-часто.

Отец раскрывает объятия, и Людка с громким плачем бросается к нему. Он прижимает ее и щекой трется о ее макушку.

— Тата, наш тата! — кричит Людка.

Я остаюсь на обочине одна, сердце колотится еще чаще. Я тихонько приближаюсь к отцу и лбом прислоняюсь к его локтю. Он кладет руку на мои черные колечки волос. Я чувствую, насколько его рука тяжелее маминой! Я обнимаю отцовскую руку своими обеими, и меня переполняют разные чувства, но сильнее всех одно: больше я не буду сиротой.

В домах вдоль дороги люди услышали наши голоса. Из одного вышел, опираясь на палку, сгорбленный старичок. Он плохо видит и водит перед собой палкой по пристенью. Останавливается у ступенек и спрашивает:

— Что случилось, люди добрые?

— Муж ко мне воротился, дядя,— говорит мама голосом, из которого улетучились все печали.

— Муж! — Старичок ударяет ладонью по колену.— Выходит, и наши воротятся.— Он радостно улыбается в пустоту, не видя нас.— Выходит, кончилось это безумство.

— Нет, дядя, еще не совсем,— говорит отец и с тревогой поглядывает на маму,— я пришел на побывку, на три недели. И Йожо Мацух со мной.

Мама, вздрогнув, застыла.

— Только на побывку...— испуганно прошептала она.

— Кто знает, а может, и навсегда,— обнимая, утешает ее отец,— может, все это кончится раньше, чем надо будет мне возвращаться. За три недели много воды утечет. Уж кому это знать, как не нам, тем, кто приходит из Галиции.

— Из Галиции? — повторяет мама с ужасом.— И ты?

— Ну и что? — Отец спокоен по-прежнему.

— Всех, кто приходит оттуда, снова гонят на фронт.

— А! — Отец машет рукой, как бы говоря, что об этом пока не стоит и думать.

И правда, мы даже думать уже не могли о горе и страданиях. После стольких мучений мы заслужили право радоваться в полную силу.

Мы побежали вперед, чтобы открыть дверь, подложить дров в печь и приготовить для отца все самое лучшее, что у нас было.

Но приготовить мы так ничего и не успели. Весть разнес-

лась по всей деревне, даже по всей округе. Люди примчались с поля.

В горнице вдруг сразу сталолюдно, тут были и родные и просто знакомые. Наконец прибежала и Бетка с Юрко. Отец не узнал ее. Как она выросла! Совсем невеста. И самый маленький сыночек, его кровинушка. Отец подкидывает его под самый потолок, а тот разглядывает военную форму и пытается смело заглянуть в глаза отцу.

Дедушка с нижнего конца еще в дверях крикнул:

— Сын мой, сын мой!

Люди плакали и улыбались. Еще бы: седой старик обнимает одного из троих сыновей. Один убит, и вернется ли третий, о нем тоже давно ни слуху ни духу.

Тетка Осадская с теткой Липничанихой притащились с лугов со своими мотыгами и граблями, захватив с собой и наши. Расспрашивали о близких. Каждой хотелось услышать хоть словечко: какая сила тогда была у этого слова — не меньше, чем у великана Валилеса из Даниной сказки.

Мама поставила на плиту воду. Она долго кипела, клокотала, билась и подкидывала крышку, точно живая, пока почти вся не выкипела. Эта непривычная суета волей-неволей продолжалась до позднего вечера.

— Что бы такое ему приготовить на скорую руку, чем бы его угостить? — волновалась мама.

— Погоди, — говорит тетка Ондрушиха, — мир не без добрых людей. Забегу-ка домой, прихвачу колбасы. Мужа надо хлебом-солью уважить. — И тихонько добавляет: — Только моему старику ни слова.

Вскоре колбаса уже благоухала на весь дом.

Пожаловал к нам даже корчмарь из кирпичного дома на повороте. Принес в подарок спиртного. Сказал, что открыл ради отца новую бочку, припасенную для особых случаев.

— А этот случай и есть особый, — улыбается корчмарь, сощулив глаза. — Солдатам надобно оказывать честь, вот я тебе ее и оказываю, — подлизывается он к отцу. — Говорят, ты пришел с русского фронта? — Корчмарь пришепывает губами, подыскивая слова. — Небось и русскому научился.

— Ясное дело, — кивнул отец, улыбаясь, — кое-чему русскому наш брат там научился.

Дядя Данё ближе протиснулся к столу. В его глазах, освещенных керосиновой лампой, подвешенной на цепочке к потолку, сквозило живое желание узнать хоть что-нибудь о стране, в которую отправились Федор и Михаил.

— Научился, научился... — повторил корчмарь тише, пытаясь выведать у отца то, что ему хотелось знать. — Ты, стало быть, видел и как они революцию делали. А? — Он старался выглядеть как можно спокойней.



— Видел.

Корчмарь облокотился о стол и, притворяясь веселым, даже похихатывал время от времени.

— Стало быть, видел и тех, кто делал эту революцию? И разговаривал с ними?

— Конечно,— подтвердил отец,— я был приписан к одному врачу в госпитале, где их лечили.

— Ну и что? — Корчмарь подсаживается еще ближе и подобострастно улыбается.

Отец медлит, ему пока не совсем ясно, куда корчмарь клонит.

— Ну и что, что? Те, кто до тебя воротились, говорили, что много крови, что даже трудно было поверить, что...

При последних словах кто-то на пороге зашаркал ногами, бормоча что-то под нос, и тут же в горнице зазвучал сильный низкий голос. Все обернулись к двери. Покосился и корчмарь. Он никогда никому не смотрел прямо в глаза. А если случайно и взглянет, то только так, краем глаза, с хитринкой. Может быть, совесть мешала ему, если она вообще была у него. Корчмарь с легким сердцем спаивал людей и обдирал их как липку. По его милости не один ходил с сумой по миру. Он наживался на людском горе и спокойно набивал кошелек награбленными денежками. Он и сам мог представить себе, что случилось в России с такими, как он, но все-таки решил зайти с бутылкой спиртного и кое-что поразнюхать да выведать. Но его сбил с толку резкий самоуверенный голос вошедшего. Умолкнув, он косился на дверь и выжидал.

В дверях стоял Йожи Мацух, который вернулся вместе с нашим отцом с фронта. Парень он был рослый, плечистый, а силища в нем, говорили, что у медведя. Из России он пришел другим человеком — набрался ума. Об этом сразу же стало известно в деревне. Был он холост, домашних забот у него было мало, вот он и думал все время о том, как бы и у нас завести иные порядки.

Ухмыляясь в густые черные усы, небритый, в поношенной военной форме, он вошел в горницу и со всеми поздоровался за руку. Руку корчмаря задержал в своей чуть подольше и пристально посмотрел на него. Все поняли, что сделал он это не из приятельства или сердечности.

— Ну так что? — ударил он корчмаря по плечу. — Теперь уж не паленки, а крови вам подавай? Получите, только малость потерпите. Придет время — будет и наш черед.

Раньше никогда деревенский парень не позволил бы себе такую дерзость. Корчмарь почел это за обиду, но пока только стиснул зубы. С таким медведем лучше не связываться. Лучше продолжить эту игру: он улыбнулся и протянул бутылку Йожи. И тут же следом заторопился домой, сказавшись, что его ждет работа.

Когда он ушел, Йожо заметил:

— Чего еще с ним цацкаться, я ему все в глаза выложил. Котелок у него варит, сразу смекнул, что к чему. Пусть видит, какая разница между сопливым рекрутом и солдатом, что вернулся с фронта четыре года спустя.

Дядя Данё с ним согласился:

— И то правда, война открывает людям глаза.

— А этот сукин сын корчмарь,— распаляется Йожо,— думает, что мы после всего, что пережили, вернемся к его паленке, как телята к корыту. Кукиш! Теперь народ не станет тянуть его зелье. Все будет по-новому. И заживем иначе, и работать будем иначе.— Он повернулся к нашему отцу: — Развяжи-ка рюкзак, покажи им, какую пшеницу мы будем сеять.

Отец выложил из рюкзака на стол мешочки с украинской пшеницей.

— А это просо. — Отец просеивает сквозь пальцы семена, показывая их окружающим.— Сперва засеем только два квадратных метра. На следующий год засеем столько земли, насколько хватит семян от первого года. Так и пойдет дело. Нашу мелкую пшеницу заменим крупной украинской. Через несколько лет, глядишь, по всей округе заколосится только эта новая. Она и урожайней и мучнистей.

— И не думайте, что только пшеница изменится,— добавляет Йожо,— всему свое время.

Людьми любопытно узнать обо всем. Затаив дыхание они ловят каждое слово. И сидят допоздна. Никому не хочется уходить.

Первой поднимается тетка Липничаниха. Она никогда долго не засиживается. Слабую, хрупкую, ее вконец изнуряет работа. А помочь никому.

После ее ухода наш отец говорит:

— Бедняга, ей совсем лихо станет, когда узнает, что муж не вернется. Погиб, мы даже похоронить его не успели.

— Господи, беда-то какая! — ахнули люди. А многие так и замерли при мысли, что и с их близкими могло такое случиться.

Время шло, отсчитывая час за часом. Керосиновая лампа уже догорала. Пламя ее опало. От фитиля пошел чад. Керосин зеленел только на доньшке. Стол под лампой был усеян мушками, опалившими крылья горячим стеклом.

Тетка Гелена клевала носом, пряди ее золотистых волос на висках потемнели при слабом свете лампы, голубые глаза сплпались от усталости.

— Ну, пора и честь знать,— поднялась она вдруг,— утро вечера мудренее.

— И то правда, надо идти,— сказала бабушка с верхнего конца,— дети уже сидючи спят.

Люди, покидая горницу, через темные сени выходили в летнюю ночь.

Во дворе стоял душистый запах свежего сена, и ручьи с обеих сторон журчали как-то веселее и звонче. Из леса ветер доносил шум деревьев, а с ближайшего выгона звон колокольчиков.

Мама вместе с отцом уложили нас спать.

Братика мама отнесла на руках. Тихонько положила его голову на подушку, чтобы он не проснулся. Прикрыла периной и улыбнулась, любовно вглядываясь в его лицо.

Меня укладывал папа. Руки у него были сильные, жесткие. Он делал все как-то ловко, с какой-то солдатской сноровкой. Глаза у него были серо-голубые, не такие выразительные, как мамины черные, но взгляд острее. И улыбка его казалась какой-то строгой. Но наши сердечки успокоились — ведь вернулся наш tata. Мы чувствовали, как нам завидуют дети, отцы которых были еще на фронте. День ото дня мы все больше привыкали к сильным отцовским рукам. Они как бы придавали нам больше уверенности и смелости. Это чувство нельзя было ничем измерить, ни с чем сравнить — все это время, на каждом шагу мы сознавали, что у нас был защитник.

И мама тоже неузнаваемо изменилась. Даже тяжелый труд ей был ничем — она порхала, словно никогда не гаснущий светлячок.

— И земля радуется,— говорил отец, стоя на пристенье и оглядывая из нашей глубокой долины крутые откосы полей.— И земля радуется, что к ней возвращаются мужские руки. Теперь, после войны, она будет лучше родить. Как же хотелось мне в плену хоть разок покосить овес на Голице.

Мы, сбившись в стайку, рассматривали его.

На пристенье он казался еще выше. Я неотрывно следила, как его ястребиный взгляд скользил по ближним и дальним холмам. Он не мог насытиться видом родных полей и блаженной радостью труда. Засучив рукава выше локтей, он наслаждался усталостью, которая разливалась по телу.

— Косить и свозить урожай, это дело другое,— восторгался он по-крестьянски,— это по-нашему!

Матько Феранец стоял рядом с нами и поддакивал:

— Правда, газда, это дело другое. По мне бы тоже лучше батрачить. Очертело колоть дрова по господским домам.— Он улыбнулся: — Вот бы нам вместе косить овес на Голице.

И мы с наслаждением бегали на просторе. Хоть и были детьми, а уже понимали разницу между тем, как дышится в доме и на луговом раздолье у скал или среди волнистых

хлебов. Как бы мы хотели, чтобы и Матькина жизнь стала другой.

— Взяли бы вы меня на работу, газда,— теребил он отца.

— Кто знает, как будет дальше,— всякий раз отвечал отец на его просьбы,— надо подождать.

И Матько уходил с нашего двора как в воду опущенный. Он погрустнел. Глаза его сделались какими-то мутными и застыли в печали.

Я не любила, когда люди печалились. Если при мне кого обижали, то мне еще казалось, что обижают меня.

Мы с Людкой решили заступиться за Матько и, просительно улыбаясь, подошли к отцу.

— Тата-а...— начала я протяжно и, почувствовав ком в горле, так и не договорила.

— Сказал раз, и хватит! — Он тут же понял, что мы хотим, и, прищурившись, хмуро оглядел откосы Голицы, где ветер колыхал и наш еще некошенный овес, который будто ждал прихода отца.— Не так уж у нас его много, чтобы прибегать к чужой помощи,— добавил он и пошел готовить косу.

Отец был прав: такие клочки земли, как у нас, было легко обработать. Но мама сказала, что Матько мог бы у нас прокормиться — ведь и за распилку дров в господских домах он зарабатывал только на пропитание. Я чувствовала, что мама не согласна с отцом и всей душой тревожится за Матько. Он всегда готов был помочь нам, когда мама выбивалась из сил. Но отец решил дело по-своему, и разговоров тут быть не могло.

— Ну что ж...— Мама чуть просветлела лицом, взяла меня за плечо, хоть я была и младшей из дочерей, и шепнула: — Мы ему иначе поможем.

Сердце у меня радостно подпрыгнуло, и я выбежала следом за отцом, который с косой на плече взбирался по склону на дорогу.

-- Мы все равно отблагодарим Матько,— сказала мне мама, когда сестры и братик отошли чуть в сторонку.— Сначала сошьем ему новую рубашку. Я немного полотна припасла для вас. Но теперь натку нового, раз отец уже с нами.

Меня радовала не только новая рубашка, которая будет у Матько, но и сознание, что мама со мной откровенна. Вот так эти два чувства слились воедино, и я весело вместе со всеми шагала за отцом, у которого на ремне, ударяя по бедру, подпрыгивал оселок.

Отец уверенно шел впереди нас и то и дело касался рукой оселка. Наверное, он был счастлив, что несет не винтовку, а косу и оселок и идет не с людьми сражаться, а подчинить себе поле.



Мы еще не успели уйти далеко, когда нас нагнал Шимо Яворка, на этот раз без барабана. Лицо у него было разгоряченным и растерянным.

— Что случилось, Шимон? — спрашивает отец.

— Вы не видели Матько Феранца? Говорят, он у вас был.

— Неужто случилось несчастье? — беспокоится мама.

И мне вдруг подумалось: уж не натворил ли Матько с горя какой-нибудь глупости?

— Я и не знаю, — оторопело отвечает Шимон, — счастье это или несчастье. Подумайте только, через столько лет к Матько воротилась...

— Неужто мать?

— Да, — кивает он, — воротилась из Пешта.

— Ну теперь им вдвоем будет легче. Теперь будет кому о нем позаботиться.

— Как знать, — барабанщик как-то странно кривится, — у Катры пальцы скрючены от ревматизма. Теперь Матько придется на двоих зарабатывать. Катра у писаря дожидается. Решать надо, будет ли она на иждивении у деревни или у Матько. Вот я и пришел за ним.

Бетка сказала, что видела, как он сворачивал в проулок и что, должно быть, далеко еще уйти не успел.

— Матко-о! — кричит отец, и его сильный голос разносится далеко окрест.

Минуту спустя Матко действительно показывается из-за угла. За спиной у него поблескивает коса.

Он шагает, выпятив грудь, подняв голову. Должно быть, он старается походить на газду, гордого тем, что у него поспели хлеба.

Приближаясь к нам, он кричит:

— А я все-таки иду с вами косить овес!

Он улыбается, но никто не отвечает на его улыбку.

Мы все ждем, как он примет неожиданную весть. Ведь с этого дня он будет не одинок: к нему вернулся самый близкий человек на свете — мать. Не надо думать о том, что она бросила его совсем маленьким на произвол судьбы и он скитался по деревне, жил подаянием.

— Матко... — душевно и неторопливо начинает наша мама, но голос ее не слышится.

Шимон опережает ее:

— Матей, не пугайся, да и не прыгай от радости. Взвесь все спокойно. У писаря тебя дожидается мать. Она воротилась из Пешта. Сельская управа оставила бы за тобой дом на болоте, если бы ты взял ее к себе. Ведь все-таки это твоя мать.

— Мать, — повторяет Матко, улыбаясь, и с косой на плече идет вниз по дороге. Он движется точно во сне.

— Матё! — бежит за ним Шимо Яворка, берет косу и бросает ее через забор к Петраням.

Мы видим, как они вместе шагают в сельскую управу.

Наша мама взволнованно смотрит им вслед. Она наверняка рисует себе, как мать и сын встретятся после такой долгой разлуки. Будет ли Матё раздумывать или сразу же всем сердцем примет свою старую мать, потерявшую здоровье на заработках в чужой стороне?

— Вот посмотреть бы на них! — говорит мама.

— Сейчас нам надо овес косить, — сказала Бетка холодно и решительно.

И мне вспомнился ее прежний тон, когда ее все сердило и она не могла с этим справиться. Наверное, этот тон она унаследовала от отца и, сама того не желая, часто говорила резко и раздражительно.

— И впрямь надо косить! — повторяет отец и собирается в путь.

— Вы идите, — говорит мама, — а я пойду отнесу Матко немного молока и хлеба. Что они будут есть? Может, в Пеште еще голодней, чем здесь, вряд ли Катра захватила с собой что-нибудь.

— Прямо сейчас? — Отец останавливается. — Ведь в поле работа ждет.

— Да, сейчас, — настаивает на своем мама, — надо помочь тогда, когда человеку трудно приходится. Ведь это такая малость за все, что он...

— Только побыстрей возвращайся, — бросает отец.

Мама потянула меня за руку, и мы вернулись домой.

— Мы вдвоем с тобой лучше управимся, — сказала она мне еще по дороге. — Отнесем-ка мы Матько молока и хлеба.

— А может, еще немного картошки, — подмигиваю я маме, — и кислой капусты, Матько очень любит ее.

— Конечно, — соглашается мама, — я и забыла об этом.

Мы все уложили в узелок и корзинку. Мама даже взяла из сундука на чердаке подушку. А мне велела помалкивать.

По дороге она размечталась: оставим, мол, все это в сарае возле дома. Лучше всего на полке, где Матько держит ключ от двери. И нам сразу стало веселей на душе, когда мы представили себе, как Матько обрадуется подаркам.

Дойдя до болота, мы уже издали заметили, что дом открыт. Двери раскачивались и скрипели на петлях. В окна светило солнце. Мы заглянули внутрь: пыль, поднятая чьими-то ногами, еще не осела на глиняный пол.

Мама сжала мне руку и сказала:

— Видишь, это Катра, Матькина мама.

Я увидела городскую женщину, довольно хорошо одетую. Причесана она была иначе, чем наши женщины. Платье тоже было из какой-то материи, какую у нас не носили. И движения у нее были нездешние.

— Посмотри, да ведь она настоящая пани. Уж лучше бы ей оставаться в Пеште, — разглядывая ее, сказала мама.

Посреди комнаты женщина вытаскивала вещи из плетеной дорожной корзины и озиралась в поисках места для них.

Она недовольно ворчала:

— Надо же, некуда даже вещи положить.

Она попыталась было перенести корзину на сундук под стенными часами, доставшимися Матько вместе с домом. Но ни приподнять ее за плетеные ручки, ни сдвинуть с места не смогла. Руки у нее, повиснув, дрожали.

— Что с ней такое? — удивилась мама.

— Ревматизм. Помнишь, Шимо сказал, что это ревматизм ее искалечил.

Тут вбежал в сени Матько с охапкой веток. Он высыпал их у печки в кухне и быстро подошел к матери, чтобы помочь ей поставить корзину на сундук.

— Как же мы будем жить? — обеспокоенно спросила она.

Хотя ей было немногим больше сорока, выглядела она старше пятидесяти. Трудная, беспокойная жизнь на чужбине

покрыла ее лицо морщинами. Но все равно было видно, что когда-то она была очень красивой.

— Как же мы будем жить? — повторила она.

— Я брошу пилить дрова в городе и наймусь к газде.

— Этим не проживешь.

— Тогда я пойду на лесопилку или винокурню. Буду работать не покладая рук. Вот увидите...

Но она уже во всем разуверилась. Бессильно опутившись на стул, она закрыла лицо руками.

— Пойдем в дом, — сказала мне мама, словно почувствовала, что теперь самое время.

Катрена только мельком взглянула на нас. Она равнодушно подняла голову и вяло, будто после тяжелой болезни, кивнула нам.

— Вы вернулись? — улыбнулась мама.

— Вернулась, — ответила она, продолжая сидеть словно каменная.

— Мы принесли вам поесть, — сказала мама, выкладывая еду на стол и улыбаясь, чтобы в домике было не так тоскливо.

— Спасибо, — поблагодарила женщина каким-то убитым голосом, и мне почему-то вспомнилась сказка о стеклянной горе, на вершине которой одиноко рос лимон.

— Спасибо, хозяйка, — от всего сердца сказал Матько, — мы этого не забудем.

— Это я не должна забывать, сколько ты для нас сделал, — поправила его наша мама, — это мы в долгу у тебя, а не ты. — Она обернулась к женщине, чтобы похвалить ее сына. — Добрее его нет никого на свете, он всегда был рядом, когда, казалось, уже нет спасения. Не только сердце — и руки у него золотые, он трудится от зари до зари. Вот и домик себе заработал.

— Не заработал, — возразила женщина, — а получил в наследство, я-то знаю.

Наша мама слегка опешила от этих резких, холодных слов. Она не подумала, что Катрена как бы защищалась таким образом, как бы выгораживала себя перед сыном — ведь она ничего не приобрела, пришла с пустыми руками. А на самом деле ей было все безразлично, она говорила так по нужде, просто потому, что ей ничего другого не оставалось. К Матько она не испытывала ни капли любви, он был ей чужим и совсем ненужным.

Она встала, подошла к окну. Подняв крючок, рывком распахнула створки. Порыв лугового ветра ворвался в комнату. У меня задрался передник, у Катрены задрожала прядка волос на макушке. Снаружи доносилось чириканье птиц и карканье ворон, круживших над болотом.

Женщина вдруг резко обернулась к нам. Она была явно



чем-то взволнована, но сдерживала себя и, кусая губы, о чем-то раздумывала.

— А что купец Смоляр? — вдруг вырвалось у нее. — Это он виноват в моем несчастье. Я тогда у него работала. — И она в отчаянье крикнула Матько: — Он хоть раз подал тебе кусок хлеба?

Матько понял все. Он затрясся, закрыл лицо руками и выбежал из комнаты.

— Как вы могли сказать такое при нем, Катрена? — упрекнула ее мама. — Вам надо было все в себе задушить, хоть это и трудно.

— Я не сдержалась, у меня нет больше сил.

Она расплакалась.

Слезы заливали ее лицо. Словно теплый весенний дождь падал на иссушенную землю, чтоб вновь вернуть ее к жизни.

— Человек часто думает, что все кончено, — говорила ей мама, — а потом, глядишь, опять оживает.

— А хуже всего, — всхлипывала Катрена, — что я ни капельки не люблю сына. Как же нам жить?

— Вы обижаете его, Катрена.

Женщина так тяжело вздохнула, словно хотела выдохнуть всю свою муку. Когда она отошла от окна, мне показалось, будто взгляд у нее немного смягчился и будто она сама вырубил первую ступеньку в той сказочной стеклянной горе, по которой ей предстояло подняться.

Мы с мамой думали об этом, когда покидали дом на болоте. Не говоря ни слова, тесно прижавшись друг к другу, мы шли, переполненные нашей огромной любовью.

Мы с мамой поспешили на Голицу к отцу.

Он был на меже над картофельным полем. Бетка сгребала за ним траву в копны и напевала. Юрко с Людкой, увидев нас, замахали руками и радостно заверещали.

Отец поджидал нас, опершись о косовище и оглядывая соседнее ячменное поле тетки Липничанихи.

— Скошу-ка я, пожалуй, и ее ячмень, раз у нее нет в доме подмоги, — обратился он к нам.

— И впрямь сделаешь доброе дело, — обрадовалась мама: видно, суровость отца к Матько Феранцу камнем легла ей на сердце.

Мама, должно быть, и сама ясно не представляла себе, каким отец вернулся с войны. Она только чувствовала, что он изменился. И часто говорила об этом с Беткой, а мы слушали. Я тщетно пыталась припомнить, каким отец был до войны. В моей памяти осталось только одно: как он вышел с черным чемоданчиком, как положил его на телегу Порубяков, а потом на этой же телеге исчез за поворотом. Остальное я помнила

только по маминым рассказам. Четыре года горестного одиночества, пока отца не было рядом, я думала о нем с бесконечной любовью. Я не находила в нем недостатков. Его доброты была нужна нам на каждом шагу. Перед сном мы смотрели на его фотографию, висевшую между окон: ведь никаких икон в нашем доме не было. И мы засыпали под его защитой. Но вот он, живой, вернулся с войны, и мы каждый день убеждались, что он сам разрушает тот образ, который мы долгими годами разлуки и маминой тоски по нему создавали в себе. Нас удивляло, что он такой суровый, резкий, несговорчивый, что для него нет ничего превыше работы.

Когда мы пришли на Голицу, где таинственно шептались колосья, отец вздохнул так глубоко, словно хотел вобрать в себя все это раздолье созревших хлебов.

Я толкнула братика в спину: давай, мол, послушаем, что говорят колосья. Но мы так ничего и не поняли.

Мы услышали только громкий голос отца:

— Овес уродился на славу. Голица точно создана для него, а Брезовец для ржи и ячменя. Только вот для пшеницы нет еще места. Попробуем-ка посеять украинскую. Какая на Украине пшеница, чисто море разливанное, когда колышутся колосья!

Он посмотрел поверх косовища на окрестные склоны и сказал:

— Море... Чистое море...

Мама сложила наши узелки и расстелила холстину на меже под кустами орешника. Мы все расположились на ней, кроме Бетки.

Я сорвала несколько цветиков и стала плести венок. Людка все запугивала братика, что трава осока острая как нож, и если по ней неосторожно пройти, то она может отрезать даже палец.

— Вот и враки,— заявила я, чтобы Юрко не боялся. Людка в последнее время любила все преувеличивать.

— А мне хоть верь, хоть не верь! — Она презрительно дернула плечом. — Ты даже не веришь, что на Голице жил отшельник.

Людка повернулась ко мне спиной и начала рассказывать Юрко сказку, которую мы уже знали.

А было это вот как. Однажды забрел издалека в наши края путник. Построил себе на Голице хибарку из орешника и коры лиственниц и стал тут жить. Он не обижал ни зверя, ни человека, собирал лечебные травы и исцелял хворых. Питался овсом, который сам сеял и косил на узком поле меж густым кустарником. А когда он умер, люди выкорчевали кустарник и стали сеять овес. Место назвали Голицей — без кустов оно совсем оголилось. Нигде в округе не родился такой прекрасный

буйный овес, как в этих краях. И говорили, случилось так потому, что тут ходил человек, который делал в жизни только добро и никогда никого не обидел.

— Что на Голице жил добрый человек, я верю, об этом даже тетка Гелена рассказывала.— Я продолжаю спорить с сестрой: — А что на горе у нашего дедушки пчелы вытащили из земли липу вместе с корнями, этому уж, конечно, не верю.

— А вот и вытащили,— настаивает на своем Людка.— Я сама это видела: пчелы сели на липу, каждая ухватилась за свой цветок, и все разом взлетели. Корни затрещали, земля подалась, и делу конец. Липу пчелы посадили перед пасекой: чтобы было близко летать за пыльцой.

— А липа же стоит на холме, ты врушка-болтушка,— ясно, что и братик не верит.

— Это новая липа,— упрямится Людка,— новую посадили, но теперь уже корни заложили камнями, чтобы пчелы не унесли ее. Поэтому у дедушки наверху такие огромные камни.

— Ты все нам врешь, я не верю тебе,— говорю я решительно,— выдумываешь всякие небылицы.

— Это вовсе не небылицы, а сказка,— не соглашается со мной сестра и, чтобы нам стало завидно — ведь мы так любим сказки,— добавляет: — Я почти каждый день придумываю новую. Понятно!

И вдруг что-то поражает меня, словно удар молнии. Сказки придумывает! Значит, Валилес никогда не ходил по этим местам. Батрак в постолах и холщовой рубаше никогда не отплясывал одземка перед царем. Сказку может придумать кто хочет. Я сержусь на Людку и вместе с тем чувствую, что и в меня невольно закрадывается желание придумать сказку. Только о чем? Ведь я никогда не пробовала, даже не имею понятия, как это делается. Но с этой минуты в меня вселяется странное беспокойство.

— Я расскажу вам о траве-осоке,— снова начинает Людка.

Братик собирается слушать. И я тоже, хочешь не хочешь.

— Осока — это заколдованные мечи короля Моцнара<sup>1</sup>, замок которого стоял на Остром бугре. Однажды...

Отцовская коса свистит где-то неподалеку. Мы вскакиваем и видим, что отец сердито поглядывает в нашу сторону. Должно быть, что-то неладно. Я опрометью бегу впереди всех к овсяному полю.

— Нечего им рассниживаться,— громко говорит отец маме, как бы укоряя ее,— могли бы хоть чертополох из овса выбирать.

— Пускай отдохнут малость. Ведь четыре года надсаживались, ровно скотинка. Пускай хоть почувствуют, что отец вернулся,— пытается защитить нас мама.

---

<sup>1</sup> Моцнар (слопиц.) — владыка.

Отец улыбнулся, но тут же посерьезнел. И сказал хоть и мягко, но как-то по-военному отрывисто:

— Пускай отдохнут, разве я против! Только нам надо из нужды выбиваться. Земли бы со временем прикупить.

Об этом мечтала и мама. Но ей хотелось, чтобы любой наш труд не только приносил пользу, но и радовал нас.

Она весело кивнула нам:

— Пошли, дети!

Юрко засунул руки в карманы штанов, недовольно покосил на полосы и с явной неохотой принялся за дело. Он даже поворчал, что чертополоху и в овсе хорошо.

— А вот овсу с чертополохом плохо,— сказала мама,— послушай, как он вздыхает.

Ветер клонил стебли к земле, шелестел колосьями, а временами посвистывал.

Нам казалось, что овес жалуется, стонет и плачет от боли. Мы бросились к скошенному овсу и стали вытаскивать из него чертей рогатых, как мы окрестили чертополох.

— Только осторожнее, не растрясите овес,— предупредила нас мама.

— Конечно,— строго добавил отец,— каждого зернышка жалко.

Теперь мы набирались мудрости и от мамы и от отца. Тогда сначала нам трудно было привыкнуть к отцовскому тону. Он всегда говорил так, будто приказывал. Однажды в школе учительница сказала нам, что дети, родившиеся под знаком Быка, очень сильные, а вот те, что родились под знаком Весов, раздумчивы и взвешивают как на весах каждое слово. Вот потому, должно быть, я и взвешивала каждый поступок отца и матери. Душой и рассудком я тянулась к маме, а отец привлекал нас всех силой, здоровьем и любовью к работе. Его силе мы просто дивились. Все добрые молодцы из сказок теперь казались нам похожими на него: все те, кто прошел через тридевять земель или сразил двенадцатиглавого дракона. Но те, кто отправился в далекий путь к солнцу, всегда походили на мою маму.

Вот и сейчас она сумела так сделать, что мы с радостью выбирали чертополох из овса и тресали без умолку. Тут же рядом с наслаждением размахивал косой отец. По шее у него скатывался пот. Он старался и нас приохотить к труду. Но после его возвращения нам хотелось вздохнуть полной грудью и, заложив руки за голову, вздремнуть где-нибудь в поле, хотелось на крыльях, как птице, перепархивать с межи на межу, от ручья к ручью, от родничка к родничку, погоняться по лугам за сверчками и бабочками. Или кружить в вышине вместе с ястребом, рисовать взглядом на небе цветы и мечтать об оленях и сернах. Вот так бы почувствовать, что к нам вер-

нулся наш отец. Вот так возместить себе то, что мы упустили.

После полудня, когда мы отдыхали под кустами, мама привлекла к себе Юрко, погладила его по каштановым волосам и заметила:

— Отец мечтает, чтоб ты стал уже взрослым. — Но, должно быть, поняв, что обмолвилась, постаралась тут же смягчить свои слова: — Работать надо, ясное дело. Отец прав. Иначе нам не выбиться из нужды. Только тяжко трудиться вам ни к чему. От этого дети хиреют. — Она поглядела на нас и грустно так улыбнулась: — Вам бы еще порезвиться на воле, птенчики вы мои. У вас и детства-то не было.

Положив голову ей на колени, я грелась на солнышке. Мамины слова все время звучали во мне, и я повторяла их про себя: «Вам бы еще порезвиться на воле, птенчики вы мои». В маминой речи слова обычно сочетались удивительно складно, как ни у кого в деревне. Я повторяла их за ней и заучивала наизусть.

Был полдень.

Солнышко стояло высоко, и я чувствовала, что его лучи опалют мое лицо, окрашивают мои щеки. Когда я открыла глаза, над нами промелькнула стайка вспугнутых птенцов. И слышались удары по наковальне.

В тени под орешником отец отбивал косу.

Наш обеденный отдых был прерван грохотом, раздавшимся где-то на верхушке Голицы.

Сначала это было похоже на треск ломающихся в бурю деревьев, но, прислушавшись, мы различили шум колес, лязг цепей и цокот копыт.

Мы повыскакивали из-под тенистых кустов, а отец побежал по меже вдоль необрунных хлебов. Именно оттуда во весь опор неслась в долину упряжка всполошенных каурых коней — светлые, вздыбленные гривы были словно из воска. За ними громыхала телега. Колеса оскальзывались по склону, того и гляди, перевернутся.

Отец издали с криком кинулся навстречу лошадям:

— Тпру... хорошие, тпру!

Мама оглянулась, в безопасности ли дети, и тут же предостерегла отца:

— Отойди, зашибут тебя.

Отец и бровью не повел. Он похож был на сказочного великана, готового ринуться в схватку. Он знал, что внизу крутой обрыв, коней ждет неминуемая гибель и хотел спасти их.

Бетка тоже кричала:

— Отец, они убьют вас!

— Жалко животных, — только и успел бросить он.

Раскинув руки, он стал прямо на пути лошадей. Но могут

ли лошади понять, что им желают добра? Они во весь опор неслись к обрыву. Отец стоял как вкопанный, и, когда, казалось, вот-вот произойдет самое страшное, лошади вдруг свернули и он успел ухватиться за вожжи. Изрядное расстояние лошади проволокли его по полю. Но он крепко держал их и чудом оттащил от обрыва. У межи правая пристяжная рванулась было еще раз, словно хотела перелететь через Острый бугор, но левая фыркала и била копытами, стоя на месте. Отец стал разговаривать с ними, ласково успокаивая их, и изо всех сил натягивал вожжи, чтобы их удержать. Мне в самом деле казалось, что это один из тех великанов, о которых нам рассказывали тетка Гелена и дядя Данё Павков.

Вскоре мы увидели спускавшихся по Голице Ондрушей. Оказалось, это были их лошади. Дядя Ондруш тут же стал похлопывать лошадей по холкам, пытаясь усмирить их, а тетка, вытащив из кустов хворостину, начала отгонять мух и оводов.

— Это оводы их напугали, целый рой прилетел с Хоча,— объясняла она.— Не будь вас, только бы мы их и видели.— Она с благодарностью посмотрела на отца: — Как же мы вам отплатим? — от всей души спрашивала тетка и тут же добавила: — Уж хотя бы ваш овес отсюда свезем.

— Да не помешало бы,— улыбнулся отец и сверкнул яркими серыми глазами.

У Ондруша рука дрогнула на гриве правой пристяжной, по лицу пробежала тень, и он как-то нерешительно протянул скупое:

— Хм...

Такое же «хм» я уже слышала от него однажды в начале войны, когда мама послала меня попросить у него лошадей, чтобы свезти рожь с Брезовца. Тогда он палкой прогнал меня со двора. Конечно, с отцом он не посмел бы так поступить. Отец был выше его на целую голову и гораздо шире в плечах. Он стоял на поле огромный, точно ель, сильный, как Валилес, смелый, как орел. Он вернулся умудренным из далекого края. Прошел сквозь войну. Видел, как пушки сокрушают леса. Видел, как падают и умирают люди, словно подкошенная трава. Он прошел сквозь тысячи бед и своих и чужих. Видел пылающие деревни и города. Видел убегавших от ужасов войны матерей, потерявших детей, и детей, тянувших руки к своим матерям. И только не видел, как в это страшное время дядя Ондруш замахнулся на меня палкой. Но мы-то с мамой знали, какой это жестокосердный и скупой человек, слепо приросший к своему богатству. Навсегда осталось в моей памяти его тягучее «хм». И когда я услышала это снова, то сразу поняла, что он замышляет: ведь я уже неплохо разбиралась в людях.

— Овес свезти? — повторил он, боясь при отце ответить нам прямо. — Хм, овес, — у него даже захрипело в горле, — ну, там поглядим.

И тетка Ондрушиха и мама обе вспыхнули и сказали отцу:

— Нечего было тебе ввязываться, пускай бы кони разбились.

— Коней жалко, — хмуро ответил отец, — не велика беда, если какой прохвост разобьется. Отведал бы того, что нам на войне довелось. Кто знает, может, еще и тут что завертится. Мужики приходят с винтовками.

Дядя сделал вид, будто не слышит, хлопнул коня по спине и сердито кивнул тетке, чтоб поторапливалась.

От лошадей шел пар, их шерсть обсыхала на горячем солнышке. Пар плавал над ними точно белый туман, который курится спозаранку в ложбинах. Тетка Ондрушиха, размахивая хворостиной, отгоняла от лошадей насекомых и громко спорила с дядей, чтобы он по-хорошему согласился свезти наш овес.

Она причитала, словно жалостно вытягивала одну ноту:

— Ну и крест мне с таким мужиком. Бедная я, разнесчастная!

— В самом деле, дурной человек, — сказала наша мама, — знает только себя. Из-за его лошадей мы чуть в беду не попали, а у него даже спасибо сказать язык не поворачивается.

Мы уже не вернулись к кустам посидеть, а тут же принялись за работу.

Но мы еще и начать-то толком не начали, как снова послышались крики. С Чертяжа заявился Петрань сводить счета с Ондрушем. Оказалось, что лошади вытоптали у него полоску пшеницы. Петрань требовал возместить убыток и грозился старостой и судом. Всю деревню призывал он в свидетели. До девятого колена проклинал Ондрушов род, вместе с его полями и урожаем.

— Уж договорились бы вы по-хорошему, — уговаривала его наша мама, — криком делу поможешь!

Подпрыгивая на короткой ноге и едва не лопаясь от злости, он продирался сквозь густой зеленый вейник, разросшийся вокруг болота у родничка.

— Разве с дьяволом согласишься? — орал он так, что в горле хрипело.

— Но ведь он не нарочно это подстроил, — взывал к его разуму отец.

— Пускай лучше приглядывает за лошадьми, раз уж он такой хваленый хозяин, — не сдавался Петрань. — Он у меня своей кровью умоется, выложит денежки, какие нажил в войну. По судам его затаскаю, не будь я Петранем!

— Ну, вы оба из одного теста сделаны,— махнула мама рукой, решив, что не стоит вмешиваться в их дела.

Петрань выдернул на меже лещину вместе с корнем и, ковыляя на кривой ноге, направился прямо к Ондрушам.

Отец пошел отбивать косу. Оселок свистел по ней. Мы только диву давались, как это он за четыре года не утратил сноровки в крестьянской работе. Но, говорят же, к чему лежит у человека душа, того он век не забудет. Рука его ловко скользила и сгибалась у острия, блестящего на солнышке.

Мы следили за его движениями, а он в это время говорил:

— Петрань прав, это не мужик, а дьявол. Я, конечно, мог бы не выручать его с лошадьми, но потом бы покоя не знал. Не по нутру мне, когда добро пропадает.

Он остановился и взором скользнул над Липтовскими лугами к высоченным вершинам, которые затянулись голубоватой дымкой.

— Не по нутру мне это,— повторил он.— Вот и в России какая теперь разруха. Словно огнем все опалило. Чего только человек не передумает! Сколько раз уговаривали нас вступить в армию повстанцев<sup>1</sup>. Но я видеть не мог, как переводят то, что уже есть. Остался я в госпитале ухаживать за ранеными. И там пригодился, и оттуда меня не отпускали. Всюду рук не хватало. А мне бы только домой да домой: перед глазами все этот овес на Голице и вот такая мирная работа.— Он снова остановился и улыбнулся.— Но кто знает, может, и тут разразится такая же буря. Поглядишь на такого вот Ондруша, и о любом убытке думать забудешь. Я нарочно его припугнул, что мужики возвращаются с винтовками.

Меж тем на Голице Ондруш с Петранем продолжали браниться. Дело дошло даже до драки.

— За пшеницу ты мне золотом заплатишь,— грозился Петрань,— люди подтвердят, что ты погнал туда лошадей, чтобы только извести мой урожай, глаза твои завидующие. Я тебя по судам затаскаю, покуда последней борозды не лишишься.

— Ах ты образина эдакая! — сипел Ондруш.— Я тебе покажу, как оскорблять человека. Я такого себе адвоката найду, что ты последнюю рубашку спустишь!

Петрань отбросил лещину и вцепился в Ондруша. Схватил его за горло, того и гляди, душу выбьет. Оба извивались, точно клубок змей. Тетка Ондрушиха подбежала к ним, пытаясь разнять.

Когда и это не помогло, она стала их совестить:

— Подавиться бы вам вашим богатством, может, тогда покой наступит на свете! Мало вам, что люди на войне гибнут, вы еще и тут из-за снопа пшеницы готовы глотку друг другу

---

<sup>1</sup> Здесь имеются в виду части Красной Армии..



перезгрызть. Ах вы скареды чертовы! Не позорьтесь, вся округа на вас смотрит. Из-за снопа пшеницы такую бучу подняли...

Уборка кончилась, хлеб стали свозить на гумно, зачастую ночью. Мы тоже как-то при свете фонаря сбрасывали с телеги ячмень в овин. Нам помогал Йожо Мацух. Мы с мамой старательно укладывали снопы пластами.

Юрко остался в горнице и, устроившись на кушетке, смотрел на багряный закат. Целое море кровавых облаков залило небо над пиками гор. Хоч сверкал, точно в огне, и горящие зори отражались на его вершине.

Сбросив ячмень на гумно, мы возвратились в дом. Братик встретил нас на пороге сеней. Он размахивал руками и кивал головой так, что его каштановый чуб весело подпрыгивал.

Мама заключила Юрко в объятия и похвалила за то, что он не плакал в одиночестве.

— Я только неба боялся, оно такое красное.

— Ты ведь знаешь, что это солнышко заходит, голубок ты мой, и бояться тут нечего.

Братик, успокоившись, повторил:

— Это солнышко заходит, и бояться нечего.

— Конечно,— еще раз подтвердила мама и опустила Юрко на пол.— Надо поскорей плиту растопить и приготовить ужин.

Мы побежали за шишками и хворостом. Вскоре огонь весело затрещал.

Отец с Йожо Мацухом толковали на завалинке об урожай.

Братик не забывал о красном небе и все время заговаривал об этом.

Глядя на занявшиеся в печи поленья, он спросил:

— А солнце тоже сделано из огня?

Мама задумалась. Она была несколько озадачена. Но тут же обрела уверенность и улыбнулась:

— Похоже, что из огня, раз греет. А вот что это за огонь, не скажу. Должно быть, какой-нибудь необычный.— Она подумала и вдруг словно заблудившийся путник, отыскавший дорогу, сказала:— Ведь вы должны были проходить это в школе.

Людка кивнула и вызвалась рассказать, что мы знаем о солнце. Она встала перед мамой, как перед учителем. Ноги вместе, опущенные руки плотно прижаты к телу. Не двигаясь, она глядела в мамино лицо и сыпала фразами по-мадьярски.

— Ну хорошо, хорошо,— сказала мама и вздохнула.— Только я не понимаю ни слова. Изволь, объясни это по-нашему.

— Я не знаю,— Людка пристыженно опустила глаза,— я не умею по-нашему, мы учим все на мадьярском.

— Но ведь надо же знать, чему тебя учат, доченька. Иначе

какой прок от такого ученья? Это же бессмысленная болтовня. И уж коль приходится вам все учить по-мадьярски, то хоть бы учительница объясняла вам, что к чему. Выйдете из школы совсем несмышленими.

Мы услышали, как отец вошел в сени. Мы узнали его по тяжелой, усталой походке. Он оперся рукой о дверной косяк и, прижавшись лбом к руке, заглянул в кухню.

Серьезным голосом он сказал:

— Наверное, учительнице приказали, чтобы они вышли из школы еще глупее, чем были, когда вошли в нее. Чем глупее, тем вернее.

Йожо Мацух, тоже привалившись к двери, смотрел на нас. Лицо у него нахмурилось, черные глаза вспыхнули, и он громко сказал:

— Они хорошо знают, что делают, иначе мы не сгребали бы грязь на дорогах ради господских колясок. Может, будь мы посмысленней, не пришлось бы нам чистить эти дороги.

Минуту спустя он потянул отца за рукав, и они вместе вышли во двор. Там они о чем-то толковали, как когда-то Федор и Михаил, когда готовились к побегу.

Вдруг Мацух насторожился, повернул голову в сторону дороги и с минуту стоял прислушиваясь. По мосту, недалеко от деревянной халупы, где до недавнего времени жили русские пленные, загремела телега. По легкому цоканью копыт можно было догадаться, что это телега из замка.

Я бежала через двор за новой охапкой дров, когда из-за угла нашего дома вынырнули лошади. И в спустившейся тьме мы увидели, что телега доверху набита господским скарбом: деревянными, плетеными и кожаными чемоданами. Они резко вырисовывались на красно-сером горизонте.

— Далеко ли собрались, Яно? — окликнул Мацух кучера.

— Господа в Пешт уезжают, — ответил тот и взмахнул кнутом.

Отец с Мацухом переглянулись, а Мацух при этом еще и брови поднял, точно хотел сказать: «Вот видишь!»

Когда я возвращалась из сарая с дровами, мимо нашего дома промелькнула коляска, за ней другая. В колясках сидели господа, одетые по-дорожному.

— У них земля горит под ногами, — засмеялся Мацух.

Но тут же улыбка застыла у него на губах.

За коляской бежала плачущая женщина. Приглядевшись, мы узнали нашу учительницу. Длинное летнее платье било ее по ногам и мешало бежать. Расстояние между женщиной и коляской стремительно увеличивалось. Протянув в отчаянье руки, она как бы пыталась сократить это расстояние. Но никто не обращал на нее внимания, кони ускорили свой бег.

— Маленький мой! — всхлипывала женщина.



И бесконечная мука этих слов передалась и нам. Руки у меня ослабли, и два полешка упали на землю. Какая-то недетская боль пронзила меня: в коляске от матери увозили ребенка. Последние нити, связывавшие их, в этот вечер должны были оборваться.

Учительница на повороте перед корчмой замедлила бег. Я видела, как она судорожно двигала пальцами, словно пыталась поймать в воздухе что-то недостижимое, и как рухнула на пыльную дорогу.

Ее подхватила тетка Ливориха, выбежавшая из ворот посмотреть, что происходит.

Я не знаю, что было дальше. Отец взял меня за плечи и подтолкнул в дом: нечего мне, мол, во все совать нос. Я хотела рассказать об этом маме, но не решалась: отец вошел следом за мной в кухню и поторопил с ужином.

После ужина он отправился ночевать к Мацухам.

Но в ту ночь им не удалось это сделать. Ливорова собака без устали лаяла, все норовила перескочить через забор, выла

и колотила лапами по штакетинам. Ливора несколько раз выходил наружу, осматривал постройку: беспокойство собаки и его лишило сна. Он все время был настороже, а отец с Мацухом не хотели, чтобы именно он поймал их с поличным. Им пришлось повременить с задуманным.

Я не помню, сколько времени прошло с того дня. Знаю только, что стояла уже осень. Кое-где еще свозили последний хлеб, и на картофельных полях горели костры. Задули холодные ветры, и люди кутались в теплые одежды. Мама обула нас в капцы и меня с братиком отправила в школу.

Капцы мне сшил дядя Данё Павков, а сукно для них дали дедушка с бабушкой с верхнего конца. Голенища их блестели, точно кожаные. Я поминутно разглядывала их под партой и показывала ребятам. Дядя Данё сказал мне, что если бы были подковки, он прибил бы их, чтобы позвякивали.

Сидим это мы с Теркой Порубяковой, разглядываем мои новые капцы под партой — я даже еще волосы со лба убрала, чтобы не лезли в глаза, — и вдруг слышу: удар линейкой по парте.

Передо мной стоит учительница: лицо у нее усталое, словно она не спала ночь, а глаза такие страдальческие, что меня охватывает бесконечная жалость. С тех пор как господа покинули замок в надежде, что в Пеште им будет спокойней, в деревне только и говорили об ее горе; ведь они увезли кусок ее жизни. Может, причину своих бед она видела в мыслях и поступках простых деревенских людей. Может, ей казалось, что страх перед ними выгнал из замков господ, а с ними и ее ребенка. Изнуренная, растерзанная, всеми мыслями устремленная к замку, она срывала свою злобу на всем, что попадалось ей на пути. И наверно, находила облегчение в этом.

Я увертываюсь от удара и поднимаю к вискам руки. Схватываю свою косичку, завязанную черной лентой. Другая болтается у меня по плечу. Радости от новых капцов как не бывало. И даже нет времени подумать, в чем же я провинилась.

Учительница кричит о какой-то доске. Я вспоминаю, что ночью сорвали со школьного здания доску с мадьярской надписью. Она кричит, что это дело рук моего отца и Йожо Мацуха, и ударяет меня линейкой по спине.

Когда я вернулась домой, все сразу поняли: что-то случилось. Отец спросил, а я откровенно рассказала обо всем, что произошло в школе.

— Она тебя била? — спрашивает отец сердито.

Мама из-за его спины делает знаки, чтобы я помалкивала.

— Нет, — отвечаю я.

— Ну ладно! — нахмурился он.

А когда отец ушел, мама обняла меня и долго прижимала к себе.

— Хорошо, что ты не сказала правду, ведь отец разорвал бы ее на части.

Я поверила в это и тотчас представила себе его: ведь какой же он сильный, если остановил Ондрушовых коней на Голице!

— А с другой стороны, сколько она для нас хорошего делала, отпускала вас из школы домой мне на подмогу. Разве я без вас бы управилась? — добавила мама, пытаясь хоть как-то оправдать учительницу.

Дней я не считала и даже не запомнила месяца. Знаю только, что стояла сухая осенняя пора и на откосах горели костры. Вокруг деревьев кружилась листва. Трава в саду, по другую сторону дороги, как раз под нашими окнами, была вытоптана детьми. Ливориха всегда кричала на нас, что мы уминаем ее, как сукно в ступах. Вороны слетались ближе к жилью и каркали на ветвях у ручьев.

В деревни все больше мужчин возвращались с фронта. Наш отец не вернулся на фронт, продлил побывку без разрешения властей и выжидал конца войны.

Однажды рано утром к нам пожаловал дедушка с нижнего конца. В бараньей шапке, в сапогах. Как обычно за ним притащился старый обессиленный пес. Когда дедушка присел на кушетку, пес устало расположился у ног. Было видно, что он доживает свой век.

Дедушка пришел с новостями:

— Вчера под вечер видел я дубравчан, они шагали куда-то вниз по деревне с винтовками. Только бы не натворили чего.— И тут же, как бы объясняя, добавил: — Штефан-то не возвращается, вот и спать не могу. Почти с полуночи бродил я по горнице. Почему же Штефан не возвращается, а дубравчане бойко расхаживают с винтовками?

Старому никто не поддакнул, никто не вступил с ним в разговор, маленькие еще лежали в постели. Бетка одевалась в уголке, а отец молился у окна боковой горницы, в которую медленно проникал рассвет.

В ногах у деда завозился старый пес, он от слабости уже не рычал, а только глухо посапывал.

Дедушка тоже заерзал и, как бы оскорбленный тем, что остался без ответа, крикнул сыну:

— Эй, парень, чего ты там вымаливаешь? Тут молишься, а в Галиции вы вроде бы от священника отворачивались.

Отец рассердился: как это ловко дедушка обратил против него его же рассказы о фронте. Но что было, то было, тут уж ничего не поделаешь. Отец хорошо помнил, как однажды вечером после работы он сидел на лавке у забора, а вокруг собрался народ.

Отец рассказывал:

— А домой я вот как попал. Когда стали обменивать пленных, я тоже явился вместе с остальными. Нас обменяли одного на одного и повезли наконец в нашу разлюбезную Галицию. Я не знаю, как называлось то местечко, оно дотла было выжжено. Но за местечком стояли бараки, там нас и высадили. Мы радовались — поближе все-таки к дому, и только вот голод изводил нас. Солдаты выкапывали в поле картошку и днем и ночью варили ее. Крестьяне пожаловались, им дали охрану. Но и это не помогло. Голодным солдатам было неумоги, они даже сломали заборы. А как мы только немного расправили кости, нас стали гонять на работу. Но кому охота не евши работать? И так уже были все взбудоражены, ребята даже хотели назад воротиться в Россию. К нам в бараки прислали священников, чтобы они выгнали из нас большевизм. Но они не то что не выгнали, а еще сильнее нас в нем убедили. Ребята даже слушать их не хотели, отворачивались от них. И так пошло-поехало: только священник появится, всех точно ветром сдует. Офицеры даже грозились оружием, да парням что! Их не запугаешь. «Стреляй!» — кричат, и все тут. А те измывались над нами, есть не давали, все поучали. Но скрутить нас не скрутили. Месяц спустя приказали нам садиться в вагоны и отправили по домам. Вот я и с вами.

Дядя Данё Павков постучал пальцем по лбу и многозначительно произнес:

— Так вот оно что! Теперь понятно, почему отправляют на фронт тех, кто вернулся из России. Смотри, как бы они и тебя не уекли.

Мы ни за какие блага на свете не отпустили бы нашего отца назад на войну. Разве можно было представить себе дом без него? Мы надеялись, что вот-вот случится что-то и разорвет эту цепь тревог, душившую нас.

Но кто мог подумать, что это произойдет именно в тот день, когда дедушка с нижнего конца рассказывал нам о дубравчанах, шагавших по деревне с винтовками. Ему в ответ отец только передернул плечами, недовольно обронил несколько слов и тотчас отправился выкапывать последнюю картошку на поле «У родника».

Я была немного простужена и осталась в постели.

После полудня с поля прибежала тетка Гелена накормить меня. В подарок она принесла мне ветку терновника и два кремешка, из которых при ударе сыпались искры.

Только подала она мне тарелку с супом, как на повороте перед корчмой послышались выстрелы. В верхнем конце деревни кто-то выстрелил в ответ. Эхо гулко отозвалось в горах. Тетка Гелена подбежала к окну и выглянула из-за герани. Я тоже не выдержала, соскочила с постели и стала на кушетке, протиснув голову между цветами.

Перед корчмой толпилось человек двадцать мужчин, вооруженных винтовками.

Несколько человек вывели корчмаря на крыльцо о двух белых столбах. У него тряслись руки, он едва держался на ногах. Кто-то крикнул, что его следует пристрелить. Тут же раздалось несколько выстрелов в воздух. Мужики окружили корчмаря, и нам уже не было видно, что они с ним делают. Спустя минуту четверо с винтовками повели его в подвал.

Мне стало страшно: я не понимала, что происходит. Начала было уговаривать тетку Гелену бежать в лес. Но она успокоила меня, смеясь сказала, что нам ничего не сделают, что это наши люди из Дубравы.

Только она меня успокоила, как отворились двери и с криком вбежала тетка Порубячиха.

— Наши, дубравские, новую войну начинают!

— Не городи вздор!

Тетка Гелена скривила губы, у нее на языке так и вертелось какое-то крепкое словцо. Видно было, что она сдерживается, пытается взять себя в руки, чтобы не внести еще большую путаницу в голову Порубячихи.

И она сказала почти что спокойно:

— Присядь-ка, голубушка. Ты что, никогда не слыхала выстрелов? Наш отец стрелял в саду по лисице.

— Но не из такой же винтовки! — возражает Порубячиха. — А эти всю деревню спалят.

— Что они, дети малые? Им, поди, ужасов тоже хватает. А корчмаря не грех припугнуть, поделом ему.

— Если бы с умом они это делали.

— А то как же, ясное дело, с умом, — убеждает ее тетка Гелена и повторяет: — Что они, дети малые?

Меж тем мужики выкатили из подвала огромную бочку со спиртом и поставили перед корчмой. Пока они прилаживали трубку, корчмарь вымученно улыбался и говорил, что эту бочку он нарочно прятал под досками, чтобы встретить с фронта солдат чистым, как слеза девы Марии, спиртным. Он-то небось хорошо знает, что необходимо для солдат. Ведь им силы надо восстанавливать. А чем их еще восстанавлишь, как не этим прозрачным питьем.

Через прилаженную трубку зашумел спирт. Его слегка разбавляли водой и пили, набираясь сил, как советовал корчмарь.

— Если бы писарь нас так потчевал, — смеялись мужики, — ему бы повезло больше.

Какой-то солдат стукнул корчмаря по плечу, и корчмарь криво усмехнулся. Он знал, что это только начало: пока суд да дело, с ним тоже всякое может случиться.

— Пейте, пейте, солдатушки, — спаивал он мужиков, чтобы





водкой задурманить им головы: авось ему не так лихо придется, как писарю. Писарь вынужден был открыть чулан и показать все, что награбил. Они повыкидывали оттуда мешки с мукой, колбасу, сало, потом схватили брынзу и, тыча ею в писаря, приговаривали:

— Вот тебе за меня!

— Вот тебе за сына.

Когда писарь потерял сознание, они бросили его почти бездыханного на груды раскиданных бумаг в канцелярии и ушли.

— Пусть околевает,— говорили они,— туда ему и дорога.

По пути мужики завернули и в замки, но хозяев там не оказалось. Господа не зря осторожничали. Может быть, отправившись в Пешт, они и в самом деле спаслись.

— Оно и лучше, что черт их отсюда унес, не придется нам с ними связываться. А поля обрабатываем, они и нас будут кормить.

Шумно галдя, мужики собирались идти на комитатский город, но сперва надо было расправиться с корчмарем. Только они не заметили, как ловко он их обхитрил.

— На комитатский город! — кричали они и пили.

Высокий красивый парень, отделившись от толпы, оглядывал ближние палисадники. Он хотел, чтобы солдаты цветами украсили шляпы и так вошли в город.

Под окнами тетки Липничанихи он увидел куст красных роз. Нигде в округе таких цветов не росло. Это была теткина гордость. Черенок будто бы давным-давно принес дед, ходивший на заработки в Пешт. Тетка даже для костела не сорвала ни цветка, а тут вдруг солдат с винтовкой разбежался, перескочил через ограду и грубо обломил куст.

— Не тронь розы, паршивец! — обрушилась на него тетка, высунувшись из окна.

Солдат сдернул с плеча винтовку и прицелился в женщину.

— Спасите, ради Христа! — закричала она.

Люди, возвращавшиеся с поля, схватили солдата и едва его образумили.

— Ты чего это в своих стреляешь!

Парень вырывался, свысока покрикивая на людей. Он, мол, знает, что делает. Ему никто не указ. С трудом оттащили его к солдатам, расположившимся у корчмы.

В тетке Порубячихе выиграла смелая дубравская кровь. Прямо от нас она кинулась к своим односельчанам. Собрав оборванные розы, она разделила их между ними. Чокнулась, отхлебнула глоток и по первому же слову готова была отправиться вместе со всеми в комитатский город. Ростом она была высокая, будто мужчина. Лицо суровое, красивое, а глаза черные как уголь.

Солдаты все еще продолжали выпивать и чокаяться, когда с нижнего конца деревни прибежал барабанщик Шимон Яворка и, задышавшись, прокричал:

— Писарь убежал, эх вы, шалопаи! Теперь жди жандармов. Его тайком увезли на телеге с соломой. Выпустили птичку из клетки.

Дубравчане схватились за хмельные головы, но было уже поздно.

Несколько дней они орудовали с винтовками по округе.

Из деревень тайком по ночам уходили те, у кого совесть была нечиста. Уезжали на телегах, а то шли пешком по проселочным дорогам, переодевшись до неузнаваемости. Они прихватывали с собой только золото и деньги. И радовались, что хоть жизнь спасли.

В комитатском городе расправлялись с богачами.

Матько Феранец стоял на тротуаре и смотрел то на людей, охваченных гневом и мстью, то на свои башмаки, которые залатал ему дядя Данё Павков, чтобы он мог присоединиться к тем, кто совершает перевороты.

Потрошили дом купчины Смоляра. Выволакивали на улицу все, чтобы раздать бедноте. Открыли склад и магазин. Брали, что попадалось под руку.

И в Матько заговорило чувство мести. Уж коль пришел час расплаты, то и ему захотелось отомстить за обиды. Сам бы он никогда не осмелился, но его подстрекал солдат, прятавшийся у него на чердаке. Солдат сказал, что его прислал дядя Данё, которого он встретил в лесу. Матько делился с ним едой. Натаскал с поля соломы из-под гороха и заложил ею угол, где стояла лубяная постель, доставшаяся ему вместе с домом. На чердаке у Матько солдат пробыл всего несколько дней, а потом бесследно исчез. Может, он воротился к жене в Дубраву, а может, она подыскала для него более надежное место. Или он бродил по лесам — кормился, верно, ягодами и мелким зверьем. Так или иначе, но сейчас Матько увидел его с винтовкой на плече среди солдат из окрестных деревень.

Матько вспомнил лубяную постель, на которой лежал солдат и ел принесенную ему тайком жидкую кашу на капле молока.

Вдруг солдат беспокойно ковырнул ногтем лубок и сказал:

— Я помню, Матё, как священник на уроке закона божьего пугал нас: не будете, мол, слушаться, господь бог накажет вас, как Матько. Ведь было такое, а?

— Да,— кивает Матько, и его неуверенный взгляд темнеет от гнева.— Сколько я из-за этого плакал укладкой!

— Как думаешь, Матё,— солдат наклоняется ближе,— за что бы господу богу тебя наказывать, а?

Взбешенный, он хватается Матько за отвороты ветхого пиджака и трясет так, что пиджак вот-вот лопнет.

— Не верь им! На войне у меня открылись глаза. Мне тоже один растолковал, что к чему. С той поры в меня точно сто чертей вселилось. Наши негодяи — одного поля ягода со всеми прохвостами на свете. Скажи, сколько тебе платят за работу, а? Спину гнешь от зари до зари. — Он притягивает его к себе и поворачивает лицом к свету, падавшему сквозь щель на крыше. — Глянь-ка, у тебя глаза, что у голодного волка, живот впал, а шея тощая, как у чибиса. — На свету Матькины светлые глаза кажутся совсем выцветшими. — Надо же, — он проводит ладонью по щекам, — одна кожа да кости, а кожа-то какая прозрачная. Сквозь нее все видно. — Он с сочувствием поглаживает Матько по лицу и добавляет: — Потому-то я и принес с собой винтовку. Тут тоже не худо бы навести порядок.

Он еще ближе притягивает к себе Матько за отвороты пиджака. Кажется, что в его руке зажата вся хилая Матькина грудь. Он уже больше не трясет его, а смеясь толкает в ворох соломы.

Из соломы торчат только Матькины ноги в дырявых башмаках.

Солдат говорит:

— Башмаки отдай починить: в такое-то время у мужика должна быть хорошая обувь.

Матько согласился.

Солдат в тот же день исчез с чердака, а Матько Феранец отнес Данё Павкову залатать свои башмаки.

Теперь он стоит на тротуаре, обутый в них, и смотрит, как потрошат дом купца-процентщика.

Солдат, который несколько дней отлеживался у него на лубяной постели, подстрекает народ: берите, мол, что кому нужно. Он проходит мимо Матько, но именно в этот момент, когда они должны были встретиться лицом к лицу, какая-то разъяренная женщина увлекает его за собой. Толпа как в муравейнике копошится в груде вещей, вынесенных из дома.

С площади, куда выкатили бочки со спиртным, тащатся захмелевшие мужики. Они поддерживают друг друга, так как еле стоят на ногах.

Один из них кричит:

— Пустите ему красного петуха, да и дело с концом!

Матько точно во сне видит огромный дом Смоляра, объятый пламенем. И сквозь треск огня он слышит материнские слова: «Я тогда у него служила. Это он виноват в моем несчастье». Так пускай полыхает дом, в котором унизили его мать. Пускай пламя взметнется до самого неба. Пускай в огне трещат кости Смоляра. На мгновение он останавливает себя — человеку с добрым сердцем вроде бы не пристало так думать.

Но вновь звучит голос матери: «Он хоть раз подал тебе кусок хлеба?» Нет, не подал! Перед глазами Матько проносится его горькое детство. Его домом был хлеб, а его всегдашними чувствами — голод, холод и страх. Никому до него не было дела. И если бы кто и поджег дом Смоляра, Матько видел бы в этом только справедливую кару.

Но в этот момент до него донеслись выстрелы со стороны железнодорожной станции.

Жандармы и таможенники подали предупредительный сигнал. Они все еще чувствуют себя хозяевами города.

Народ шарахается во все стороны. Стоит ли подвергать свою жизнь опасности. Остаются только солдаты, вернувшиеся с фронтов. Они ждут, но никто не появляется. Выходит, жандармы и таможенники чувствуют себя в безопасности уже только в своей казарме.

Матько тоже спасается бегством. Он убегает в самый дальний конец города. И не потому, что он боится за свою жизнь, нет, он просто еще не знает, как ему быть. Устраивать перевороты — дело не шуточное, для этого надо быть очень сильным и смелым. Может, завтра-послезавтра он и сумеет побороть свою слабость и забитость.

Каждый день он видит, как люди валом валят в комитатский город — кто на телегах, кто пешком. Грабят, растаскивают добро богатых торговцев. Хотят избавиться от голода, хотят насытиться. Но больше всего рассыпают, разливают и переводят добро без всякой нужды.

Дубравчане ежедневно увозят на телегах кучи награбленного. Из телег торчит разный хлам. Захмелевшие дубравчанки, расхрабрившись, похваляются, что теперь будут ходить только в шелках.

— Почитай, это будет самая господская деревня, — посмеиваются над ними наши.

Мы каждый вечер ждали, когда же пройдет вереница телег, что же нынче повезут на них? Ребята стайкой обычно провожали их до верхнего конца деревни. Однажды сестра тетки Порубячихи бросила нам несколько сухих пирожков. Дети подняли их и съели вместе с пылью. А как-то у дубравчан распоролся мешок с сахаром, и по дороге за телегой тянулась белая полоса. В такой нужде сахар был невиданной роскошью. Люди сгребали его и дома на столе перебирали, точно мак, по крупинкам.

Наша мама ходила какая-то странная, обеспокоенная и часто повторяла:

— Право слово, ничего такого я и не представляла себе. Что ж это за порядки такие? Хотя бы паленки этой проклятой не было. Да и можно ли сделать что-либо путное, когда голова во хмелю?

Я еще не могла как следует во всем разобраться, но как и мама тоже ненавидела водку. С детства нагляделась я на пьяных, которые били своих жен и выгоняли их с малыми детьми из дому в холодную ночь. Я знала людей, которые из-за водки лишились последней земли. А потом христарадничали. Встречались и такие, что, захмелев, сразу же хватались за ножи и погibelью грозили своим близким. Все, что я знала об этом дьявольском зелье, с детских лет пробудило во мне к нему ненависть. В нашей семье никто не пил. Пили, бывало, на донышке во время болезни да еще по большим праздникам.

И вот в те дни, когда кончилась война и, казалось бы, должно было прекратиться безмерное горе, корчмари исподтишка одурманивали этим ядом народ.

Однажды на повороте остановились телеги дубравчан, груженные господским скарбом. У возниц кнуты вываливались из рук, и, соскочив на дорогу, они еле держались на ногах. Женщины тихо смеялись и нестройно пели.

Мы подглядывали за ними, спрятавшись за вербами у ручья. Хоть они и были веселые, а мы побаивались их и подойти ближе к корчме не решались.

Вскоре поднялась ссора и крики. Мужики затеяли драку, а корчмарь меж тем услужливо подливал им в стаканчики. Мужики стали сводить счеты друг с другом.

Мы даже на дороге слышали, как один из них кричал:

— Ты до сих пор сеешь на борозде, что оттяпал у нас еще твой отец!

Потом этот дубравчанин выбежал вон, а воротился с топором из корчмарева сарая. И на ходу грозился со всеми расправиться. В корчме поднялся такой крик, что люди, еще издали заслышав его, пускались наутек.

На помощь прибежал наш отец с Матько Феранцем.

Мы видели в окно, как мужик размахивает топором, поблескивавшим в его руках.

— Надо отобрать у него топор, — сказал наш отец.

— Кому охота с чертом связываться, — поводили люди плечами.

Но медлить было нельзя, и отец заторопился к корчме.

— Газда, не ходите! — уговаривал его Матько и с жалостью поглядывал на нас.

Бетка бросилась следом за отцом. Она была самая смелая из нас. Не было бы отца, она и сама не побоялась бы выхватить топор у мужика, только бы предотвратить убийство.

Как раз в ту минуту, когда отец влетел в корчму, дубравчанин подходил к своему соседу. Отец сзади вырвал у него топор и выкинул в открытое окно. Мы видели, как топор, просвистев в воздухе, упал в кусты бузины. Мужик еще и опомниться не успел, а отец уже зашагал домой. Мы выбежали

к нему навстречу. Но он, обойдя нас, заторопился на Груник, чтобы сбить пьянчугу со следа.

Мы с Беткой бросились к маме. Заперли двери и тихонько сидели в горнице, украдкой поглядывая сквозь ветки герани на корчму. Мама тоже испугалась, но изо всех сил старалась казаться спокойной. У нее даже дрожали руки от страха, но она твердым, уверенным голосом сказала, что отец поступил правильно и что она на его месте сделала бы то же самое.

Но мы, дети, успокоились только тогда, когда увидели, что в корчму вошел Йожо Мацух и пригрозил корчмарю выгнать его из дома, если тот посмеет дать кому-нибудь еще хоть по маленькой. Дубравчанам он тоже сказал, что требовалось. Поневоле им пришлось взгромоздиться на телеги и отправиться восвояси.

В тот день я сидела на завалинке и играла в камешки. Вода так огладила их, что они стали совсем круглые, точно мраморные. Два камешка были белые, а один сероватый. Я собиралась было подняться — на завалинке сделалось уже холодно, — когда к нам во двор влетел на коне незнакомый солдат.

Я прикрыла ладонью глаза, хотя солнышко едва светило, и старалась получше разглядеть его. Я заметила только, что лицо у солдата разгоряченное и молодое. Но больше я ничего не увидела — конь так и играл под ним. Он крутился, тряс гривой. Но в конце концов все-таки успокоился.

И тут я поняла, что на коне сидит Милан Осадский.

В великом удивлении я соскочила с завалинки и прислонилась к дверной притолоке. Понуриив голову, я вся как-то съежилась, так обычно делают девушки, когда засмущаются. Милан улыбнулся, потом, прищутив глаза, внимательно посмотрел на меня. Я попятилась и закрыла руками лицо. И только сквозь пальцы я отважилась глядеть на него.

— А ты станешь красивой девушкой, — сказал он, — выросла-то как.

У меня прыгало сердце, я едва переводила дыхание. Мне казалось, что я умираю.

— А где же Бетка? — нетерпеливо спросил он.

Хорошо, что он это спросил, не то я бы погибла.

— У ручья, — отвечаю я и бегу на задворки к ручью. Я слышу, как Милан мне вслед громко и как-то необычно смеется.

Я и вымолвить не успела, что Милан вернулся, как Бетка, упустив наперник в воду, уже мчалась со стиральным вальком в руке по тропинке мимо гумна. Наперник мама подхватила в запруде у камня, который походил на цыганку Гану. Потом и мама заторопилась взглянуть на прибывшего.

— Да это же Милан, — здороваются она с ним издалека.

— Я, тетечка. Вот и вернулся.

Он окидывает нас быстрым взглядом, а потом глаза его спокойно и ласково останавливаются на Бетке. Бетка стоит недалеко от забора. Стоит, как расцветшая яблонька. С запястья руки капли воды стекают на валец. Это тот самый валец, который ей выстругал Федор. Она шевелит губами, хочет что-то сказать, может, даже крикнуть. Вдруг глубоко вздыхает, поднимает плечи, словно птица крылья, и бросается к Милану. Она припадает к гриве коня и гладит его. Милан касается волос девушки и при каждом прикосновении она еще теснее жмется к гриве его скакуна.

— Я пришел поглядеть на тебя.

Бетка смотрит ему в глаза, и мне впервые в жизни мир кажется прекрасным. Я счастлива за сестру, а может, немного и за себя. Я подрастаю, и мир моих чувств становится богаче.

— Пойдем в дом,— приглашает мама Милана.

— Я найду еще как-нибудь, побуду подольше,— говорит он,— а сейчас спешу к парням в Дубраву. Мы должны расправиться с жандармами и таможенниками в городе. Пусть дубравчане нынче покажут, на что они способны. Нас поведет молодой Пивко из Еловой.

Мы еще и белья не достирали в ручье, а дубравчане уже неслись на телегах. Милан Осадский летел впереди них, словно огненная молния.

Солдаты, собравшиеся со всей округи, ринулись на здание жандармерии. При первых же выстрелах погиб внук старой цыганки Ганы. Кровь струилась из тела и впитывалась в холодное дно канавы, где, точно в окопе, залегли солдаты. За зданием жандармерии извивалась серебристая речка в крутых берегах, устланных пожелтевшими листьями. Глаза, в которых сейчас угас свет, уже никогда ничего не увидят.

А скольких ожидает такая же участь! Но у кого есть время думать об этом, когда звучит команда:

— Вперед!

Перескакивая канаву, все бросаются на дорогу, кто-то второпях карабкается вверх по телефонному столбу и обрывает связь.

Жандармам и таможенникам становится ясно: теперь уж нет возможности ни вызвать подкрепление, ни спастись.

Первыми сдались таможенники. Они пускаются наутек через холодные серебристые волны реки. Им уже никогда не вернуться в комитатский город. Всякое сопротивление бесполезно. Это поняли и жандармы. Им волей-неволей пришлось сложить оружие, когда дубравчане ворвались в здание.

Все это время мы стояли дома у окна и ждали.

Бетке то и дело чудился цокот копыт.

— А вдруг конь принесет в стременах мертвого Милана? — зарыдала она, хотя слезы были не в ее характере.

— Не приведи, господи,— сказала мама, беспокойно расхаживая по горнице.— Но почему это должно случиться именно с Миланом? И думать об этом не надо.

Но мы только об этом и думали.

Я стояла рядом с Беткой и дышала в холодное оконное стекло. У моих губ стекло запотевало, а потом снова становилось прозрачным. Чем дольше мы ждали, тем чаще от нашего дыхания запотевало стекло. Я тоже беспокоилась за Милана и мыслями была вместе с ним в комитатском городе.

Была уже ночь, когда дубравчане с песнями возвращались домой.

Мы проснулись. Конечно, все хорошо, раз они возвращаются с песнями. Мама зажгла лампу, и отец пошел к Осадским. Мы не сомкнули глаз, пока он не явился назад с добрыми вестями.

А через несколько дней до нас донеслась новость еще более радостная, и на нашу школу прибили доску с надписью на словацком языке.

Мама с отцом отправились в город купить цветной материи на флаг. Они принесли белой, синей и красной. И мы все вместе кроили и шили. Отец в сарае красил еловую палку на древко. Она еще пахла смолой, когда он укрепил ее над слуховым окном дома, и мама развернула цветное полотнище. Оно реяло на осеннем ветру над палисадником, где на клумбах сияли последние цветы.

— Уж теперь вы будете жить по-другому,— говорила мама, улыбаясь нам сквозь морщинки, которые на ее лице высекла злая година.

И при этом она обнимала нас: ведь иной раз детей и приласкать не грех. Но делала она это украдкой, чтобы не видел отец. Ему не по душе были всякие нежности. Если кто хоть минуту не работал в поте лица, он считал это время пропащим. На все у него был один сказ: не потрудиться, так и хлеба не добиться. Выбиться из нищеты — вот что было его заветной мечтой.

— Ведь у детей даже детства не будет,— жаловалась мама своим родителям и тетке Гелене.

— Ну как бы не так,— одобряла тетка Гелена поведение отца.— И впрямь, без дела жить — только небо коптить.

— Да, но не надрываться же от зари до зари,— защищала мама нас и себя,— он и сам мог бы жить повольготней.

— Сперва купите себе коня и земли,— не уступала тетка Гелена.— Видать, господское добро не будут так просто делить, как это мыслил Яно Дюрчак из Еловой или Данё Павков. Обманула их эта волюшка. А Матько Феранец тоже, видать,



думал, что ему вместо хибары на болотах тут же замок пожалуют, а его мать сделают госпожой, потому как в Пеште она научилась мудрено выражаться и увиливать от работы.

— Оставь их в покое — ведь бедней их нету на свете, — одернула ее мама.

Тетка Гелена хотела еще что-то добавить, но тут заметила на мостках Катрену: на ней был пештский жакет и платье необычного покроя, обшито понизу шнуром с бахромой. Только волосы ее уже были причесаны по-нашему.

Она остановилась у порога и ждала.

Женщина жила подаванием — работать не позволяли ей больные руки. Мама всегда выносила и подавала ей больше, чем обычно нищим.

— А как Матько? — Мама никогда не забывала спросить о нем.

— Что ж, — ответила Катрена, задумавшись, — работает на лесопилке, да заработок копеечный. Если бы не добрые люди в деревне, мы бы давно уже гнили на кладбище. — Ее глаза полны слез, губы посинели и сморщились. — Слышать, господа возвращаются в замки и новым старостой будет Ливоров двоюродный брат, — добавляет она и вздыхает. — Таким, как мы, добра ждать не приходится. Не сегодня-завтра все пойдем по миру.

— Когда у человека руки здоровые, он хоть на еду зарабатывает, — размышляет наша мама, — а уж с больными куда кинешься. Худо вам, Катрена. Счастье еще, что Матько эта хибарка досталась.

У Катрены кривятся губы в улыбке, но глаза ее печальны. Она благодарит маму и идет к следующему дому.

Мы слышим, как она громыхает ручкой соседских дверей и не может открыть ее искалеченными пальцами.

— Да, что может быть хуже, — жалеет ее мама.

— Ну видишь, — прерывает маму тетка Гелена, — у нее только замки да господа на уме.

Мама знала, что в каких-то делах она никогда не столкнется с теткой Геленой — у них разные характеры, разные взгляды. Какой смысл спорить? Она начала о другом:

— Говорят, к Липничанам уже повестка пришла, что он погиб. Зудке тяжело будет без мужа. Была бы хоть она попроворнее. А то ведь только охи да вздохи.

Тетка Гелена ухмыляется:

— Порой таким легче бывает, они выплачутся да навздыхаются вволю.

Тетка повернулась ко мне и потянула меня за косу.

— А ты что делаешь?

Я разворачивала конфету, что принес мне дядя Штефан, вернувшийся недавно с войны. Я оставила себе ее на память

и время от времени с восхищением смотрела на нее. Это была драгоценная конфета, так как дядя Штефан, говорили, купил ее в Италии, где сражался. Все дома знали, что я берегу конфету как зеницу ока.

— Ну-ка, дай мне кусочек.— Тетка Гелена испытывает мою доброту.

— От нее? — Я удивляюсь ее просьбе и смотрю на нее с укором. Но вдруг мне приходит в голову, что я, пожалуй, дам ей кусочек конфеты, если она...— Если вы расскажете мне сказку.

Тетка Гелена обнимает меня.

— Сказку? И впрямь давно мы не сидели и не слушали сказки. Хотя нынче других сказок хватает. Вот господа возвращаются в замки, и Ливоров двоюродный брат будет старостой! Чудно, право. Уж не придется ли нам снова дороги чистить? А зима, видать, лютая будет. Стало быть, до самого судного дня нам льда хватит.— Она сердится и ударяет кулаком по ладони:— Ни за что на свете не пойду! Хо-хо, господа, теперь другие времена настали!

Мама, тихонько улыбаясь, подмигивала мне. А когда тетка Гелена ушла поделиться новостью с родителями, мама громко рассмеялась:

— Ну и ну! И Гелена отведала волюшки! А еще Катрену винит, что, мол, обо всем рассуждает.— И тут же обратилась ко мне:— Плохо таким, кто себя выше других ставит и ни с кем не считается. Вы были вот такусенькими, а я уже обо всем с вами советовалась. Один ум хорошо, а два-то лучше. У Гелены чудной характер, никак в толк не возьмет, что всякому своя рана больна. Да, видать, не по нраву ей рубить гололед, хоть она и работающая.

Зима в самом деле выпала очень суровая, и в некоторые замки вернулись господа. Но права у них были уже не те, они уже не могли посылать народ разгребать снег и колоть ледяные бугры на дороге. За дорогами начали следить новые власти. В замках жили много скромнее, и господские коляски все реже и реже мелькали на деревенских дорогах.

— Хоть они и вернулись, но век их прошел,— говорил дядя Данё,— не все коту масленица.

Дядя Данё старился на глазах, усыхал, ворчал за работой, от злости все резче стучал молотком по сапожной лапе. Мы слышали через стенку, как он работает в своей каморке.

Зимой мы больше сидели дома.

Только отец постоянно находил себе работу во дворе.

— Тебе не холодно? — окликала его мама из сеней.— Пойди обогрейся.

— Это только вы такие мерзлячки,— смеялся он.— Разве это мороз? Поглядели бы вы на сибирский.

Ему привольней всего было наружи, а мы с мамой работали в доме.

Она для каждого находила дело. Бетка с Людкой трепали шерсть для дедушки с бабушкой с верхнего конца — они обещали свалить нам новые капцы. Я вышивала крестом Юркину рубашку.

Однажды за вышиванием застал меня Милан Осадский. Когда он изредка заходил к нам, у меня всегда вспыхивали щеки и учащалось дыхание. На этот раз я была в горнице одна и, чтобы скрыть смущение, старательно работала иглой со светло-голубой ниткой.

— Бетка дома? — спросил он.

Я покачала головой и сказала, что мама послала их с Людкой на мельницу. Сказав это, я еще усерднее склонилась над полотном.

Он подошел ближе посмотреть, что я делаю. Но это был только повод. Он неожиданно схватил меня за подбородок и, резко откинув голову назад, в упор поглядел мне в глаза.

Внимательно смотрел какое-то время, а потом сказал:

— У тебя глаза, как у серны.

В эту минуту мама открыла дверь.

Милан так быстро повернулся на каблуках, что даже звякнула об пол подковка. Пока он говорил с мамой, сердце у меня так и прыгало, а в ушах стоял звон подковки.

Немного погодя мама заметила:

— Гляжу я, Милан и с тобой заигрывает, но ты еще не распутившийся цветок, совсем дитя. Уж оставим его старшенькой. А тебе надо учиться. Тебя ждет другая жизнь. Ты Милану, видать, нравишься, я слышала, как он сказал, что у тебя глаза, как у серны.

Я смутилась и хотела было прикрыть руками лицо, но бросилась к маме на грудь.

— Тебе нечего стыдиться, — успокаивала она меня, — у тебя и впрямь глаза, как у серны. Посмотри-ка в зеркало, серо-голубые в коричневых пятнышках. — Она прижала меня к себе и с нежностью прошептала: — Козочка ты моя...

С той поры я всегда пряталась, когда Милан заходил к нам. А во сне мне слышался звон подковки и мамины слова о нераспустившемся цветке.

Тетка Осадская снова зачистила к нам. Говорила, что свадьба Милана должна продолжаться по меньшей мере три дня, тем паче, что и муж ее благополучно вернулся с войны. Любуясь Беткой, она не могла нарадоваться, что у Милана такая невеста.

А я с нетерпением ждала весны, чтобы порезвиться на приволье, а не прятаться по углам в доме.

Пришла новая весна.



Мы встречали ее с большей радостью, чем прошлые. Еще и потому, конечно, что наш отец не должен был уходить на войну.

Для меня она была особенно прекрасной. Каждую новую почку на дереве я сотни раз ласкала глазами. Я прислушивалась к каждому всплеску ручья. Мне казалось, что все птицы в округе поют для меня, что цветы цветут для меня и ветры дуют только для того, чтобы расплести мне косы.

Я снова вернулась к своим камням на верхнем ручье. Среди них вырос высокий сильный побег вербы. Один-одинешенек. Я никогда никому не проговорила, как я его назвала. Но стоило взглянуть на него, как мне мерещилось, что Милан Осадский, посвистывая, идет под нашими окнами вверх по деревне.

В эту пору я нашла мамину тетрадь со стихами, покрытую пылью. Я старательно обтерла ее и стала записывать в нее свои собственные стихи. Ни одна строчка не была похожа на мамины. Я сама понимала, что никто не должен их видеть. И нашла для тетради тайное укрытие. Я прятала ее глубоко среди камней на берегу верхнего ручья и ежедневно приходила

к ней. Серые огромные валуны ничего не выдали, хотя в своем воображении я и наделяла их человеческими чертами.

Чаще всего я ходила на луга или в кустарник на Груник и там потихоньку исписывала страницы тетради.

Груник я знала вдоль и поперек, Ранней весной он покрывался розовым ковром безвременника. Потом начинала зеленеть трава, буйная и сочная. В ней белели ромашки и сверкали желтые лютики. Я опускалась в траву и провожала взглядом серые и белые облака, которые плыли над Хочем неведомо куда.

Однажды мне повстречалась тетка Липничаниха. Она несла за спиной узелок, а в руке ведро, мотыгу и грабли. Тетка, часто останавливаясь, переводила дух и все охала.

— Ох и горек вдовый век,— вздыхала она.— Я только ума не приложу, почему именно меня господь бог наказал? Ни подмоги, ни сил, ровным счетом ничегошеньки. Видать, конец мне приходит.

Я поднялась из травы, невозможно было слушать эти жалобы и вздохи.

— Я помогу вам, тетечка,— предлагаю я ей.— Давайте сюда ваш узелок.

Тетка отказывается, говорит, тяжело, она, мол, сама свой крест понесет.

— Да нет, тетечка,— убеждаю я ее,— вдвоем нам будет легче и веселей. Я расскажу вам, как Йожо Мацух обхитрил барина в России. У барина в загоне было двести прекрасных коней, а у крестьян одни одры, от которых и проку-то никакого.

Тетка отвязывает узел и вешает на меня.

— А не тяжело ли тебе?

— Нет, тетечка. Идемте, я вам расскажу, что было дальше. Теперь вам будет легче идти, да и посмеетесь, вот увидите. Йожо сторожил коней, которые нежились в загоне только так, для потехи. Ему стало жалко крестьян, вот он и посоветовал им обменять своих отошальных коней на сытых господских. Они так и сделали. Конь мог быть хоть хромой, да только той же масти. Ведь правда смешно, тетечка?

Тетка останавливается и косится на меня.

— Разве вам не смешно? — спрашиваю я ее.— Вам не понравилось?

— А моему отцу понравилось бы,— ворчит она,— если бы кто у него добрых коней обменял на дохлятину?

— У нашего отца никогда не будет такого табуна. Что вы говорите, тетечка? У нас был один, да и того забрали на войну. Нам еще сколько спину гнуть надо, чтобы такого купить. А мне эта история очень даже понравилась. Йожо рассказывал ее у нас людям.

— Нет, мне не нравится,— не соглашается со мной тетка,— ты не учишь такому. На что лучше сказки про Златовласку, про

Локтибрада<sup>1</sup> или та, — она задумалась, — та, в которой кричат: «Гуси, гуси, не видали ли вы моей мамоньки?»

— Тетка Гелена сказала, что теперь новых сказок хватает, — говорю я. — Я каждый вечер слушаю, как мужчины на бревне у ручья беседуют. Спрячусь за забором, вот и найди меня!

— Ну погоди! — угрожает мне тетка. — Я расскажу твоей маме.

Я останавливаюсь и надуваю губы.

— Знала бы, что вы такая, ни за что не потащила бы ваш узелок в гору, но уж раз мы пришли, снимите его.

А пока она снимает, к нам подходит тетка Мацухова, веселая, улыбающаяся. Ее смешить не надо. Да и то правда, ей не по ком тужить. Ее Йожо вернулся и столько всяких озорных историй нарасказывал, совсем свеженьких.

— Ну, развлекай теперь тетку Мацухову, болтушка, а за помощь тебе спасибо.

Но тетке Мацуховой со мной не по пути — я пошла бродить по Грунику. Утомившись, присела в сосняке и смотрела, как высоко в небе кружат ястребы.

Вдруг один отделился и стремглав ринулся во двор тетки Вероны. В когтях он поднял наседку, что ходила с цыплятами. От нее в канаве у Теплицы остались одни перышки.

Мое детское сердце зашло от жалости к цыплятам. Я тут же подумала: а что, если бы я вот так же потеряла маму? И когда тетка Верона пришла к нам поплакаться, я согласилась присмотреть за цыплятами. У нас всегда кто-нибудь был дома, а тетке Вероне приходилось обрабатывать господское поле — за это господа давали бедным клочок земли под картошку.

Вернувшись из школы, я тотчас убегала на Груник приглядеть за цыплятами и дать им корму. У тетки Вероны были и утята, но они бродили у ручейков и во мне не нуждались.

Дома дивились, отчего это я охотно хожу на Груник и терпеливо сижу в пустом дворе. Но я не чувствовала себя одинокой. Нигде лес и небо не были такими близкими мне. Нигде не было столько цветов и не росла такая густая трава. Отсюда по холмам разбегались дороги. С вершины Груника видна была и дорога в комитатский город. За ней широкая река, вдоль которой мчался поезд, увозя людей в мир. Может, однажды и я поеду на поезде через скалистую долину в широкие дали: ведь мама говорила, что меня ожидает другая жизнь.

Но в ту пору каждым своим вздохом я была связана с Груником и со всем, что его окружало. И хоть я и не научилась понимать, о чем говорят еловые склоны и светлячки, но я

---

<sup>1</sup> Локтибрад — сказочный герой, маленький старичок с длинной бородой.

узнала тысячи сказок, словно бы написанных крыльями белых и пестрых бабочек в воздухе над нашей округой. На Грунике в одиночестве я повторяла их.

Однажды я сидела на ступеньках опустелого замка, готовила школьные уроки и следила, чтобы ястреб не залетел во двор. И вдруг вижу: сквозь выломанные доски забора протискивается тетка Ливориха. Одета она была по-рабочему, на спине белый полотняный узелок, платье повязано новым передником из набивной синей материи. На ногах туфли на толстой подошве, на голове чистый крахмальный платок. Сразу видать, хозяйка из богатого дома. Держалась она с достоинством, печаль не гнула ее к земле. Война не нанесла ей никакого убытку, напротив, Ливоры, набив кошельки, расширили свое хозяйство и даже взяли еще одного батрака. Как же ей не задирать нос. Ее спесь не знала границ. Она уверенно вошла и во двор тетки Вероны. Как раз смеркалось, и цыплята прятались в своем укрытии под крышей сарая. Тетка Ливориха направилась прямо к ним, задрала передник и стала складывать в него цыплят.

Я вскочила со ступенек, хотя в своем детском воображении и представить себе не могла, что делать с этим ястребом в человечесьем обличье. Я только схватилась и сбежала вниз по лестнице.

Тетка Ливориха взвизгнула и высыпала цыплят на землю. Страхнула передник, краешком глаза посмотрела на меня и заторопилась прочь по тропинке мимо хибарки батраков. Сердито хлопнула калиткой и, спускаясь в долину, по пути обрывала листья и цветы с кустов, росших у дороги.

Я подождала во дворе, пока не вернулась тетка Верона. Она прихрамывала и едва тащилась от усталости. Опершись о мотыгу, присела на пороге дома и потеряла натруженные руки.

— Три шкуры с человека дерут за мешок картошки! — сокрушалась тетка. — Да, не чаяли мы, не гадали, что все так обернется, когда кончится война. Голытьбой были, голытьбой и остались.

— А тетка Ливориха хотела забрать у вас цыплят, — добавляю я и жмусь к тетке, потому что становится холоднее.

Тетка прикрывает мне колени краем юбки, трет озябшую спину и говорит о Ливорихе:

— Конца-краю нету им жадности. Да чему удивляться! Наверное, так и должно быть, это дьявол им голову заморочил, как говорил Яно Дюрчак из Еловой. — Она замолчала, погладила меня по спине и, глядя в землю, сказала: — Не повезло этому бедолаге, а как надеялся. Ничего не поделаешь! — И она глубоко вздохнула.

Тетка отослала меня домой, начинало темнеть.

По дороге я зашла посмотреть на побег вербы у верхнего



ручья — я всегда делала это перед сном. Листья его колыхались по ветру, и он кланялся мне. Я хотела ему улыбнуться, но почувствовала вдруг, как что-то угнетает меня и мешает по-настоящему радоваться.

Мне захотелось прижаться к маме.

— Ну что, моя ластынька? — встретила она меня.

— У тетки Вероны хотели украсть цыплят... — выдохнула я разом, чтобы мне стало легче.

Выслушав меня, мама сказала:

— Война кончилась, но дурные люди остались. Только ты не переживай по всякому поводу. Это как камень наваливается на человека. Ты относись ко всему попроще, полегче. Не подрезай сама себе крылышки.

Мама уложила меня в постель, но я долго не могла уснуть. Ее слова точно витали надо мной, и я повторяла их беспрестанно: «Не подрезай сама себе крылышки. Огнись ко всему попроще, полегче, попроще, полегче...»

Какими пестрыми были облака, что тянулись через наш край! В хорошую погоду высоко плыли белые и позолоченные



солнышком. Когда же с севера дули холодные ветры, пронесли свинцовые тучи. Перед грозой вокруг Хоча собиралась темно-синяя, почти черная хмара. А когда время близилось к вечеру, на западе розовели зори.

Я целыми часами могла глядеть на облака, как они стаями тянулись по небу, словно бы дикие гуси. И с таким же точно увлечением я смотрела на воду в ручьях, на птиц над домами, на бабочек в воздухе, на все, что стремилось в иные края. Я мечтала пройтись хотя бы по нашей узкой долине с крутыми откосами и увидеть, что же за ней.

Но мама говорила, что я еще маленькая, что такие дети без родителей, словно неоперившиеся птенцы, выпавшие из гнезда.

— Ты сперва подрасти и побольше узнай,— утешала она меня.

Конечно, мама была права: я росла и набиралась ума.

— И вправду, знайка дорожкой бежит, а незнайка на печи лежит,— подтверждала и бабушка, сидя на бревнышке у нас во дворе.

Отец пилил дрова, привезенные вместе с дядей Штефаном и Шимоном Яворкой из Дикого лаза. Шимон с отцом пилили, а дядя колот поленья. Мы, дети, складывали их под навесом в саду.

Мама вынесла мужчинам поесть и предложила бабушке.

Пила затихла, шум вокруг дров прекратился. Мы тотчас этим воспользовались. Людка принялась доделывать обструганной палочкой своего человечка из глины. Она говорила, что это овчар с бадьей. Она и для овец принесла кусочек глины. Сестра хотела сделать целый загон со сторожевой собакой Дунчей. Ее уже не занимали шалости, потерял для нее свое очарование и Мишо Кубачка, хотя он и воротился с войны целый и невредимый.

Братик Юрко отправился к своему домику, который он строил из камней и глины.

Пока я раздумывала, чем бы заняться, с Груника притащилась тетка Верона.

Сгорбившись, она сжимала больную ногу над коленом и жаловалась:

— Я всю ее умаяла со вчерашнего дня. Обыскалась я своего утеночка. Нигде его нет. Куда он запропастился, бедняжка? Еще вчера утром их было восемь. А теперь, сколько не пересчитываю, все выходит нечет.

Отец подкатил тетке колоду, но она так и не села: прислонясь к ней, продолжала стоять как на иголках и в расстройстве била себя кулаком в грудь:

— Утеночек мой, сиротинушка моя, где же ты? Небось пропадаешь от голода и жажды?

Мы стали спрашивать ее:

— А в самом ли деле пропал он?

— Конечно, пропал,— кивает она,— и не иначе, как он у Ливоров в саду. Накопали они там ям с десяток: яблони сажать собираются. Ходила я к ним, да они меня даже в хлев не пустили поглядеть, нет ли его там среди птицы.

Дядя Данё крикнул со своего обычного места на завалянке:

— Они такой шум подымут, сразу отстанешь, особенно теперь, когда у них брат заделался старостой!

— А что,— всполошилась вдруг бабушка,— если он и вправду свалился в какую из ям? Когда мы вчера шли на Глиниско, то слышали из их сада криканье. Да вот внучка,— она показала на Людку, лепившую из глины человечка,— побежала было взглянуть, а дедушка одернул ее, мол, еще на нас свалят, что мы его обидели. И велел нам спокойно идти на Глиниско. А когда вечером возвращались, уж ничего не слышно было. Только Ливоры расхаживали по двору. Должно быть, они его вытащили и загнали к себе.

Наша мама пошла поглядеть к ручью — там всегда плевались Ливоровы утята. Мы часто сердились, что они мутят воду. А сейчас вода была чистенькая, журчала на утреннем солнце, хоронилась под мостками, как дети, играющие в прятки, и снова появлялась на другой стороне — веселая, улыбающаяся, сверкающая.

— И вправду, нынче не видать Ливоровой птицы,— сказала мама,— готова об заклад биться, что мы угадали.

Дядя Данё смеется:

— Подкормят, зарежут и будут утятинкой на даровщинку лакомиться.

Тетка Верона все горевала:

— Бедный мой утенок!

Пока взрослые разговаривали и утешали, как могли, тетку Верону, я села на мостки и ждала, не покажутся ли утята. Я смотрела вверх на мелководный ручей, в котором с утра купалось солнышко. У него был трепанный чуб, как у озорного мальчишки. Я позвала Юрко, и мы вместе пытались поймать его за чуб. Но потом оно переместилось к запруде пониже мостков и застыло в неподвижности, словно золотая монета, кинутая кем-то на дно. Только рябь играла над ней. Братiku это наскучило, и он убежал достраивать дом.

В одиночестве я гляжу на солнышко и размышляю о пропавшем утенке. Вот уж и впрямь бедняжка. А что, если б я потерялась? Что, если б меня забрали чужие люди? Что, если бы я никогда не смогла вернуться домой? Я прикусила губы, чтобы отогнать эти ужасные мысли. А утенка мне было по-прежнему жалко. И вдруг мне пришло в голову: спросить бы совета у солнышка. Частенько мы слушали сказку, что оно с высоты заглядывает во все уголки на земле и подсказывает

человеку правильный путь. Но солнце в нашей запруде стоит словно бы заколдованное. Конечно, оно ни о чем не знает: оно давно скрылось за горами, когда Ливориха вытаскивала утенка тетки Вероны из ямы и загоняла к своим.

Бедная тетка Верона! Недавно ястреб унес у нее наседку, теперь пропал утенок. Вот уж правда: где тонко, там и рвется.

— Вот ведь: хоть из кожи лезь вон, а толку никакого,— говорит Шимо и будто глотает—кадык его ходит вверх-вниз.— Но ничего,— он поднимает палец и дает понять, что еще не все потеряно,— таскал волк, потащат и волка!

И меня подбадривает Шимонов палец, я вскакиваю и бегу к Людке и Юрко. Сходить бы поискать утенка в канавках. Но Людка и слушать не желает. У нее свои дела, ни за что на свете она не оторвется от них.

В последнее время она увлеченно наносила целые кучи глины из-под Глиниска. Там была яма, оставшаяся якобы после гончара, который когда-то обжигал горшки в деревне. С той поры как Людка обнаружила ее, весь наш дом был завален куклами и зверятами. Повсюду во дворе сушились всякие глиняные чудища. Отец сердился: куда, мол, ни ступишь, всюду к подошвам прилипает глина и мешает работать. Мама прибила в саду под навесом доску и велела Людке там сушить свои побрякушки. Из-за этой глины Людка даже сна лишилась. Уже на рассвете она вертелась в постели, нетерпеливо дожидаясь, когда же можно будет подняться. Разве бросит она овчара с бадьей ради утенка?

Подошел братик. Ему-то было все равно, когда достраивать дом. Мы взялись за руки и побрели по склону, заросшему калужницей и первоцветом.

В заливе на Теплице мы нашли Ливорову птицу. Утки опускали свои желтые клювы в трясину, вытаскивали из ила червячков и заглатывали их. Мы спокойно смогли пересчитать утят. Их было двенадцать, а у Ливоров до этого было только одиннадцать. Этот двенадцатый был гораздо меньше остальных. Его сразу же можно было узнать. Держался он неуверенно, боязливо, иногда его даже отгоняли.

Мы бегом припустились к нам во двор сказать, что нашли утенка.

Тетка Верона тут же отправилась к старосте, но ничего не добилась.

— Чему удивляться,— дядя Данё еще резче затюкал молотком по гвоздю,— ведь он ему двоюродный брат, оба из одной плахи вытесаны.

А Верона, так и не присев, заковыляла на Груник.

— Нет правды на свете,— охала она.

Прошло несколько дней.

Ливоры уже не загоняли свою птицу на Теплицу. Она

спокойно копошилась во всех ручьях. Ливориха гордо расхаживала по деревне — посмей-ка хоть пальцем тронуть ее.

— Ни стыда, ни совести в ней, — шептались деревенские.

Всякий раз, когда утки спускались вниз по ручью, наша мама сглатывала слюну, словно горечь жгла ей язык. Иной раз она останавливалась над запрудой, набирая в ведро воду. Я чувствовала, что она о чем-то раздумывает и к чему-то готовится.

Было облачно, я сидела на краю мостков и била пятками по воде. Утята спали в мелком ручье ниже запруды. Утенок тетки Вероны сидел чуть поодаль. Сидел тут же у валунов, которыми была перекрыта вода. Когда я ударяла ногой по воде и взбивала брызги, он подмигивал мне глазом.

Мама присела на мостках — этого она никогда обычно не делала. Она всегда торопилась, у нее никогда не было времени. Но тут она положила руки на колени и, казалось, слушала, как поет ручей.

Вдруг она в упор посмотрела на меня. В глазах у нее тлели искорки словно угольки, присыпанные пеплом.

Она тихонько обратилась ко мне, чтобы нас никто не подслушал:

— Давай-ка с тобой постоим за правду, что скажешь?

Я сразу поняла, мне ничего не надо было объяснять. У меня загорелись глаза.

— Ладно, — кивнула я.

Мама сняла передник и встала. Наклонившись над запрудой, она схватила утенка тетки Вероны, укутала его в фартук и протянула мне со словами:

— Бери-ка его и беги. Пусти его в лаз под воротами во двор.

Я побежала на Груник. У меня словно бы крылья выросли за спиной. Какое счастье, что утенок вернется к своим! Мне стало так радостно на душе, будто это я возвращалась к маме. Вдруг утенок начал биться в фартуке. А что, если он закричит? Что, если меня кто-нибудь встретит? В страхе прижимаю его к себе и пытаюсь успокоить теплом своих рук и про себя уговариваю его помолчать. Так будет лучше для нас обоих. У утенка закрыты глаза, он и не знает, куда я его несу. Но он вроде бы понял, прижался ко мне и молчит. Перед калиткой я развернула его и пустила в лаз во двор, как велела мне мама. Сквозь шелку в заборе я разглядела, как он сломя голову понесся к остальным. И они приветствовали его криканьем. Как раз в эту минуту тетка Верона вышла во двор. С тех пор как у нее начала пропадать птица, она по десять раз на дню пересчитывала птенцов — нет ли опять какой недостачи.

Она тотчас начала:

— Один, два, три, четыре...

Насчитала восемь утят.

— Один, два, три...— начала она снова и подошла к ним, чтобы лучше видеть.

Протерла глаза и опять стала считать.

Каждый раз их оказывалось восемь — выходит, старческие глаза ее не обманывают. Вернулся! Она улыбается, радость разливается по ее лицу.

Она бросается с меркой за ячменем в сени и все приговаривает:

— Господи, воротился!

Я уже не стала больше ждать, а побежала вниз по Грунику к маме. Мне сделалось так легко, будто камень свалился с груди. Я дышала свободно и глубоко. Мне казалось, что мы с мамой одолели двенадцатиголового дракона.

Заметив пустой фартук, мама посмотрела на меня с удовлетворением. Поняла, что все обошлось хорошо.

Мне хотелось рассказать ей, как тетка Верона радовалась и как утята кричали, но мама взяла меня за плечи и ввела в горницу. Повязала фартук и присела на стул у окна, до половины заставленного геранью.

На полу посреди горницы играли солнечные лучи, прорываясь сквозь тучи. В соседней горнице, где спали Бетка с Людкой, ветер вздувал занавеску и раскачивал двери, словно собиралась гроза.

По дороге легко катила коляска: это наша учительница возвращалась из больницы. В те мятежные дни она тяжело заболела, ее, должно быть, грызла тоска по ребенку, которого увезли неведомо куда и которого она никогда уже не увидит.

Когда коляска загремела по мосту, мама посадила меня на колени, погладила по руке и, отчеканивая каждое слово, сказала:

— А теперь обещай мне, что никогда никому не расскажешь, что мы сделали с утенком. Ливоры нам родня, если узнают — съедят нас. И вовсе не обязательно хвастаться, главное, что мы сделали доброе дело. И еще: пусть для тебя это будет уроком в жизни. Даже тетке Вероне мы не откроемся. Пусть это лежит в нас, как камень в глубине колодца.

— Ладно,— кивнула я, и маме этого было достаточно.

Нашу тайну я заперла в себе на триста замков и треста ключей. И ни единым словом, ни даже намеком никогда не обмолвилась. Только самой себе, бывало, рассказывала, как мы с мамой постояли за справедливость и одолели двенадцатиглавого дракона. Нелегко было подавить в себе искушение. Но я чувствовала, что в глаза мне каждый день заглядывали все вершины вокруг и что они первые догадались бы, если бы я не сдержала слова. Я верила, что они шепнут об этом узкой

скалистой долине, по которой проходит дорога из нашего края в мир, и она сомкнется передо мною, когда я отправлюсь по ней.

Пусть простит мне седая мама, что столько лет спустя в этой книжке я все же решилась открыть нашу тайну. И пусть не смыкается передо мной скалистая, прорезанная серебристой рекой долина, по которой я возвращаюсь в свое детство.

Для среднего и старшего возраста

Маргита Фигули

ДЕТСТВО

П о в е с т ь

ИБ № 1394

Ответственный редактор

*Н. С. Дроздова*

Художественный редактор

*О. К. Кондакова*

Технический редактор

*Е. М. Захарова*

Корректоры

*Э. Л. Лофенфельд и Н. Г. Худякова*

Сдано в набор 21/VII 1977 г. Подписано к печати 16/III 1978 г. Формат 60×90/16. Бум. офс. № 1. Шрифт литер. Печать офс. Усл. печ. л. 18. Уч.-изд. л. 18,97. Тираж 75 000 экз. Заказ № 871. Цена 80 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр. М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата Совета Министров РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

**Фигули М.**

- Ф49** Детство: Повесть. Пер. со словац. и предисл. Н. Шульгиной; Рис. Л. Нессельмана. М.: Дет. лит., 1978.—288 с., ил.  
В пер.: 80 коп.

Биографическая повесть современной словацкой писательницы о детстве.

70802—245  
Ф М101(03)78 387—78

И(Чехосл)







